

УДК 821 (574)
ББК 84 (5Каз-Рус)-44
М 14

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Беимбет Майлин
Рыжая полосатая шуба: *Повести и рассказы*. Перевод
М 14 с казахского *Г. Бельгера и Ю. Домбровского*. Астана:
Аударма, 2009. – 472 стр. (Библиотека Казахской
Литературы).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты из картины
художника *А. Кастеева*.

ISBN 9965-18-271-X

М $\frac{4702250000}{00(05)-09}$

УДК 821(574)
ББК 84(5Каз-Рус)-44

ISBN 9965-18-271-X

© Беимбет Майлин, 2009
© Жазушы, 1981
© Издательство “Аударма”, 2009
© Иллюстр. “Государственный музей
им. А. Кастеева”

Летописец великих перемен

Беимбет Майлин родился в 1894 году на территории Кустанайской области в семье бедняка. Неистребимая жажда знаний ведет его в Троицк, а затем в Уфу. Он получает дружескую поддержку от редакторов журнала «Айкап» – М. Сералина и С. Торайгырова, которые интересуются его творчеством.

Остросатирическая поэзия Б. Майлина, которую он начал создавать в четырнадцатилетнем возрасте завершилась творческой находкой – образом насмешливого и трудолюбивого Мыркымбая. Перу Майлина принадлежат замечательные поэмы «Маржан», «Девушка Разия», которые продолжают актуальную не только в казахской, но и во всей мировой литературе тему женской эмансипации.

В 1920-е годы Б. Майлин создает большое количество рассказов. Произведения новаторски показывают изменения в жизни, в душах простых людей. Эти перемены идут тяжело, веками угнетенная душа народа обидчива и недоверчива, а социальные изменения ему непонятны. На свой страх и риск пытается бедняк понять новое, и если в рассказе «Неравенство бедняка» батрак Букабай в первом эпизоде склоняется перед баем, во втором – противоречит ему, а в третьем становится аулнаем, то есть ответственным не только за себя, но за весь аул. Такие изменения не вдруг происходят, они ценны тем, что утверждают духовное богатство народа, его потенциальную возможность к развитию, пониманию прогресса.

Проблема конфискации нашла свое отражение в рассказах Б. Майлина. В сюжете рассказа «Рыжая полосатая шуба» раздается конфискованное имущество бая, обнаруживается рыжая полосатая шуба, подаренная мироеду царем, но еще им ни разу не надетая. Теперь каждый бедняк может примерить ее, что аульчане и делают. Предмет гордости бая становится поводом для насмешек, как над баем, так и над всей прошедшей жизнью. Произведение написано в самый разгар борьбы, когда мероприятия Советской власти приближают страну к голоду, в котором погибнут и те, кто не носил рыжую полосатую шубу и те, кто ее примерял.

В рассказе «Школа Бекбергенов» дана картина жизни одного из многих учителей, партийных работников, ратовавших за лучшую жизнь. Вечным памятником им становится новая школа.

Неотступной темой творчества Б. Майлина является тема освобождения женщины, ее осознание себя личностью, ее духовный подвиг – встать с веком наравне. Эти идеалы выражены в рассказах «Волостная Культай», «Председатель совета Камила» и «Коммунистка Раушан».

Целый ряд рассказов Б. Майлина отражают коллективизацию в ауле – «Дом красноармейца», «Начало раздора – корова Дайрабая», «Мукуш – сын Арыстанбая» и другие. Автор показывает таких как Мукуш – грубых, невежественных людей, которые портят дело, не могут вести агитацию. В лице Мукуша Майлин представил малую толику тех бесправных действий, жестокости, ненависти, которые вершились на местах. Тема коллективизации и конфискации, оставшаяся незаживающей раной в памяти народа еще ждет своего автора, Б. Майлин только приоткрыл завесу.

Во многих своих рассказах Б. Майлин отразил этапы борьбы национально-освободительного движения 1916 года. Рассказы создавались в 1920-е годы, когда писалась замечательная повесть М. Ауэзова «Лихая година», художественно отразившая тяготы и ужасы того времени. Это событие не могло пройти мимо внимания писателей, оно было трагическим бунтом многострадального народа. Уже нет в казахах смирения перед баем, в рассказе «Кровавая месть» восставшие убивают волостного Ыбраша, виновного во многих грехах. Месть клоочет в сердце бедняка Кайракбая, мать которого была продана волостным замуж, а мальчик навсегда остался у него бесплатным работником. Вековая обида обернулась кровавой местью, автор сочувствует своим несчастным героям.

Малая проза Б. Майлина выявила новые темы казахской литературы, живописала трагические конфликты – как социальные, так и психологические, проявилась в новых стилевых явлениях – соединении юмористического, сатирического пафоса с драматическим, а иногда и трагическим.

Творческий путь писателя Б. Майлина отражен в исследованиях известных ученых М. Каратаева, Б. Наурызбаева, Т. Нуртазина, С. Байменше и других.

Кульпаш БЕЙБЫТОВА,
доктор филологических наук,
профессор

ПАМЯТНИК ШУГЕ

I

Мы выехали из аула в полдень. Караваны серых облаков стремительно уходили на юг, но были они такие легкие и воздушные, что солнце беспрепятственно пробивалось через них и освещало землю мягким, ласковым светом. Но ветер все равно был холодным и резким, — он дул с севера и пронизывал насквозь. Наступал сентябрь.

Нас было двое.

Подо мной низкорослый, но довольно-таки резвый гнедой коняга. Седло, правда, на нем поношенное, старое — на таком обычно баи объезжают свои табуны. На мне стеганая куртка из верблюжьей шерсти, я ее выпросил у хозяина в том доме, где мы заночевали, она рваная, под мышками дыры, и меня здорово продувает. Спутнику моему лет под сорок. У него темное рябое лицо, реденькая бороденка и жесткие усы. А глаза черные, круглые, улыбчивые. И вообще он выглядит человеком разговорчивым, общительным. Под ним худой мухортый мерин-пятилетка, на таких заезженных одрах пасут чабаны отары овец. Конягу нужно все время подстегивать.

Мы едем. Ветер дует нам в спину. От аула мы отъехали верст пятнадцать, и вокруг нас теперь вытоптанные стадами летние пастбища. Уныло и пустынно. Изредка только возле болот взлетит стайка диких гусей. Там недавно стояли юрты, между земляными печками в овражках и буераках желтеют кости, валяется всякая рухлядь, лежат обглоданные овечьи туши. А на них стервятники и вороны...

Сколько ни едем, а все кажется, будто с места не тронулись и джайляу-летовке конца не будет. Один перевал кончится – начинается другой. Своего конягу я пустил рысью, и меня порядком растрясло в пути, но езда согрела, так что у меня даже пот выступил. Видно, и мой спутник тоже умаялся, подгоняя своего ленивого мерина. Он снял с головы тяжелый треух и привязал его к поясу. Сдвинул круглую шапочку-борик к затылку, ударил в бок своего мухортого и поравнялся со мной.

– Вы забираете слишком влево, – говорит он. – Вы к закату держитесь.

– Так вы все отстаєте, а я выскакиваю вперед, вот и заворачиваю...

– Да! Оморок возьми эту клячу! Измучился с ней! Топчется на месте... – И мой спутник в сердцах огрел мерина камчой.

– Уже рядом, – говорит он, – вон, видите, то большое озеро? Называется оно Камысакты. Мы возьмем левее его, через курган. Перевалим и сразу попадем на тропинку в низине. Там обогнем Памятник Шуге и выедем на большак.

– Да?

Тело у меня от непривычной тряски ныло, и я был рад как-то отвлечься. Но спутника своего я не знал и потому с разговорами к нему не лез. К тому же у меня привычка: в пути я больше слушаю, чем говорю.

Сказав еще несколько слов о дороге, спутник мой умолк, но я чувствовал, что ему есть что мне рассказать, и поэтому, хотя и не надеялся услышать что-то очень интересное, все-таки спросил:

– А что это за Памятник Шуге? Гора, что ли?

– Нет, что вы!.. Просто холмик... – Он ударил мерина по бокам, и мы снова поравнялись. – А вы что, и не слышали ничего о Памятнике Шуге?

– Да нет. Откуда же? Я ведь в этих краях впервые.

– Да, тогда, конечно... Вы ведь еще молоды. Откуда вам знать? А в свое время каждый малец в округе знал эту историю. Да-а... Шуга, Шуга!..

– Так расскажите, пожалуйста, – попросил я, – и ехать будет веселее, и дорога покажется короче.

– Что ж... я расскажу.

И еще раз подстегнув мухортого мерина, он подобрал болтающиеся полы шубы, выплюнул изжеванный насыбай и устроился в седле поудобнее.

– Ну, слушайте... история эта непростая.

II

...Аул, из которого мы едем, называется «Аул Ереке». Дальше вдоль реки нам еще попадутся аулы, их много даже будет. Это все отпрыски одного рода, их около двухсот семей. Зимуют они врозь, а летом обычно съезжаются на одно джайляу.

В детстве вон на том холмике играли в альчики... Милая, беззаботная пора была... Здесь в осеннее время и стояли наши аулы, тут и скот пасся. Это теперь озеро называют Памятник Шуге, а раньше просто говорили: «Это было там, где зарезали пестрого быка». Большое озеро. Вокруг заливчики... Богат и красив был тогда этот край! В наших аулах людей хватало, а тут еще с юга, с побережья Сырдарьи, приезжали на летовку жаппасцы. Это род такой – Жаппас. Только в последнее время он перестал кочевать. Так слушайте... Был у меня родственник Беркимбай. Когда-то богатый он был, потом захотел стать волостным управителем да и разорился на этом, промотал весь скот. И стал кедеем, бедняком то есть. А у отца его был дядя по материнской линии. Можно сказать, в роду Жаппас он был самый богатый и знатный. Звали его Есимбек. Опираясь на Беркимбая, он всегда занимал самые лучшие места на пастбище возле озера, «где зарезали пестрого быка». Есимбека уважали: щедрый, радушный, госте-

приимный был он. Вообще божий баловень, счастливец. И скотом был богат, и детьми тоже. Четверо сыновей, крепкие и отчаянные, как волки. И среди них подрастала, не зная ни горести, ни печали, одна дочь – Шуга. Красавица! Светлолицая, нежная, стройная, черноглазая. Как говорится, такая, что и съел бы ее! Но и держала себя строго. Говорила сдержанно, с достоинством, походка плавная, как у павы, и в каждом жесте, движении – благородство. Нынче такой во всей степи не найдешь. Теперь, если и попадается такая, то непременно она скачет-прыгает, как коза, будто не знает, куда и приткнуться со своей красотой. Э-э... что там... дурные настали времена... Вот придумали учить женщин. Зачем? К чему? Ту же самую Шугу, особой грамотейкой не назовешь, но я бы ее такую и на десяток грамотеек не променял. Да и что толку в учении, если бог ума тебе не дал...

Мне тогда шел как раз двадцатый год. У Есимбека я бывал часто. Мой младший брат, Базарбай, пас тогда его баранов. Ловкий, сноровистый был. В прошлом году умер. Вот я и торчал с ним в байском ауле днем и вечером. Все лето проводил там. Шуге, думаю, было тогда лет шестнадцать. Парни со всей округи косяками ходили вокруг ее юрты. Кое-кто из смельчаков пытался даже и заговорить. Братишка мой носил ей письма, и все без толку. Джигиты сердились, оскорблялись. Ну конечно, байская дочь, мол, вот и воображает о себе...

Был в нашем ауле некий Карим, мой ровесник. Баламут, шалопай. Вечно что-нибудь такое выдумает, чтоб потешить народ. Вот он на эту байскую дочку и зарился. Как-то письмо его попало нам. Стишки какие-то он там накарябал... Как же там у него было-то?.. Ага, вот как:

Я с базара привез домой поясок,
Хоть хорош он, хоть плох – то мой поясок.

Много месяцев я тебя не видал,
И теперь мне постыл тугой поясок.¹

Что ж... молодым посмеяться, позабавиться охота.
Вот и решили сыграть шутку: написали как бы от Шуги
ответ. Тоже в стихах. Как Карим прочитал наше
послание, так, как говорится, чуть до неба не вырос. А
написали мы вот что:

Знатен древний твой род, велика казна,
Только душу мою не купит она.
Счастливей меня на свете не будет,
Если скажут, что стать твоею должна...

О, аллах, какое дивное было время... ойбой!² Какое
дивное!

Был у родителей Шуги один козырь. Нынешние баи,
едва родится дочь, уже заранее берут за нее калым..., а
Шуга ходила непросватанной. Многие байские сынки
сватались к ней, но все получали отказ. Даже из
далеких мест, откуда на коне не доедешь, приезжали.
Все тщетно. Начали в аулах поговаривать: «Лишил
Есимбек дочь счастья. Засиделась. Не найти теперь ему
доброго жениха». Только пустяки все это. На все божья
воля: чему суждено быть, того не минешь...

Уже после мы узнали, почему Есимбек отказывал
всем сватам. Оказалось, в молодости он и его друг Кали
дали такой обет, что если у одного будет дочь, а у другого
сын, то они породнятся. Так и вышло. Вот для кого
берег свою единственную дочь Шугу Есимбек! Да-а...

У озера Камысакты мы спешились, отпустили
лошадей, сами отдохнули, а потом, подтянув подпруги,
поехали дальше, и мой спутник продолжил прер-
ванный рассказ.

¹ Перевод В. Антонова.

² Восклицание восторга или удивления.

III

Да, говорю, прекрасная была пора! Земля плодородная, пастбища обильные, скотины много. Обычно к концу мая кое-кто, покончив с посевом, уже едет на джайляу. Помню, в тот год мы переехали на летовку двадцатого мая. Часто шли дожди, и трава росла отменная. Мы, молодежь, веселимся с утра до вечера и только и ждем, когда же прикочуют жаппасцы. Только в мыслях: «Когда же приедет Есимбек?.. Когда же всласть наедемся свежего мяса?..» Однажды вернулся я к утру, завалился было спать, а мать меня будит и говорит:

– Жаппасцы прикочевали, юрты ставят. Я уже сбегала, повидала, обняла моего Базарбая...

Я, конечно, сейчас же из юрты. Уже солнце припекало. На правом берегу озера было черно от скотины... овцы, лошади, верблюды, и везде легкие аккуратные юрты. Жаппасцы приехали. Наспех протер я глаза и побежал к аулу. Там, оказалось, уже собрались все. Уже в котлах булькает. В просторной главной юрте Есимбека многолюдно и шумно. Гости пьют кумыс, шумят, веселятся. Я обошел все юрты. В одной наконец встретил Шугу. Апырмай!¹ Глаз не оторвешь! Нежная, белая, ну лебедь, ну точная лебедь! На ней белое шелковое платье, поверх него красный плюшевый камзол, разукрашенный затейливыми застежками, на голове – пышная лисья шапочка с перьями филина. Богатый наряд! И так он ей идет! Так она в нем красива!

– Не очень-то, видно, вы торопились встретиться с нами, – сказала она мне, посмеиваясь.

Я не знал, что и отвечать. Раньше я с ней свободно болтал, а сейчас будто язык отнялся.

¹ Восклицание, выражающее удивление, недоумение, возмущение.

– А кто это там с коней слезает?– спросила вдруг Шуга.

Я оглянулся. Два молодых казаха, спешившись, привязывали лошадей. Один из них был одет по-городскому, как одеваются русские. Я узнал его.

– Да это Абдрахман!– говорю я.

– А кто он такой?– спрашивает она.

– Сын Казакбая.

– А... тот, который учитель, да?

– Да, он самый.

– Совсем еще молодой, оказывается,– заметила Шуга и ушла в юрту.

Я подошел к Абдрахману, поздоровался и повел его к Есимбеку. А через щели юрты, заметил я, Шуга глядела нам вслед.

IV

Вы, конечно, этого не знаете...– продолжал мой спутник, привычно подстегивая мерина.– Не могли знать. Абдрахман приходился нам дальним родственником, и были мы с ним почти ровесниками. В детстве он пас телят у волостного управителя. А в доме волостного жил тогда аульный учитель. Вот кое-как урывками и усвоил пастушонок за четыре года все, чему учили других в школе. Абдрахман сам рассказывал мне: «Днем я пас телят и ягнят, а вечерами иногда до глубокой ночи учитель занимался со мной. Добрый был человек. Истинный мусульманин. Говорил не раз, что ему приятней учить пастуха, чем байских детей. Благодаря ему удалось мне окончить школу. Я в долгу перед учителем на всю жизнь...»

А отец его был бедняк из бедняков, так что, даже окончив аульную школу, Абдрахман продолжал батрачить. Лет тринадцати он все же решился, сбежал от бая в губернский город, летом батрачил, а зимой

учился. Так он перебивался два года, а в летние каникулы сам уже обучал байских деток и этим подрабатывал на пропитание. И добился своего, стал ученым человеком.

Слава о нем пошла по всей округе. Уж больно, видать, способен был. Учителя его тоже хвалили. Губернский начандык¹ предложил ему стать главным толмачом-переводчиком, но Абдрахман на это не польстился, вернулся в родной аул. Как раз в то время отдал аллаху душу писарь волостного управления, и Абдрахман мог бы занять его место, но он отправился в волость Жамантык учительствовать. Зимой, значит, учительствовал, а на каникулы приезжал к нам, в отчий дом.

В том году он приехал на джайляу в первых числах июня. Я его давно не видел, и он как увидел меня, так сказал: «Ну что, обнимемся, что ли? Ведь сколько не виделись!» Вот так, перебрасываясь шутками, мы и вошли в юрту. На почетном месте восседал аксакал Хаджибай, говорил складно, по-книжному. Заметив нас, мгновенно умолк.

Абдрахман поздоровался со всеми за руку. Баю Есимбеку, видно, это не понравилось, он сразу задрал нос, и беседа прервалась. Затем заговорили – с насмешечками, с колкостями в адрес «ученых». Я был поражен, просто не понимал, что случилось. Потом уже Абдрахман объяснил мне, как и что. Оказывается, после осенней стрижки овец Есимбек хотел, как каждый год делал, сменять кошмы на хлеб и взять этот хлеб на корню. Вот Абдрахман и встрял – он посоветовал ничего не делать сослепу: сначала узнать цену, а потом уже менять и продавать. И те, кто послушал Абдрахмана, действительно выгадали. Кошмы достались им за полцены. Вот и затаил Есимбек злобу на учителя. «Он в мой карман залез», – говорил

¹ Искаженное – начальник.

бай. И теперь, начиная разговор с Абдрахманом, он спросил:

– Ну, как, благодетель, хорошо аул перезимовал с твоей помощью?

– Да ничего, перезимовали, – как-то холодно ответил учитель.

– Ну и хорошо. Так и подобает истинному заступнику и радетелю своего рода... – Есимбек криво усмехнулся.

Разошлись после полудня, до отвала наевшись мяса.

V

Когда я отправился домой, Абдрахман еще сидел у Есимбека. Однако, как потом оказалось, он ушел сразу же после меня в юрту Беркимбая. После выпитого кумыса меня сморило, и я очнулся только после захода солнца. Вышел из юрты. На бугорке за аулом собрались мужчины, посередине сидел аксакал Хаджибай.

Разговор шел об Абдрахмане. Еще издали я услышал слова старика: «Этот Абдрахман, я вижу, совершенно трекнулся». Говорить аксакал Хаджибай умел. Я подошел и стал слушать.

– Таких, как он, нельзя считать мусульманами, – поучал аксакал. – Все они в бога не верят, и речи у них потому богохульные. С муллами, хазретами, благочестивыми отцами народа они на ножах. В аллаха не верят. Смущают только доверчивых людей, мол, не аллах обогащает баев, а мы сами, своим трудом. Ведь подумать, что он выдумал! И слышал я, будто он продался тем, кто хочет крестить казахов. И не согласился он быть толмачом у начандыка или писарем у волостного управителя, а пошел учить детей потому, что хочет совратить с пути праведного мусульман и ввести их от пророка!

Как ни старался аксакал Хаджибай, а никто, по моему, ему не поверил. Он говорил, а джигиты сидели, шутили, пересмеивались.

– А вы знаете, почему прикочевал сюда Есимбек? Он ведь хотел нынче пасти скот в Каракумах. А все, оказывается, из-за нашего Карима, – начал один джигит.

– А вы заметили, как вся вспыхнула Шуга, когда увидела его? – подхватил друтой.

Третий тут же сочинил стишок, сказав, что его написал зимой Карим, тоскуя по Шуге.

Скачу я, и конь гнедой
Лисицу вспугнет порой...
Не чаю и не гадаю,
Что быть мне в разлуке с тобой.

Все дружно рассмеялись. Карим рассердился и ушел. Я отправился к Беркимбаю. Абдрахман, опершись на локоть, играл на домбре.

– Проходи... Садись, – сказал он.

Мы поговорили о том, о сем, перекинулись парой шуток, потом разговор как-то сам собой зашел о Шуге, и я спросил:

– Ну как, понравилась тебе Шуга?

– Да я же ее не видел, – ответил он.

– Ну как не видел? – удивился я. – Она стояла у входа в юрту, когда ты привязывал лошадь...

– Да разве это видел? Что я издали мог различить? Другое дело, если бы я с ней поговорил.

– Так сегодня будет алтыбакан¹. Приходи – поговоришь.

– Правда? – сразу оживился Абдрахман.

– Ну, мне так сказали снохи Есимбека, – признался я.

– Слушай, будь другом... Ты уж меня сопровождай, а? А то я в первый раз...

Не мог же я отказать в просьбе товарищу. Я обещал, что непременно пойду с ним на игры.

¹ Игры у качелей в лунную ночь.

К чему мне от вас таиться?– сказал мой спутник.– Сами молодые. Должны понимать. Шальная пора – молодость. Да-а... Всему свое время...

Уже трое из сыновей Есимбека были женаты. Младшая его сноха, Зейкуль, была дочерью Каржау из рода Тама. Веселая, общительная, смазливая, она пользовалась успехом среди джигитов. В меру умна, хотя и легкомысленна. Муж ее, Ибрай, был самым тихим и покладистым среди сыновей Есимбека. Целыми днями он покорно пас отцовские стада, с людьми почти не общался. Еще девушкой раскусила Зейкуль своего нареченного: ей по сердцу был не он, а Сеид из соседнего аула, она даже собиралась сбежать с ним, но по аулу пошел слух, и все расстроилось. Волостной управитель Курман приходился Есимбеку сватом, и отец Зейкуль хорошо знал, что, если дочь его сбежит с Сеидом, Есимбек будет мстить и на его сторону встанет волостной. А с богатыми и сильными не тягайся. И перепуганный отец поспешил выдать строптивую дочь за сына Есимбека.

Долго не хотела смириться со своей участью бедная Зейкуль. Ибрай ей скоро опротивел окончательно, однако много ли может сделать в ауле мужняя жена? Отчаянные джигиты, рискующие всем ради возлюбленной, что-то совсем перевелись в наше время. И бедная Зейкуль так и не нашла своего героя.

Я не стану от вас скрывать... Я уже говорил, что все время пропадал в ауле Есимбека и сделался у них своим человеком. Вел я себя прилично, учтиво. Словом, сошелся вскоре с Зейкуль. Был я тогда холостой. Она сказала: «Я пойду за тебя». Я ответил: «Я женюсь на тебе» – вот и весь разговор. Так мы играли во влюбленных, пока не поняли, что игра игрой, а голову под топор никто из нас ради этой игры не положит.

Есимбек – богач, я – бедняк. Если я уведу у него сноху – завтра от меня и пылинки не останется. Бедность, бедность проклятая! Зейкуль была лукавая, острая на язык! Иногда, подшучивая, напевала мне:

Касымжан, не ты ли мне клялся, родной?
Я ль с тобой не иду дорогой одной?
Нет, Зейкуль ни за что не бросит тебя.
Неужели ты сможешь расстаться со мной?

Я не умею сочинять стихи, поэтому попросил Тукая, аульца, придумать стишок как бы от меня.

Зейкуль, красоты твоей дивный цвет
Хотел описать, да слов нужных нет...
Стучу о стену я головой, –
Но лишь безысходность глупая в ответ.

Вот и все! На том наша любовь и закончилась!..

VII

...Поели мы с Абдрахманом да и отправились на игры. Аул в ту пору уже готовился ко сну. Было темно, как в могиле. Со стороны аула Есимбека глухо доносились голоса и смех. Шли мы рядом, не спеша, вдруг Абдрахман вырвался вперед и обогнал меня. Слышался шум возни, девичий смех. И вдруг до нас донесся жаркий шепот. Я вцепился в плечо Абдрахмана, мы оба застыли. Мимо нас метнулись две фигуры.

- Не надо, милый... Не балуй...– сказала она.
- Ой, зрачок мой,– ответил он умоляюще.
- Ну, что тебе?
- Ты сделаешь то, что прошу?

Девушка тихо, смущенно засмеялась.

Я сразу узнал, кто это – дочь Айнабая. Она из рода керей, и аул ее – семей десять – расположен между

аулом Есимбека и нашим. Когда мы проходили мимо аула, то слышали их голоса. Выходит, и их девушки тоже посещали наши игры.

– Кульзипа идет, – шепнул я, смеясь.

От одного этого имени Абдрахман вздрогнул. На то была особая причина.

Хотя аул рода керей был малочисленным, а Айнабай был бедняком, его все боялись. Он постоянно сеял смуты, заводил сплетни и вообще был способен на любую подлость – его так и звали: «Красноглазое лихо». Выглядел он, верно, неказисто: серолицый, угрюмый, бровастый, вечно насупленный. Дочь его – ей исполнилось семнадцать лет – давно была просватана, и калым проеден. Но за последнее время Айнабай поокреп, обзавелся хозяйством и стал подыскивать для дочери более выгодного, видного жениха. А самым видным джигитом тогда был, конечно, Абдрахман. На него-то и метил теперь Айнабай. «Я бы пожалел беднягу, уступил бы ему дочь, дай он мне хоть несколько голов скота...» – говорил старый плут. Когда Абдрахман приезжал в аул Есимбека, длинноязыкие бабы называли его «наш зятек». Вообще все были совершенно твердо убеждены, что учитель женится на Кульзипе. Прошлой зимой отец Абдрахмана приехал к Айнабаю купить сена, и жена Айнабая, угощая его, опустила в котел, не разделявая, два круга казы – брюшного конского сала. Так привечают только самого дорогого гостя. А провожая гостя, жена Айнабая подарила ему воз сена. Польщенный всем этим, отец Абдрахмана отнюдь не прочь был породниться с Айнабаем. Но Абдрахману Кульзипа никак не пришлась по вкусу. «Как я могу на ней жениться, если она мне противна?» – отвечал он на все смешки и поздравления. Правда, об этом знали только близкие друзья – ровесники учителя. Кульзипа же при

случайной встрече смущалась, краснела, вспыхивала, не знала, куда девать глаза.

Сейчас, услышав, что она рядом, Абдрахман попытался исчезнуть незаметно, но мне захотелось подшутить, и я удержал его.

Девушки, живо и беспечно болтая, наткнулись в темноте вдруг на нас и растерялись.

– Ойбай, это люди!.. А мы-то думали – скот, – спохватилась одна.

И они метнулись в сторону.

– Это ты, что ли, Маржанбике? А ну-ка, подойди сюда, – сказал я весело.

– Ой, кто это?! Имя мое знает...

– Иди узнай, кто такой, – велела Кульзипа своей женге¹. Абдрахман ушел вперед, а я подождал девушек.

– Кто это с тобой был? – сразу полюбопытствовали они.

– Абдрахман.

– Наш зятек, что ли? Чего же он удрал? – рассмеялась Маржанбике.

Кульзипа вспыхнула, начала что-то шептать на ухо своей женге, и обе весело расхохотались. Мы догнали Абдрахмана, однако он нас почти не заметил и все вглядывался в ту сторону, где играла молодежь.

Мы подошли к качелям. Теперь уже ясно слышались смех, возгласы, можно было даже различить отдельные голоса. Две девушки, раскачиваясь на качелях, затянули протяжную песню. Так они приветствовали нас.

– Шуга поет, – заметила Маржанбике.

Да, верно, пела Шуга. И пела хорошо, с душой, а песня была печальная. «От рожденья мы, девушки, несчастные, – пела Шуга. – Нет никого на свете несчастнее нас. И все потому, что родители наши пребывают в плену древних обычаев».

¹ Невестка.

VIII

Да, что случается в молодости, все прекрасно. Эта ночь мне запомнилась на всю жизнь. До сих пор все, что в эту ночь произошло, стоит перед моими глазами. Игры только начинались. Шуга с подружкой слезли с качелей. Посыпались вопросы, шутки, смешки. Абдрахману принесли домбру, и он запел.

Ох, и славный же он был джигит! А во время игр вообще преображался и становился настоящим красавцем. В эту же ночь он был в особенном ударе. Он пел, играл на домбре, и все слушали его, затаив дыхание. Даже некоторые старухи не выдержали, встали среди ночи, накинули на плечи чапаны и пришли послушать юного певца. Так за песнями, играми мы и не заметили, как начало рассветать. Нужно было расходиться. Маржанбике повертелась возле меня и шепотом спросила:

– Вы еще не пойдете домой?

И медленно пошла, уводя за собой Кульзипу. Вслед за ними ушли дети и подростки. Оставались только мы: я, Абдрахман, Шуга и женге ее – Зейкуль. Я отвел Зейкуль в сторону и сказал ей, что Абдрахман безумно влюблен в Шугу.

– Не знаю, – ответила Зейкуль. – Джигит он, конечно, человек культурный, видный, может, это ее и прельстит. А так... сам знаешь, не таким она отказывала. Похлестче красавцы были... – И Зейкуль рассмеялась.

– Женеше, пойдем домой, – позвала ее Шуга.

– Что же так торопитесь? – спросил Абдрахман, подошел к ней, и они вполголоса о чем-то заговорили.

Мы стояли в стороне, и до меня донеслись только его слова: «молодое сердце». И вдруг мы услышали, как он сказал:

– Прощайте...

Я обернулся. Шуга торопливо шла в сторону аула.

– Ах ты, шалунья моя! Что же ты меня бросаешь?– воскликнула Зейкуль и побежала за ней.

IX

По дороге домой Абдрахман был мрачен.

– Всею виной моя бедность,– сказал он мне.– Будь я сыном бая, Шуга по-другому бы мне отвечала.

Оказывается, полущутя, полусерьезно намекнул он Шуге о своих чувствах, а она сделала вид, будто ничего не поняла. Конечно, огорчился он зря. Нельзя же от девушки, тем более от Шуги, немедленно требовать ответа.

На следующее утро он позвал меня и достал из кармана сложенный вчетверо лист.

– Это мое письмо Шуге,– сказал он.– Если она согласится, я увезу ее тайком. А так ее за меня не отдадут. Калыма нет. Не знаю только, что она на это ответит...

Вид у Абдрахмана был очень подавленный. Письмо было в стихах. Несколько строк из него я помню.

Как холодно в небе сияет луна.
Но в душу мне пламя вливает она.
И хоть я ничтожен, луна, пред тобой,
Все ж рану душа залечить не вольна.
Но боль заглушу я – достаточно сил!
Впервые напев мой отравлен тоской,
Я в песнях ни разу еще не грустил.
Я пленником стал твоим с первых же встреч.
Желанья зажгла твоя сладкая речь.
Когда б написала «согласна» ты вдруг,
Я стал бы письмо, как святыню, беречь.

Но как передать письмо Шуге?

Помог случай. В полдень, возвращаясь с пастбища, забежал в аул мой братишка Базарбай. Мы сунули ему письмо, велев передать его Шуге, и, если она напишет что-нибудь в ответ, немедленно принести сюда.

Как сейчас помню: за нашей юртой была небольшая лужайка. Гости, приезжавшие в аул, оставляли там своих лошадей, и поэтому трава была изрядно помята. Тут же лежали, тесно прижавшись друг к другу, овцы. Так они спасаются от жары и слепней. Тут же их стригли.

Я отправился искать Абдрахмана. Он лежал ничком на солнцепеке посреди лужайки недалеко от отары, задумчивый и отрешенный от всего.

– Ох, дружище, что это ты такое место выбрал?– удивился я.

– Да что поделаешь?.. Не сидится дома.

Он был рассеян и с нетерпением и тревогой смотрел вдаль. Ясно: ждал Базарбая.

Мне самому было интересно, ответит ли Шуга или, по своему обычаю, порвет письмо не читая – этого-то и опасался Абдрахман. Он вначале вообще колебался: писать или нет? Но я передал ему слова Зейкуль; расставаясь со мной, она шепнула мне: «Пусть он напишет ей. Он человек заметный. Авось и смиростивится Шуга». И еще однажды она сказала так: «Имя твоего друга не сходит с уст моей шалуньи». А ведь женщины друг другуверяют все свои сердечные тайны. К тому же Шуга любила, уважала свою женге и, конечно, доверяла ей все. И еще: я надеялся на Зейкуль, потому что знал: ради меня она постарается сделать все.

Абдрахман молчал. Солнце стояло высоко, над самой головой. В такую жару люди укрываются в тени, а мы, как нарочно, лежали на самом солнцепеке.

– Что-то скажет Шуга...– проронил я.

– Кто ее знает, – вздохнул Абдрахман. В глазах его были тоска и надежда.

Мы уже собрались было идти домой, как вдруг увидели Базарбая. Он бежал к нам. Абдрахман взволновался так, что сразу вскочил. Мы оба так и впились взглядом в лицо нашего гонца.

А он, улыбаясь во весь рот, подбежал к Абдрахману и вытащил из-за голенища клочок бумаги. У того даже руки задрожали, когда он развернул его. «Уважаемому мырзе Абдрахману наш салем, – писала Шуга. – Извещаю вас о том, что письмо ваше получила. Пока ничего определенного ответить не могу. Извините. Написала Шуга».

Абдрахман потемнел и опустил на траву. Я стал расспрашивать Базарбая, как он передал письмо Шуге. Где? Что она сказала?

– Она сидела в отцовской юрте. Я сказал, что женге ее зовет, и когда она вышла, сунул ей ваше письмо. «Это что ты еще притащил, бесенок?» – спросила Шуга. – «Прочтешь – узнаешь», – ответил я. Она прочла письмо, спрятала в карман, улыбнулась и пошла в юрту к своей женге. Я – за ней. «Да отвяжись ты, чумазый! Что же ты пристал? Все таскаешь и таскаешь письма», – ворчит, а сама улыбается. Раньше, когда я ей таскал письма от других парней, она сердилась и рвала их тут же. А я как увидел, что она не сердится, то и говорю ей: «Апа, ты напиши ответ, а я мигом снесу. Никто не заметит...» Ну вот она и написала...

Парнишка сиял, он был горд, что так хорошо выполнил это сложное поручение, и улыбался во весь рот.

И хотя Шуга в своем ответе не сказала ни «да», ни «нет», после рассказа братишки мне стало еще яснее, что Абдрахман ей отнюдь не безразличен.

– Девушка будет твоей, – уверенно сказал я. И Абдрахман просиял.

А вскоре после этого они открыто признались в любви друг другу. И любовь их оказалась такой сильной, что если хоть день они не виделись, то прямо-таки изнывали от тоски. От меня оба не таились. Когда я приходил в аул Есимбека выпить кумыса, Шуга от радости вся сияла. При первой же возможности, когда мы оставались с глазу на глаз, она неизменно спрашивала:

– Ну где же он, товарищ-то твой?

Однако неприлично ведь долго загащиваться в одном ауле. Абдрахман уехал на десять дней к отцу, и Шуга в это время не находила себе места.

– Ну, чего он не едет?– спрашивала она меня.– Здоров ли?.. Ты ничего не знаешь, а?

Вскоре о Шуге и Абдрахмане заговорили в аулах. Правда, никто особенно не осуждал их, да и ничего зазорного в их отношениях еще не было. Первым поднял шум всегда вздорный баламут Айнабай. Пошел слух, что Кульзипа рыдала, узнав обо всем. Айнабай в ярости сообщил Есимбеку, что Шуга собирается убежать с этим нищим Абдрахманом и тогда на его голову падет несмываемый позор.

В семье Есимбека поднялась буря. Базарбая прогнали. Меня – тоже. Отныне я и близко не мог подойти к аулу. Говорят же: «Сорвала гончая зло на журавле». Почтенные старцы – аксакалы – сказали учителю: «Наши аулы дружат издавна. Зачем ты ссоришь соседей? Нехорошо это. Образумься, отступись».

А Абдрахман ответил: «Если Шуга изменит своему слову,– я откажусь. Ради нее я готов на все». Тогда старики дружно проклинали учителя. «Можно ли ждать добра от безбожника, который изменил вере отцов и учился в русской школе?»– говорили они. Жил он

теперь у нас в юрте, и старики ругмя ругали и меня, зачем я, дескать, привечаю ослушника, который не чтит законы отцов. А когда у Есимбека пропала лошадь, то обвинили в краже меня и заставили отдать баю корову с теленком. Обидно было, однако ничего не поделаешь, так решило большинство, а против мира не попрешь. В аулах стали на нас смотреть косо. Сыновья Есимбека с несколькими забияками по ночам подстерегали меня с Абдрахманом. Попадись мы им невзначай в руки, они бы нас в живых не оставили.

Все реже удавалось влюбленным встречаться. И, тоскуя по Шуге, Абдрахман сочинил такие стихи:

Я верю, что ты рождена для меня,
Люблю тебя больше день ото дня...
Чтоб слышать признанья и клятвы твои,
В пути, Шугажан, горячил я коня.
Но род твой радушный враждебен сейчас.
Враги бесконечно преследуют нас,
Хотят разлучить, на страданья обречь...

XI

Мало было, видно, Айнабаю того, что он натравил на нас Есимбека, он старался еще и Абдрахмана обесчестить в глазах властей. Когда дошел до меня слух, будто Айнабай заявил волостному, что Абдрахман тайно собирает деньги для турок, я по-настоящему испугался. Однако Абдрахмана эти слухи ничуть не встревожили. Он по-прежнему жил у нас и, по-моему, с утра до вечера думал только об одном: как бы ему встретиться с Шугой.

Базарбай в нашем ауле больше не жил. Повидаться со своей Зейкуль мне тоже никак не удавалось. Ох, и тяжкие времена настали!..

Вот как-то вечером сидели мы с ним на бугре, за аулом. Смотрели, конечно, в сторону Есимбековых

юрт. Юрта самого Есимбека возвышалась в самом центре аула. Кто бы ни показался возле нее, Абдрахману всегда казалось, что это вышла Шуга. Сидим и молчим оба, тоскуем. Он по Шуге, я по Зейкуль... Вскоре с выпаса стали возвращаться коровы. Возле юрт жаппасцев угрюмо стояли верблюды. Шум и гомон плыл над степью. Блеяли овцы, мычали коровы, ржали кобылицы. Мчались, резвясь, жеребята, поднимая сизую пыль. Мы хмуро взирали на эту привычную суету вечернего аула. Все наши думы были о другом.

– Сегодня получил-таки весточку от Шуги, – сказал вдруг Абдрахман.

– Что она пишет? – встрепнулся я.

– Скучаю, пишет, истомилась вся. Семья против. Голова моя идет кругом. Что же нам придумать? Где выход? Вот что она пишет... Я ей ответил. Надо, пишу, бежать. Другого выхода у нас нет. Только как передать письмо? Только бы она согласилась, я бы мигом ее увез...

Пока мы так разговаривали, на дороге между аулами, где сейчас кружились табуны, вдруг показался тарантас. Кони бежали резво, пыль вздымалась столбом. Сзади, неловко подпрыгивая в седле, скакал верховой. Путники торопились. Нехорошее предчувствие охватило меня – один из сидящих в тарантасе был похож на русского.

– Уйдем-ка лучше в юрту, – предложил я.

Абдрахман рассмеялся.

– И всего-то ты боишься...

Тарантас лихо подкатил к нашей юрте. На передке сидел молодой джигит – кучер, а за ним еще двое. Один из них и в самом деле оказался русским.

– Что еще за божье наказание! – вырвалось у меня.

Абдрахман тоже изменился в лице. Мы поспешно пошли в юрту. Русский спрыгнул с подножки и двинулся нам навстречу.

- Кто здесь Абдрахман?
- Я – ответил учитель.
- Айда, одевайся. В волость поедem!

Это был стражник. На боку его висела шашка, на фуражке блестела кокарда.

- А зачем?– спросил Абдрахман.
- Не могу знать. Пристав приказал.

Что делать? Не перечить же властям? Наскоро запряг я лошадей и решил сам отвезти Абдрахмана. Когда я запрягал, весь аул от восьмидесятилетнего старца до восьмилетнего мальчика собрался возле нас. Одни сочувствовали, другие злорадствовали. Мать моя плакала навзрыд, а другие, наоборот, довольно ухмылялись – ага, достукался! Добился своего! А чего там достукался? Я дружил с Абдрахманом и – аллах свидетель – знаю, что никогда никому не сделал он зла. Только разве байским прихвостням что-нибудь докажешь?

XII

Когда мы выехали из аула, солнце уже садилось. Мы ехали на паре. Я правил лошадьми. Дорога проходила через аул Есимбека. Кони шли крупной рысью. Абдрахман напряженно вглядывался вперед, он все надеялся увидеть Шугу. До юрты Есимбека оставалось сажений пятьдесят, но Шуга не появлялась, и он совсем затосковал. Разлука – горе для влюбленных.

А кони разогнались, дорога была ровная, и они рвали из рук вожжи. Еще мгновение, и мы проскочим мимо аула. Я изо всех сил сдерживаю коней. Ведь кто знает... может, никогда больше в жизни джигит не увидит свою возлюбленную. А если и увидит, то, наверно, очень уж нескоро. Почему-то мне так почудилось в эту минуту... Мы оба молчим, потому что хорошо понимаем, что творится в душе у каждого... Свирепые псы Есимбека,

которые ночами, бывало, и близко не подпускали нас к аулу, теперь, скаля клыки, выскочили навстречу. У входа в юрту сидела толпа, и все с любопытством смотрели на нас. Видно, наш приезд прервал их беседу... Жена старшего брата Шуги, привязав арканом верблюжонка к черной прокопченной юрте, доила верблюдицу. Между главной юртой и отау – юртой для молодых – важно разгуливала байбише. Мне показалось, что они давно знали о предстоящем аресте Абдрахмана.

Только Шуги нигде не было видно.

Абдрахман помрачнел, резко крикнул:

– Айда!

Я только теперь заметил, что кони уже идут шагом. Опустил я вожжи, и рванулись кони. И тут показались две женщины со стороны колодца, что за аулом. Зейкуль и Шуга! Апырмай, как я, увидев их, обрадовался! Аж слезы брызнули из глаз! Они тоже нас узнали да так и застыли, пораженные и растерянные. Зейкуль, как сейчас помню, с коромыслом на плече, с двумя ведрами воды. Шуга стояла рядом пустая. Абдрахман спрыгнул с телеги, бросился к ним. Я ждал, что он обнимет Шугу, прижмет к груди, расцелует. Но он этого не сделал. Наверное, постеснялся людей, стоявших у юрты Есимбека. А зря!..

– Куда вы едете? – спросила Шуга испуганно.

– Меня везут в волость, – ответил Абдрахман.

У Шуги блеснули слезы. И я тоже чуть не расплакался. Зейкуль быстро оглянулась – она была страшно перепугана – и, поправив на плече коромысло, крикнула:

– Ойбай, шалунья моя, идем, идем!.. Видишь: бегут из аула!

Но Абдрахман и Шуга как будто застыли... А сзади уже слышались крики, шум, ругань, топот. Впереди, приподнявшись на тарантасе, кричал на нас сердитый стражник.

– Прощай.

Шатаясь, Абдрахман подошел к телеге, сел. Слезы текли по его щекам. Я стегнул лошадей.

– Хо-ош! Прощай, любимый, ненаглядный... – хрипло крикнула вслед Шуга и, заплакав, бессильно опустилась на землю.

ХIII

Волостной пристав повез Абдрахмана в губернию. Расстались мы в слезах. Я вернулся домой с запиской для Шуги. Прошло шесть дней, а мне никак не удавалось передать ее.

Оказывается, Есимбек пришел в страшную ярость, когда узнал, что дочь его на виду у всех прощалась с Абдрахманом. Братья тоже лютовали. Видно, досталось бедной Шуге! Все это так потрясло ее, что она никуда не выходила и даже есть перестала. Через некоторое время по аулам поползли слухи: тоска извела Шугу. Она на глазах тает, не встает с постели. Хоть наши аулы и находились рядом, однако я уже не мог, как прежде, прийти к Есимбеку.

Время шло, а Шуге не становилось лучше. Видя, что дочь всерьез заболела, Есимбек смягчился. Вызвали знахарей, врачей-шаманов, однако и они ничего поделать не смогли. Шуга бредила и в бесспамятстве звала Абдрахмана.

Байбише встревожилась, видя, как чахнет ее единственная и любимая дочь-шалунья, и уговорила родных спасти Шугу от неминуемой смерти. А спасение было в одном: всем аулом добиваться оправдания учителя, отдать за него Шугу, сыграть свадьбу. И, наконец, Есимбек согласился. Конечно, неохотно, скрепя сердцем. Посоветовавшись с родичами и аулчанами, он решил упросить волостного управителя освободить Абдрахмана.

И в отношении меня он тоже переменял гнев на милость. Вроде легче дышать стало в обоих аулах.

Однажды пришел ко мне верблюдчик Есимбека, сказал, что меня хочет видеть Шуга. Я подпрыгнул от радости и побежал к ней. Она лежала в большой юрте. Край кошмы был приподнят. Глянула на меня и зарыдала. Мать ее бросилась к ней, стала утешать, вытирать слезы, целовать, умолять:

– Успокойся, дитя мое... Мало ли я из-за тебя вынесла горя? Что я могу?.. Будь моя воля, я бы тебя не довела до такого...

– Аже, – тихо позвала вдруг Шуга.

– Оу, милая? – откликнулась мать.

– Оставь меня наедине с ним...

– Хорошо, зрачок мой, сейчас, сейчас.

Байбише поспешно вышла, я подсел к Шуге:

– Ну как себя чувствуешь? Не лучше ли?

– Нет, не лучше, – грустно ответила она, и опять ее глаза наполнились слезами. – Да я и не хочу, чтобы мне стало лучше... Ты... передай ему... при... привет... – От слез ей было трудно говорить, она достала платок из-под подушки, вытерла глаза. – Ты его увидишь... если он живой будет... а я... я... – Она не могла продолжать.

– На все божья воля, – ответил я. – Только ты напрасно так... Вид у тебя хороший, скоро поправишься.

– Нет... Да и к чему? Все равно счастливой мне не быть. Отец меня просто пожалел. Он же видит, как мне худо. Испугался. А завтра, если поправлюсь, опять пойдет то же. Смерти я не боюсь. Я только об одном жалею... что на прощание Абдрахман не сказал мне несколько ласковых слов. Если бы я только могла его увидеть перед смертью!.. Если бы он очутился вдруг рядом, прижался бы лицом к лицу моему, сказал бы: «Шуга моя!», я ушла бы из жизни счастливой...

Она тяжело вздохнула.

До вечера я просидел возле нее и, удрученный, подавленный, отправился домой. А дома ждала меня радость: оказывается, Абдрахман якобы сегодня вернулся. Мне не терпелось привезти его скорее к Шуге, и я тут же поскакал в аул Абдрахмана. Там тоже все радовались, учитель действительно только что приехал из губернии и сразу же спросил про Шугу. О том, что она больна, ему уже сообщили. Я успокоил его как мог, сказал, что она выздоравливает. И он поверил мне.

Наутро, как только пригнали лошадей с пастбища, мы отправились в наш аул. Кони шли крупной рысью. День выдался жаркий. Всю дорогу Абдрахман смеялся, шутил, смешил меня. Говорил, что, когда увезли его в губернию, сочинил про Шугу песню. И он запел:

Ласка в глазах у Шуги моей,
Каждое слово песни звучней,
Меня, провожая, не обняла,
Только слезы лились все сильней.

Приближаясь к аулу, мы еще издали увидели толпу около юрты Беркимбая. Привязав лошадей, я провел Абдрахмана в юрту, а сам пошел узнать, в чем дело. В это время к толпе подскакал какой-то верховой, что-то крикнул и помчал дальше. Что он крикнул, я не расслышал, но сердце мое почему-то сжалось...

А когда подошел к толпе, то услышал:

– Да благословит ее аллах...

Все благочестиво провели ладонями по лицам. Я остолбенел, посмотрел на Айтбая.

– Слышал?– сказал он.– Шуга скончалась.

Меня будто ледяной водой окатили. Я так и застыл на месте. Все кругом качали головами.

– Ай, Шуга, Шуга!.. Бедная Шуга!.. Такая юная...

Потом толпа двинулась к нашей юрте, чтобы сообщить Абдрахману скорбную весть. Он не заплакал,

только страшно побледнел. Его стали утешать. Он молчал...

Мы всей гурьбой направились в аул Есимбека.

Из байской юрты слышался надрывный плач. Заметив нас, снохи Есимбека вышли. У них были красные, распухшие глаза. Зейкуль подала знак, отозвала меня в сторонку и достала из кармана бумажку. Я догадался, что это было последнее письмо Шуги.

Вот что написала Шуга перед смертью:

На беду мне была красота дана,
Принесла только горе тебе она!
Но о нашем счастье мечтала я,
Твердо верила: наша судьба одна.
Я хотела, чтоб мною владел лишь ты,
О жестокий мир! Ты разбил мечты.
Я из жизни земной ухожу одна,
Не увидев лица родного черты.
Пусть хоть последнее это письмо
Напомнит тебе о бедной Шуге.

Когда Абдрахман читал это письмо, то слезы его капали на бумагу, и несколько раз он прерывал чтение.

Есимбек похоронил Шугу в родном краю, на старом родовом кладбище, и спешно откочевал к югу. Через год, когда жаппасцы вновь прикочевали сюда, он устроил большие поминки.

Тогда и был насыпан этот курган.

...Рассказывая, мой спутник так увлекся, что забыл про своего одра, который уже едва тащил ноги. Спohватившись, он огрел его раза два камчой и снова поравнялся со мной. Вскоре мы выехали на вершину перевала, и перед нами открылось во всей красе большое озеро. К западу от него зыбился во мгле небольшой холм.

– Вон, – сказал мой спутник. – Это и есть тот самый курган. Памятник нашей Шуге. Ах, Шуга, Шуга!..

ВОСЕМЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ

После утреннего чая Егеубай решил заняться делом – прибрать-подправить хлев. Шла уже вторая половина ноября, а снега все не было и не было. Земля лежала черная и смерзшаяся. Дули ледяные ветры, настоящие, как их тут зовут, «кара-даул» – «черная буря». Клочковые тучи мчались по недоброму небу. Как только Егеубай – потный, разопревший от обильного чаепития – вошел в сарай, на него обрушился ледяной ветер – дуло там из всех щелей – и он сразу обсох и замерз до костей. Хмурясь, постоял он возле двери, покрутил завязку вылинявшей до белизны телогрейки, потом вышел из сарая, сделал несколько шагов и увидел: завалился забор. «Надо как-то залатать дыру», – уныло подумал он, взял лопату и начал сгребать трухлявый назем. Услышав скрежет лопаты, тихо заржал в деннике куцехвостый мерин. «Тоже жрать захотел, – пробурчал Егеубай, – а что тебе дать? Детей и тех кормить нечем». Он влез на кучу назема и начал заделывать дыру, и в это время кто-то подошел к нему сзади и сказал:

– Ассалаумагалеюкум!¹

Егеубай от неожиданности вздрогнул и резко обернулся.

– Алик салем... А, это ты, Тнымбай? Так ты разве не уехал? Я что-то уж тебя денька два не вижу.

– Вчера я вернулся, – ответил Тнымбай. – С совещания.

Егеубай слез с кучи назема и оперся о лопату:

¹ Приветствие.

– Э, с совещания, значит, приехал? Ну и что там?

– Да ничего особенного. Говорят, «Алаш-Орда»¹ поборы объявила... Было там пять-шесть делегатов, и среди них один такой представительный, грозный, главарь, должно быть... Сегодня они в Найзалы уехали. Волостному приказали срочно собрать деньги. А наш аул бедный, какие тут сборы? Решили: пусть другие аулы отдуваются. И все же по восьмидесяти рублей на дом наложили, так что...

– Восемьдесят рублей!

Лопата выпала из рук Егеубая. Его вдруг начало колотить, перед глазами поплыли черные круги. «Восемьдесят рублей, о боже, восемьдесят рублей!...» – повторял он почти бессмысленно.

Тнымбай не на шутку встревожился, даже отступил на шаг. Он никак не полагал, что Егеубая так поразит эта весть.

Наконец он пробормотал:

– Разве в нашем ауле нет богачей? Разве нельзя было объявить «байские сборы»?

– О «байских сборах» и мы думали, да аулнай² уперся. Говорит, не такие уж мы нищие. Сбросимся! Ну что поделаешь? Согласились.

– Апырмай, а! – Егеубай заходил взад-вперед по двору. – Восемьдесят рублей! Да что же это? А?!

Тнымбай постоял и ушел. А Егеубай походил-походил и тоже пошел домой. Жена латала его истлевшую одежду. Поймав ее взгляд, Егеубай удрученно сказал:

– Не до чая теперь! Скажи лучше, где мы восемьдесят-то рублей возьмем?

– Какие еще восемьдесят рублей?

– Обыкновенные! «Алаш-Орда» объявила поборы, поняла?! Вот на ее расходы...

¹ Казахская националистическая организация.

² Аульный староста.

– Что еще за орда?– удивилась жена.

– Не знаешь,– не спрашивай. Я и сам толком не понимаю. Ясно одно: раз объявили поборы, значит, гони монету.

– Бедные мы... несчастные мы...– запричитала жена.

Егеубай погрузился в мрачные думы. Кругом нехватки, нелады, хозяйство рушится на глазах, никакого просвета.

Месяц тому назад, когда джигитов «Алаша» провожали на охранную службу, их аул собрал пять тысяч для сына Коркемтая и три тысячи на иноходца Еркебая. И тогда на каждый дом пришлось по восемьдесят рублей. Егеубай сам был на том собрании, и когда заикнулся было, что не в силах выложить такую сумму, аульные остряки шепнули алашскому делегату, собиравшему джигитов, что он, Егеубай, якобы, большевик. Его тогда едва не захапали. Он занял восемьдесят рублей, и был доволен. Потом пришлось отдать телку от красной коровы. Эту телку жена в прошлом году получила в обрядовый дар от родных. Ну тогда он заплатил, а сейчас откуда он возьмет эти новые восемьдесят рублей? А тут еще аулнай каждый день о налоге справляется. Материю он брал для жены на платье по двенадцать рублей за аршин. Осенью обещал отдать, да так и не отдал. Купцу Ералы за чай должен сотню – тоже на шее висит. На зиму надо забить какую-нибудь скотину. Без мяса ведь не проживешь. Из пятнадцати пудов зерна, что закупал осенью, осталось пудов восемь. Детишек без хлеба тоже не оставишь. В доме пусто, голо... И ко всему теперь выложи ни за что ни про что восемьдесят рублей. Как тут не отчаиваться, как тут не взвыть?!

«Ух-х-» – вырвался тяжелый вздох из груди Егеубая.

«К аулную приехали делегаты!» Этот зловеющий слух камнем обрушился на аул еще вечером, и перед глазами Егеубая сразу замельтешили восемьдесят

рублей. Он даже вспотел. Ему почудилось, что восемьдесят рублей – его душа, а делегат – ангел смерти Азраил, пришедший за его душой. Сердце его мелко-мелко забилося, затрепетало, а в горле застрял какой-то жесткий комок. Жена подавала заваристый, ароматный чай, но Егеубай кое-как и без всякого удовольствия одолел одну пиалушку. Потом поковырялся в молочной лапше и забрался в постель. Одна только мысль сверлила мозг: восемьдесят рублей! Делегаты! Сколько бы он ни думал, ни ломал голову, – а выхода не находил. Не платить нельзя, платить нечем. Наконец он решил, что встанет с утра пораньше, захомутает мерина и отправится в Самалык к свату. Конечно, отвертеться ему все равно не удастся, но уж хотя бы на первых порах не попадется на глаза делегатам. Ничего более умного ему в голову не приходило. Утром, едва рассвело, он разбудил жену, приказал сготовить чай, а сам повел мерина к колодцу.

Сынишка аульная влетел к ним, когда Егеубай только поставил перед собой пиалу с дымящимся чаем.

– Дедушка, вас делегаты зовут.

– Зачем я им?

– Не знаю... Сказали, чтобы не замешкались...

Егеубай выронил пиалу. Вскочил, засуетился, кое-как накинул на плечи старую, залатанную шубенку, засунул ноги в сыромятные сапоги и выскочил на улицу. Жена крикнула ему вслед:

– Да куда ты без шапки, несчастный? У тебя и так ведь уши болят. Продует же...

Дом аульная.

На почетном месте трое в военной форме. Черный рябой джигит заметно важничал, как бы подчеркивая свое превосходство перед остальными спутниками.

– Пейте, пожалуйста, вот масло ешьте, небось проголодались, – усердно потчевал аульный.

Егеубай всполошенно ввалился в дом, растерянно поздоровался. Потом присел у порога, вежливо поинтересовался:

– Жив-здоров ли, аулнай?

Тот в ответ только губами пошевелил.

– А это, – сказал немного погодя аулнай гостям, – наш старик Егеубай. С него причитается восемьдесят рублей.

«Восемьдесят рублей» – это уже превратилось у Егеубая как бы в болезнь, от одних этих слов его брала лихорадка.

– А ну, старина, выкладывайте деньги, – сказал черный рябой.

– Ойбай, милок, да нет у меня денег!

– Что значит «нет»? Я об этом и слышать не хочу!

– Видать, хитрый жук, – пробурчал один из гостей.

– Деньги, старина, деньги! – повторил черный.

– Да у меня, дорогой, и копейки ржавой нет. Из-под земли, что ли, достать прикажешь?

– Я вижу, ты против «Алаш-Орды»? Да?

– Да что ты, дорогой, храни тебя аллах!

– Знаем мы тебя... Ты ведь тот самый Егеубай, которого однажды мы уже едва не арестовали. Ты давно на «Алаш» косишься! Сколько скота у тебя, ну?

– Одна лошаденка, одна корова с телянком... Не знаю, как прокормить детей малых...

– А может, забрать у него лошадь и остаток вернуть? – предложил аулнай.

– Да, так оно, пожалуй, вернее будет, – согласился главарь. – Сходи, Ержан, к этому человеку и приведи коня.

Рослый светлолицый джигит, весь увешанный оружием, поднялся с места:

– Пошли, старина!

Спотыкаясь, поплелся Егеубай домой. За ним неотступно – будто боялся, что старик может сбежать, – шел солдат. За спиной его торчала винтовка. «И чего

он так выверился на меня?» – думал Егеубай. И вдруг вспомнил: на прошлых выборах он был в числе тех, кто не голосовал за аулная. Видно, тот решил теперь отомстить...

Куцехвостого мерина он подвел под уздцы к делегату.

– Нет! – сказал делегат сурово. – Сам отведешь!

Егеубай пошел и повел понурого мерина.

Жена, стоявшая у ворот и видевшая, как муж выводил мерина из денника, кулаком вытирала слезы и кричала вслед:

– Единственного коняшку «Алаш-Орда» уперла. Господи, как же нам быть теперь, как жи-и-ть теперь? Ой-бай-ай!..

1918г.

КУЛЬПАШ

I

В последние дни Кульпаш чувствовала себя особенно плохо. Все на ней было ветхое, залатанное, дырявое, а сопревший рваный полушубок и вовсе походил на заскорузлую овчину. Голова была обмотана вытертым, выцветшим, некогда пуховым платком, но он тоже не грел. А лицо – опухшее, помятое, серое – ни дать ни взять кожаный подойник. Согнувшись от холода, прислонившись спиной к остывшей печке в углу мазанки, она сидит, погруженная в тоскливые думы. Рядом, скрючившись, лежит сынок Кали, укутанный в такую же дырявую овчинную шубу.

Ледяной ветер, проникая во все щели, свободно гуляет по мазанке. Затопить бы печку, да дров нет. И взять их неоткуда. Дома – хоть шаром покати. Уже шесть долгих зимних месяцев томит их голод, а сейчас они третий день сидят на одной воде. Муж – Мактым, кормилец и единственная надежда, – ходит, собирает по аулам милостыню. Уходит спозаранок, а возвращается поздно. И чаще всего пустой... И все же весь день Кульпаш тешит себя надеждой, может, именно сегодня люди добрые да дадут ему хоть что-нибудь. Это ожидание и надежда вошли у нее в привычку. У нее уже и щеки запали, и лицо поблекло и пожелтело, уже и опухать она начала, а все еще на что-то надеется.

До сих пор она больше о сыне заботилась, чем о себе. Все, что удавалось выпросить, вымолить у аулчан и соседей – похлебка ли, бульон ли, – она прежде всего отдавала ребенку. Но в последнее время и этого не

стало. В ауле почти у всех, как говорится, еле-еле душа в теле. Теперь редко кто, как бывало, делится последним куском. Зайдешь ненароком к кому-либо во время еды, и все сразу съеживаются, недобро косятся на тебя. От этих взглядов ей особенно не по себе. И в сытые, и в голодные дни она всегда совестилась заглядывать в чужой рот. Потому-то теперь она почти и не заходила к соседям. Да... третий день, как крошки нет во рту. Кишки, казалось, присохли к позвоночнику, перед глазами – черные круги, сердце давит грудь. Предсмертное оцепенение охватило ее. Но больше всего тревожил не собственный голод, а маленький сын. Время от времени она тупо взглядывала на него, и тогда из груди ее вырывался стон:

– О боже!.. За какие грехи ты нас так караешь?!

Рыдания душили ее. Крупные, горячие слезы катились по вороту затвердевшего, обшарпанного полушубка...

II

Но кроме голода, еще одна назойливая дума неотступно преследовала Кульпаш. Особенно мучила она ее второй день. В начале зимы воры увели единственную лошадку, прокормиться стало вовсе нечем, и тогда Мактым пешим отправился собирать милостыню. В эти дни единоутробная сестренка Кульпаш, приехав к ней, завела этот разговор.

– Ты уж достаточно намаялась с этим непутевым, – начала она. – Пора бы тебе пожить без нужды и лишений. Год надвигается тяжелый. Позаботься-ка о себе, подумай о тепле и еде.

Раушан уже подыскала человека, который должен был облагодетельствовать ее несчастную сестру. То был Жумагазы.

– У него десятков пять голов скота,– сказала она о нем,– нет во всем ауле богаче его. Жена умерла. Бездетный. В этом году ему исполнилось как раз сорок лет. Выйдешь за него, сама будешь и хан и бий¹, – говорила Раушан.

Тогда, в начале зимы, голод еще не особенно давал о себе знать, да и от соседей и аулчан еще кое-что перепадало, и поэтому от одной мысли – бросить мужа – Кульпаш стало не по себе.

– Да ты что, Раушанжан!– воскликнула она в ужасе. – И как у тебя язык-то повернулся?

Но месяца два-три спустя голод уже куда большее стал вонзать когти во все ее семейство. Есть стало совсем нечего. Маленький Кали все чаще хныкал. И глядя на бедного малыша, Кульпаш впадала порой в такое отчаяние, что нет-нет да и вспоминала предложение сестрицы. Она еще не решила, может она пойти за него или нет, и однако же просто отмахнуться от этой мысли была уже не в состоянии.

И вот тут снова нагрянула Раушан, увидела сестру и заплакала.

– Да ты ведь правда с голоду умрешь, бедная... Я тебе о чем говорила-то?!

Кульпаш промолчала. Сомнения боролись в ее душе. Промелькнула мысль: «Выйду за Жумагазы, буду обута, одета, сыта... Да и Кали, мальчик мой, про голод забудет...» И еще думала: «А как мужа-то брошу? Разве не отольются мне его слезы?» И без того голова шла кругом, а от этих мыслей и вовсе можно было свихнуться.

Видя, что Кульпаш устала и уже не возражает с прежней решительностью, Раушан заговорила настойчивее:

– С таким мужем ты протянешь недолго. Мы же помочь тебе не можем, сами на Жумагазы молимся... Так что решишь, пока не поздно.

¹ Судьи.

Кульпаш вздохнула:

– А как быть с Калижаном?

– Ойбай, сестрица, о ребенке разве речь? Ты о себе сначала подумай. Мальчика потом как-нибудь заберешь.

То, что Кульпаш вспомнила сейчас не мужа, а только сына, уже говорило об ее надломленности, отчаянии, безысходности. Раушан (а ее подослал сам Жумагазы), заметив, что сестра поколебалась, стала на разные лады расхваливать ее будущую жизнь:

– У бая все, что твоя душа пожелает, в доме есть: и копченое мясо, и конская колбаса, и нетронутые казы... Без хлеба дастархан¹ не накрывают. Когда мой муж начинает при бае говорить о тебе, тот в нетерпении аж ерзает, аж губами чмокает. «Мне,– говорит,– лучше жены и не надо».

От одних этих слов – «копченое мясо», «нетронутые казы» – у Кульпаш даже губы свело. Нестерпимый голод помутил все ее чувства и волю. На глаза навернулись слезы, она едва не крикнула: «Согласна...» И не выдержав, забилась, как в истерике.

– Ай, милая!.. Родненькая!.. Делайте со мной, что хотите... не могу я больше... Не мо-о-гу-у,– рыдала она.

Под рваной шубой заворочался Кали.

– Мама,– позвал слабым голосом.

– Что, зрачок мой?– откликнулась Кульпаш.

– Отец мой пришел?

– Э, милый... Пусть он провалится, твой отец!..

III

Мактым как ушел с утра, так все еще и не возвращался. Уже и солнце заходило, ветер затих и поземка улеглась. Лучи солнца выглянули из-под облаков и, пробившись сквозь тусклое оконце, на

¹ Скатерть.

мгновение осветили сумрачную мазанку до самого порога, а мужа все не было.

Кульпаш сидела у печки. Съежившись, прижался к ней Кали. И точно очнувшись от тяжелых дум, она глубоко вздохнула. Так обычно вздыхают женщины вечером, когда пора растопить печь и готовить ужин. Но не эти воспоминания беспокоили и томили теперь бедную Кульпаш. Тоска и горе парализовали и терзали ее, как неизлечимая хворь. Раушан сумела смутить чистое, верное сердце Кульпаш. А тут еще и пустоглазый голод безжалостно вкогтился ей в горло. В отчаянии она решилась на то, о чем недавно и думать не смела: дала согласие уйти от мужа и выйти за другого, которого раньше никогда и в страшном сне не видела. Значит, завтра она уйдет. Но как? Просто покинет дом? Навек расстанется с мужем? Этого Кульпаш и представить себе не могла.

С уходом Раушан она неотступно думала о муже. Вспомнилось ей, как он приезжал свататься. Было это летом, и тогда она увидела его впервые. Был Мактым тогда красив и осанист: серолицый, остроносый, крупнотелый, бровастый, сутуловатый джигит. Ей он понравился с первого взгляда. Так у них пошло и дальше.

Мир да лад царили в их жизни. «Только могила разлучит нас», – говорили они друг другу. Стоило Мактыму выйти из дому ненадолго, как Кульпаш не находила себе места. Бывало, изводилась вся в ожидании. И вот теперь решила оставить своего Мактыма. Эх, злая доля! Эх, нужда проклятая! Сколько слез пролито из-за нее! Сколько горя вынесено!

Опять зарыдала Кульпаш, Кали зашевелился под шубой.

– Мама!

– Что, зрачок мой?

– Отец пришел?

IV

За стеной слышались шаги, потом скрипнула дверь. На пороге появился человек в короткой, задубеневшей шубенке, в стареньком, затвердевшем на морозе треухе, в стоптанных, подшитых, обшарпанных до белизны сапогах. На шее его болталась тощая торба. Щеки ввалились. Не человек – жалкая, ничтожная тень его.

Кульпаш быстро глянула на мужа и поникла. Кали высунул из-под шубы головку:

– Ты пришел, отец?

– Пришел, родной, пришел...

У Мактыма задрожала челюсть. Еле волоча ноги, погромыхивая оледеневшими сапогами, он доковылял до подпорки в середине мазанки и бессильно опустился на колени.

Спотыкаясь, направился к нему Кали. Глазенки жадно ощупывали тощую торбу на шее отца. Подошел, ручонки протянул.

Мактым заплакал:

– Сыночек мой, родненький!.. Ни... ни... ничего не-ет...

Заплакала и Кульпаш.

Мальчишка по-взрослому вздохнул, пошатываясь, добрал до печки, закутался в шубу и, ничего не сказав, прижался к матери.

Молчали долго. Густой мрак окутал убогую мазанку. Мактым все еще сидел, прислонившись к подпорке, вконец подавленный, жалкий.

Кульпаш погрузилась в свои нескончаемые, тоскливые думы. Вдруг она словно очнулась, в испуге подняла голову.

– Эй!– окликнула она мужа.

Голос ее был странный, чужой. В пустой, холодной мазанке откликнулось сиплое эхо.

– Что?

Кульпаш снова замолчала. Она не знала, что и как сказать...

Из глаз опять покапали слезы.

– Ты хотела что-то сказать?

– Да... так... Раушан сегодня приезжала.

– Зачем?

Кульпаш не могла говорить, слезы душили ее. Немного погодя она снова позвала мужа:

– Эй!

– Ну что? Говори же!

– Как жить-то будем?

– Не знаю...

– Подохнем ведь.

– Наверно...

– Так может... – Она запнулась. – Может... нам лучше... лучше расстаться?

Мактым заворочался. Потом вновь наступила жуткая тишина. Молодой месяц равнодушно заглянул в разбитое окошко.

– Что ты сейчас сказала?

– Я говорю: может... нам расстаться?

– Это Раушан предложила?

– Да.

– А куда мальчишку денешь? – В горле Мактыма забулькало, он скрипнул зубами.

– Господи!.. За что нам такое наказание?! – воскликнула она.

Кали, забившийся в закуток между печью и Кульпаш, тихо позвал:

– Ма-ма...

– Ну, что тебе, милый?

– Холодно...

V

Середина марта. Целую неделю неистовствовал буран. Лишь сегодня он, наконец, выдохся и затих. Солнце поворачивалось к весне. Заметно потеплело.

От земли уже не шел пронизывающий мертвый холод. Отощавшая от бескормицы скотина бродила вокруг дворов, обнюхивала каждый пук соломы, навозные кучи.

К мазанке, по трубу заваленной сугробами и стоявшей на отшибе, на самом краю далеко растянувшегося аула, по едва заметной тропинке брела молодая женщина. Это была Кульпаш. Уже дней двадцать она живет в доме нового мужа, Жумагазы. Жестокий голод заставил-таки ее пойти на этот шаг. Этим она избавилась от голодной смерти, однако хмурь не сходила с ее лица. Двадцать дней в доме Жумагазы казались долгими и тяжкими, как двадцать лет. Особенно истосковалась она по маленькому Кали. Он приснился ей в первую же ночь у Жумагазы. Уходя из дому, Кульпаш подошла к сыну и со словами: «Зрачок мой!» – расцеловала его. А он обиженно надулся, застыл и отвел глаза. Таким он и приснился ей. Печальный, с недетской обидой на измученном личике. Немигающе он смотрел куда-то вдаль. Во сне Кульпаш ласкала его, прижимала к себе, но мальчик упорно, словно окаменев, не двигался с места. Потом увидела она во сне и Мактыма. Она пыталась с ним заговорить, но он не откликался на ее обычное «Эй! Эй!». И вид у него был скорбный, обиженный.

Теперь Кульпаш постоянно мучила совесть. Ведь ради собственного благополучия она бросила в беде самых дорогих на свете родных людей – мужа и сына. Все чаще стало ей думаться: «Да лучше бы умереть с ними вместе, чем так жить». Несчастный Мактым не выходил из ее головы. Ведь бедняга с раннего утра, повесив на шею полосатую торбу, отправлялся на добычу – просить милостыню, а вечером непременно возвращался домой. Значит, он первым долгом не о себе думал, а о жене и ребенке, старался облегчить, чем мог, их страдания, и вот такого человека она

предала, – ушла за жирным куском к другому, к чужому, к немилому...

Сытость в байском доме только усугубляла ее горе, дни и ночи проходили в неизбывной тоске, и наконец сегодня, пользуясь тем, что Жумагазы куда-то уехал, Кульпаш спешно собралась в путь. В груди ее тлела надежда: если Мактым простит ее, она вернется к покинутому очагу.

Она шла и время от времени дотрагивалась до заветного узелка за пазухой. В узелке были два куска мяса – для Мактыма и Кали. Она сварила его тайком, радуясь, что принесет домой гостинец.

«Родненький, – думала о сыне, – что он скажет, когда увидит мясо?»

У аула три собаки встретили ее с лаем. Она отмахнулась от них. Первый при входе в аул дом – Ибрая. На высокой снежной горке стоял сам хозяин его. Кульпаш поспешно поздоровалась и пошла дальше. Ибрай, словно хотел ей что-то сказать, даже сделал несколько шагов ей навстречу, но тут же и остановился.

Вот и дом! Она глянула на покосившуюся знакомую дверь и сразу же похолодела. Буран намел огромный сугроб, но на нем не было совсем следов. Проваливаясь, она добралась до двери и стала ногами отгребать снег, чувствуя, как все больше охватывает ее страх и темнеет в глазах. Она еще не понимала, откуда у нее это предчувствие, но вся дрожала. Впрочем, она и вообще ничего не понимала...

Собрав остатки сил, Кульпаш рванула скрипучую дверь. Ледяной, затхлый воздух ударил ей в лицо. В окошко не проникал даже крохотный лучик. И в мазанке было темно, как в могиле.

Кульпаш невольно отшатнулась, задержалась у порога. Держась рукой за дверь, хрипло позвала:

– Зрачок мой!

Ни звука...

Она не знала, что делать. Оглянувшись, побежала к окну – все было, как во сне – и стала быстро-быстро отгребать снег. Наконец половину она расчистила, и солнце хлынуло в комнату, осветив печку, пол, стены.

Она упала ничком на сугроб, прижалась к окошку, заглянула внутрь. Возле печки, крепко обнявшись и поджав ноги, спали отец с сыном. Жалость пронзила ее. По-прежнему плохо соображая, спотыкаясь, падая, плача, бросилась она в дом, крича:

– Зрачок мой! Калижан! Проснись!..

И, подбежав, порывисто опустилась перед сыном на колени, чтобы поднять его, прижать к груди, расцеловать родное личико, и тут вдруг увидела Мактыма. Глаза его уже остекленели, рот был открыт, зубы оскалены.

Кульпаш вздрогнула, вскочила, закричала:

– Эй!..

А что было дальше, она не помнила. Когда вошли люди, она лежала без памяти, обнимая закоченевшие тела мужа и сына...

1922 г.

В ДНИ АЙТА¹

С праздником! Да будет благословен айт!

– Так да будет! Да возрадуется и твоя душа!

– Раз в году, в двенадцать месяцев, приходит желанный айт. Кто видел, кто не видел, но всяк блажен, кто дожил до него...

I

Время предобеденное. Безветренно. Жарко. Мало-численный скот сбился в тени возле хлевов, поближе к дымокурам. Слепни, комары, мошка – тучей выются, жужжат – спасу от них нет.

В ауле оживленно. Все мечутся назад и вперед, толпятся, суетятся. Все разодеты. Лица сияют в предвкушении неведомой радости. Над казанами на жер-ошаках – продолговатых земляных печах – клубится пар. Булькает в котлах, варится жирное мясо. Дряхлые старики, старухи по двое сидят в тени.

– Господи! Дожили наконец и до этого дня...

Возле мазанки посередине аула столпился праздный люд. И здесь же путаются под ногами несколько старух и стариков.

Кто-то нож подтачивает. Какой-то джигит держит на поводу красного упитанного бычка.

Подошел один со стороны, сказал:

– Да благословит Всевышний жертву вашу!

– Аминь! – откликнулись старики. – Да будет так!

– Что же запоздали-то?

¹ Религиозный праздник мусульман после поста.

– Да вот только что скотину раздобыли... Нынче не те времена, чтобы взял да и зарезал...

В сторонке разговаривают Жумагазы и Зайкуль.

– Иди, прими участие в заклании. Мне ни к чему...

– Что ты, ойбай?! Сам иди... Я не обижусь...

– Иди, старуха, не робей. Жумекен ведь разрешил.

– Нет, нет, иди ты... Бог примет твою жертву – облагодетельствует...

– Брось... не уговаривай.

– Почему?

– Да не знаю я, как скотину режут... И молитвы никакой не знаю.

Из белой отау в переднем ряду вышла, покачивая станом, красотка. На голове голубой жаулык с узорами по краям, с кистями. Синий плюшевый камзол сплошь в драгоценных украшениях, разноцветных подвесках, нашивках и побрякушках.

Постояла перед юртой, оглянулась, позвала:

– Еркежан! Душенька!

Вышла смазливая хрупкая девушка лет шестнадцати. Разодета, разнаряжена с ног до головы. Молодка улыбнулась:

– Пошли за водой. Вон и Айдарлы, мой любезный, плетется...

Подошли двое хлыщей. Один игриво ущипнул молодку сзади.

– Отстань, ойбай... Стыдно-о...

– Куда ж ты, нарядная такая, направилась?

– По домам... с праздником поздравлять...

– Муженька-то дома нет, так – видишь – на гулянку и потянуло, – усмехнулся второй.

В тени мазанки, пыхтя и обливаясь потом, снимал шкуру со своего сивого козла Молдагали. Подошел Уали.

– Да будет щедрым айт!

- Слава всеблагодару...
- Ты свою ярочку продал?
- Нет.
- Тогда продай мне. Зарежу – помяну бабушку.
- Гони деньги!
- Осенью получишь.
- Не пойдет.

Уали ушел, а Молдагали, яростно сдирая шкуру с туши, хмыкнул:

– Сам с голоду подыхает, а туда же... о жертвоприношении мелет. Врет нечестивец... Обмануть хотел, нажраться надумал мясом задарма!

II

На отшибе, на ветру, возле болота стоят три черные лачужки. Вокруг ни скотины, ни человека, ни казана на земляной печке. Даже комары, и те сюда не прилетают. В тени крайней лачужки, скрючившись, сидят оборванные, грязные девочка лет двенадцати и средних лет женщина. Лица их желтые, изможденные, глаза опухшие. Вздыхают тяжело, с надрывом: «У-уф-ф...» Праздник айт, которому все так радуются, для них кажется мукой. Только и слышно:

– Бедные мы, бедные... Несчастные...

Со стороны аула, прихрамывая, приплелся мужчина. Тоже в лохмотьях. На шее – торба.

– Ну, как, Баке?

– Чего спрашивать?... Горе нам, горе...

– Что? Умер?

– Скончался.

Мужчина упал, как подкошенный, заплакал.

– Верно сказано: коли бог накажет, так и богач сголоду околеет... А Зейнеп как?

– Ресницы ее шевелились давеча. Теперь не знаю.

– Значит, тоже преставилась...

Снял с шеи торбу, швырнул на землю. Кажется, в ней что-то было.

– Раздобыл что-нибудь?

– Ничего дельного.

Мальчик и девочка лет шести-семи, совершенно нагие, тощие, выбежали из лачуги. Увидев свернутую, в пятнах крови, шкуру, набросились, драку затеяли.

– Перестаньте, черти! Натё вот... ушко, сердца...

– И это все... за весь день?! – спросила жена.

– А что делать, раз не дают?! Вот мошонка козла... а это ушко, сердца... И то подобрал на помойке... От собак отбил... Нет у людей жалости. Просил я Улбалу-байбише: «Дайте хоть кровь жертвенной скотины». А она ка-ак зарычит! Хватит, говорит, того, что целый год кормлю. Когда она что давала – не припомню...

– Ну и растяпа же ты... Несчастный! Пошла бы я, так подсобила бы кишки мыть, хоть бы требухой разжилась... Опять хворь проклятая не пустила. О, господи!..

III

Со всех сторон стекается народ к аулу. Группами и в одиночку. Верхом и на арбах.

Многолюдно возле белой юрты в середине аула. Телеги, лошади... сплошь молодежь. Ватага подростков ходит из дома в дом, собирает гостинцы, дары. Гудит-шумит аул.

– Да будет благодатным айт!

– Пусть и тебя благо не минует!

У земляной печки собралось человек пять. О чем-то говорят, удрученно головами качают.

– Ай-ай!.. Жалко!.. Такой человек пропал...

Весть, перебегая от одного к другому, дошла и до толпы возле белой юрты...

– Бакен умер... Вместе с женой.

– Когда?!

– Сегодня.
– Ой, бе-едные-е-е!..
– И хорошо, что умерли, а то ведь не жили уже – мучились.
– Несчастненькие... Знать, душа была чистая, безгрешная, раз бог прибрал их в день айта.
– Такова жизнь, джигиты... – глубокомысленно изрек белобородый старик. – Помнится, было это уже немало лет назад... Во время айта на равнине «где подох бык» скачки проходили. Народу собралось уйма, а Бакен всех досыта напоил кумысом... А теперь вот вместе с женой с голоду помер... Джигиты, все, кто знал покойного, отведал его угощения, помяните усопшего. После трапезы помолитесь, дабы утешилась душа раба божьего...

Поели мяса, попили кумыс и отправились гурьбой к холму за аулом, где развевалось полотнище. Здесь предстояли игры. О просьбе аксакала – помянуть усопшего – никто не вспомнил...

Байга-скачки, борьба, веселье... Если кто и говорил про Бакена и Зейнеп, умерших с голоду, то лишь о том, что «помыслы у них были чистые, потому Всевышний и соблаговолил прибрать их, бедных, в день священного торжества».

1922 г.

РАВЕНСТВО БЕДНЯКА

В 1917 году, в середине ноября, разъезжая по аулам, – я случайно остановился у Каукимбая. Заехал к нему на ночлег и Танирберген, возвращавшийся с волостного собрания. Хозяева зажгли лампу, сготовили чай. За одним дастарханом, помимо нас, гостей, уселись бай, его байбише, сын и сноха. Недалеко от порога, возле самовара, расстелив зеленую тряпицу, плюхнулся крепыш-джигит в лохмотьях. Я посмотрел: черное, в оспинах лицо, грубая, словно дубленая кожа, руки все в струпьях и ссадинах, весь облик и манеры, бесспорно, выдавали в нем байского малая-батрака.

Каукимбаю, видно, захотелось перед Танирбергеном подчеркнуть, что он бай и содержит батрака. Он чуть приосанился, небрежно спросил:

– Ты быка-то привязал?

Байбише мгновенно подала голос, поддерживая мужа:

– Зима на носу, пора бы подправить плетень возле кизяка, а ты только и знаешь, что шляться с утра до вечера без толку.

– Где это, интересно, я шляюсь?! – буркнул джигит.

Байский сынок, сидевший между родителями, криво усмехнулся:

– Нигде он не шляется. Только с ребятней малость мячик погонял.

Молодая сноха не пожелала отстать от свекра, свекрови и муженька и тоже разок поддела батрака:

– Совсем заработался, бедняга. Даже дров не наколот. И за водой я сама сегодня сходила.

Батрак молчал, словно признавал свою вину, и тогда бай решил оставить его в покое и повернул разговор в иное русло:

– Ну, рассказывай, Танирберген. Какие новости везешь из волости?

– Да разве мне до новостей было?.. Спешил продать скорее пару-другую овечек. Впрочем... кое-что слышал. Жуткие дела творятся. Встретил я татарина Сафи, ну, того купчишку, который на паре гнедых разъезжает и овец русской породы перепродает. Он мне и сказал: большевики появились. Отбирают у баев скот, отдают его беднякам. Теперь, говорит, «мое-твое» больше не будет. Все имущество отныне станет общим. Вот так. И, говорит, им числа нет. Прямо из больших городов поперли.

– Слышал, слышал, – благодушно протянул бай.

На лице его изобразилось нечто вроде насмешки.

Убедившись, что бай ничуть не встревожился вестью, Танирберген продолжал:

– Нам-то откуда знать, вот Кариму, грамотному, видней... Говорят, эти самые большевики – сплошь каторжники. Как свергли царя, так их и освободили из тюрем.

«Кариму видней» пришлось по душе байскому сынку, и ему захотелось показать Танирбергену, что он действительно кое-что знает.

– Это же все нищерброды, отребье, продавшееся за деньги. Вот, к примеру, дай Букабаю денег и скажи: «Убей такого-то!» Так разве он не убьет? Вот они и объявили: «Передадим всю власть беднякам». А оборванцы и взбесились. Только зря они ликуют. Завтра же им придет конец...

– Глядишь, наш Букабай еще аулнаем станет, – хихикнула байская сноха.

– Ну и что? И стану! – мрачно сказал Букабай. – Думаешь, я хуже придурковатого сына Сарыбая, который где попало теряет печать?!

Бай и байбише презрительно выставились на батрака.

– Смотри, куда он метит!

Пять лет спустя, в мае, случай опять столкнул меня с Букабаем. Встретились мы на дороге. Шел он пешком, на плечах старый рваный чапан.

– Куда путь держишь, Букабай?

– К аулнаю. Из казны поступила мука, вот и плетусь за ней. А то, боюсь, растащат и опять останусь ни с чем. Когда раздавали семена, у меня с голоду ноги отнялись, а Карим и прикарманил мою долю пшена.

Был Букабай бледный, осунувшийся, как после тифа. Даже стоять на ногах и то ему было трудно, и разговаривал он со мной, сидя на обочине дороги. Он подробно ответил на мои расспросы, рассказал, что бая прогнали, и он вместе со своей байбише всю зиму, шесть долгих месяцев, побирался, как нищий, и жрал кошек и собак.

– Пришло лето, не пропадем. Байской сохой я распахал и засеял один клин проса.

В том же году я встретил Букабая на току. Он перелопачивал на ветру небольшую кучку проса.

– Да будет богат кирман!

– Спасибо! Он и так богат, что сусеки трещат, а на налоги еле хватает, – невесело пошутил Букабай.

Оказалось, при распределении семян аулнай записал, будто Букабай получил два пуда проса и засеял два клина земли.

– Я же вам говорил: мою долю присвоил подлый Карим. Всю зиму я голодал, а весной обменял единственную алашу, приданое жены, на полпуда зерна. Посеял, радовался, а теперь весь урожай ухлопаю на налог. Ну, ладно, у людей нынче хлеб есть, небось проживем как-нибудь, хоть на милостыни...

Обиды на власть, взимавшую налоги, бедняк Букабай, однако, не имел.

– Все надеемся, скоро беднякам выйдет полное равенство. Но пока оно наступит – баи нам все жилы еще вытянут, – заметил Букабай, вновь берясь за лопату.

В 1923 году, в октябре, я попал на выборы в Четвертом ауле. Собрались главным образом бедняки. За длинным расшатанным столом, разложив перед собой бумаги, сидел серолицый усатый мужчина.

– Товарищи! Меня прислала к вам власть для проведения выборов. Выбирать будете вы. Для руководства собранием нужно избрать президиум, – сказал он.

Собравшиеся недоуменно переглянулись.

– Объясни, дорогой, что это за «перезден»?

– Президиумом называют тех, кто ведет собрание. И еще имейте в виду: на собрании должны присутствовать только бедняки. Богачам, рядившимся в бедняков, отныне среди вас нет больше места. Довольно они морочили головы! И если такие затесались тут, их следует выпроводить.

– Мырза, разрешите мне сказать?– спросил Букабай.

– Говорите!

– Среди нас сидит Карим, отпрыск бая Каукимбая, у которого я батрачил долгие годы. Во времена Николая он несколько лет был аульным правителем. Если можно, пусть этот господин покинет помещение.

– Вполне справедливо. Кто такой Каукимбаев? Потрудитесь выйти вон! – сказал инструктор.

Среднего роста, рыхловатый байский сынок, покрываясь пятнами, двинулся к двери. Его провожали откровенно злорадствующими, насмешливыми взглядами.

– Ну, так кому же доверяете вести собрание?

– Кому же? Букабаю!

Все разом оживились, зашумели.

Букабай опустил на стул рядом с инструктором.

Представитель власти говорил долго. Наконец он кончил, и приступили к выборам. Букабай не удержался и попросил слова.

– Слышали, о чем говорит этот джигит? Значит, теперь все в наших руках. Власть дает нам равенство, и мы должны им воспользоваться. Думал ли я когда-нибудь выйти в люди и вот так руководить собранием? Никогда! Даже во сне такое не снилось. Пяти лет я остался круглым сиротой и до тридцати мыкал горе, гнул горб на чужих. А что имел? Ни платы, ни пищи. Свидетель аллах – ничего! Ничего, кроме ругани да измышательства. А в голодном году меня и вовсе вытолкнули в шею. Карим не дал мне семян, а налог свой записал на меня. Много обид я снес. Что там говорить, вы и сами все знаете... Поэтому хочу вам сказать: выберите аулнаем такого, кто по-настоящему позаботится о бедняке, кто душой болеет за бедняков. Только тогда мы добьемся равенства.

– Тебя выбираем!

– Пусть аулнаем будет Букабай!

– Букабай!

– Подождите, – поднялся инструктор. – Ставим на голосование.

– Ставь не ставь, голосуй не голосуй, а аулнай – Букабай.

– Да, да! Букабай – аулнай!

– Да здравствует равенство кедея! – крикнул кто-то.

– Да здравствует равенство бедняков! – перевел другой сейчас же.

1923 г.

О, ВРЕМЕНА!

Над кем надсмехается нынче время? Над баем, владевшим тысячью лошадьми, над мырзой, хорохорившимся за дастарханом, над кичливыми и жеманными байскими красотками. Подмяло их теперь крутое время, растеребило, как клочок шерсти, заставило думать о куске хлеба и одежке, чтобы хоть срам прикрыть.

Среди сорока семей Карыкбола разве мог кто-нибудь сравниться с Жайлыбаем? Толстомясым и дородным был его отец – Сырлыбай. Про него неизменно говорили: «Дюжий бай, верблюжий бай». После его смерти во всех сорока юртах Карыкбола с еще большим усердием стали почитать священный дух покойника. Старики-старухи в конце каждого намаза просили Всевышнего облагодетельствовать «правоверного Сырлыеке». Собираясь в дальнюю дорогу, и стар и млад молились над его прахом. Молодки даже под угрозой казни не осмеливались своими грешными устами произносить его святое имя, даже слова, начинавшиеся со слога «сыр», и то не произносили.

Вместо, например, «сырлы-аяк» – расписанная чаша – говорили «бояулы-аяк» – крашеная чаша. Словом, везло Сырлыбаю: на этом свете был – бай, а на том – попал в рай.

Сырлыбая заменил Жайлыбай. Богатством он превзошел отца. Все ему в рот заглядывали. И почет, и слава были у Жайлыбая. И власть, и право тоже были в его руках. Дело решенное, но его никто не считал решенным.

Но... времена превратны, утверждают старцы. Все вокруг переменялось, все порушилось и вздыбилось, ноги стали головой, а голова – ногами. Захлестнул этот грозный поток и Жайлыбая, и смысл он у него скотину в хлевах, унес с собой овец из кошар. А нет скота – нет и богатства, и радости тоже нет. А без этого какой смысл во власти?

Незаметно для самого себя очутился Жайлыбай на отшибе. Люди, еще недавно исполнявшие все его прихоти, теперь и слушать его не хотели.

Бедняки ликовали.

Жайлыбай скорбел.

Все чаще вздыхал он о прошлом.

– Ой-хой, времена!

А потом его и вовсе закрутило-завертело. Отвернулась судьба от бая, и у аллаха не оказалось к нему ни жалости, ни пощады. Все пошло прахом. Всего лишился Жайлыбай: и дедовской славы, и несметных табунов. Теперь одна забота: как бы с голоду не околеть. А тут еще и новый аулнай вкогтился в него – такими налогами обложил, что хоть вой. Все собрания-совещания проводятся в ауле Жайлыбая. Все расходы свалили на него.

У байбише Жайлыбая широкая, щедрая душа. Однако сколько же можно терпеть?

– Почему люди о боге не думают?– отчаивалась она.

– Неужели не видят, что мы нищие?!

Но бедняки нынче вконец обнаглели. И про бога, и про страх забыли.

– Чего хай поднимаешь?– говорят.– Мы же терпели, теперь ты потерпи. Мало разве над нами измывались? А если мы и берем, то свое. Что у нас же и награбили.

Ну что на это скажешь?

Верно говаривали в старину: богатство в скотине. Как лишился скота, так и уважение потерял. Люди уже не почитали святой дух всемогущего родителя. А чумазые бабы, жены пастухов, без стеснения трепали

имя Сырлыбая и теперь, наоборот, вместо «бояулы-аяк» – крашенная чаша, запросто говорили «сырлы-аяк» – расписанная чаша.

– О святой пращур! Светлое имя твое затрепали грязные нищелюбы, как замусоленный лоскуток! Ой-хой, времена, времена!.. – тяжело вздыхали бай и байбише, и при этом сердца их разрывались от горя и обиды.

Да... изменились времена. Ничего уже не радует, не прельщает. Вот опять было собрание. Одна голытьба да босоногие сорванцы собрались. Раньше тут чинно восседали дородные бии, исполненные достоинства, гордые мырза, а теперь тут только шантрапа в вонючей овчине горло дерет. Нет ни учтивости, ни благочестия, старших не чтут. Сопливые юнцы огрызаются на степенных бородачей:

– Вы – смутьяны! Ненасытные ваши утробы!

Вон с краешка присел Байкаска, тощий, бледный, с бурой острой бородачкой. Еще недавно перед ним трепетали, лебезили. А теперь глядеть жалко. Не человек – калека. Только разинул было рот, как на него зашикали:

– Вам слово не дано. И вы воров не выгораживайте!

Или вот Еркожа. Сам он баем не был, но всегда пел под байскую дудку и старался верховодить простым людом. Сейчас он только начал: «Я...» – как голодранцы обрушились со всех сторон:

– Ты с ворами водишься. Ты – воровской прихвостень.

Ну что тут поделаешь?

Дурные времена настали!

Плюгавый рыжий коротыш с важным видом присеменил с бумагами:

– Где Жайлыбай?

– А зачем он тебе?

– Есть бумага из суда.

– Что еще такое?

– Вы обжулили своего батрака. По его жалобе суд принял решение: выплатить ему тысячу рублей золотом.

– Какой ужас! Апырмай, хоть бы бога побоялись! Хоть бы святого духа постыдились! Где это видно, чтобы батраку платили тысячу рублей?!

Заплакал Жайлыбай. Заголосила байбише. Давно ли имя Жайлыбая гремело на весь казахский род, а теперь и черный остов его юрты вместе с трухлявыми, продымленными кошмами грозили забрать за штраф.

Ой-хой, времена, времена!

1924 г.

РАЗГОВОР В ПУТИ

По осеннему небу плывут, клубясь, опускаясь все ниже и ниже, кудлатые тучи. Свирепый северный ветер рвет ветхую, в заплатах и прорехах одежду, пробирает до костей.

Вчера мы заночевали у Токана. Среди трех-четырех дворов этот был самый зажиточный. Хозяин – в отличие от других – был не прочь называться богачом: как-никак, а две дойные коровы – это тут богатство. Кошомная юрта у него, однако, вся в заплатах, и по ней гуляет черный дым. Пошуровав вонючий тлеющий кизяк под очагом, хозяин с наигранной досадой вчера сказал:

– Барекельде-ай, для гостей, как назло, и мяса нет.

Поэтому решили выехать спозаранок. Токан смазал разболтанные, расшатанные колеса, кое-как из сколоченной сорока частей арбы, и принялся запрягать сивую куцехвостую лошаденку. Тут-то и подошел Айдарбек в заскорузлой шубе и в смятом тымакестреухе, сдвинутом к затылку.

– Куда направился?

– Хочу гостей отвезти к баю Сакену.

– Барекельде-ай, а я хотел арбу взять, на базар съездить, мясо продать.

Судя по всему, нам полагалось извиниться за то, что собрались воспользоваться единственной во всем ауле арбой. Чтобы как-то утешить Айдарбека, мы попытались затеять с ним разговор.

– От продажи мяса доходы, должно быть, немалые?

– Ой, дорогие, какие там доходы?! Кто теперь о богатстве думает! Лишь бы с голоду не пропасть.

Жена Токана – высокая, тощая, черная баба. Видно, перед нашим приездом супруги повздорили. Жена лупила, срывая зло, трехлетнего чумазого бутуза, а Токан, ни слова не говоря, утешал ревущего малыша, пряча его в подол шубы. Когда пришел Айдарбек, она тоже была на дворе и, видимо, не захотела упустить удобного случая кольнуть мужа на людях.

– У других мужья о деле думают, выгоду ищут, – сказала она. – А моему растяпе чин понадобился. Посмотрю, как запоем, когда лишится коз и сивой клячи.

Токану явно не понравилось, что при посторонних заговорили о его бедности. Завязывая тесемки треуха, он исподлобья гневно глянул на жену.

Вскоре мы поехали. За нами трусил лохматый, пестрый пес. До полудня было еще далеко. Сквозь плотные тучи изредка робко пробивалось солнце. Мы ехали по аулу, расположившемуся вдоль реки. Из некоторых юрт струился дым. Простоволосые, босоногие, изможденные на ледяном ветру люди лепили глиняную лачугу.

На отшибе темнели камни-стояки и торчали покосившиеся деревянные стены. С первого взгляда было ясно: кладбище. Сюда и привела нас извилистая дорога. Токан все реже погонял куцехвостую сивку, а возле кладбища и вовсе остановился.

Он слез с арбы и посмотрел на нас:

– Вы что же, не будете молиться?

– Прдрогли, – ответили мы. – Едем!

Он удивился.

– Чутьочку постоим.

Он опустил на колени, начал бормотать поминальную молитву «агузы бисмильда». Голос его звучал хрипло, гнусаво. Прочитав суру из Корана, он взобрался на арбу и начал ерзать, поминутно взглядывая на нас, желая, по-видимому, что-то сказать.

– Кладбище вашего аула?

– Да, нашего.

– А эта свежая могила – чья?

– О! Здесь покойтся почтенный человек! – загадочно, сказал Токан и боком повернулся к нам. – Вот этот длинный аул вдоль берега называется Алшан. А наш аул – Коспак. Алшан и Коспак – родные братья-погодки, дети одного отца. Мать их, достойная Кунетай, рассказывала: «Когда я была тяжела Алшаном, то вдруг необыкновенно похорошела, расцвела, стала доброй, покладистой, постоянно прислушивалась к советам мужа. Видно, сын станет мудрым правителем, уважаемым всеми, и богатство не оставит его потомков до седьмого колена». Так и случилось. Алшан вырос, и во всем никто не мог с ним сравниться. И белая кость, и черная – все обращались к нему за советом. Так рассказывал мой отец. В ауле, который мы сейчас проезжали, живут двенадцать семей его потомков. Остальные – дальние родичи. До сих пор потомки Алшана находились в славе и почете. Все сплошь юркие, хваткие джигиты. К друзьям-приятелям благодущные, щедрые. Особенно выделялся среди них Уали. Видели свежую могилу – это его. Умер месяца полтора назад. Был шесть лет волостным... Потом началась смута, но он продолжал быть в чести. До самой смерти не упускал из рук повод власти...

В прошлом году, перед выборами, вызвал меня. «У всех нас, – сказал он, – один предок. Если мы будем дружны и едины, никакой враг так просто нас не одолеет. Вот опять пришли выборы. Захочу стать аулнаем, никто меня по рукам не шлепнет. Но для новой власти мы не особенно приятны. Сейчас стараются облагодетельствовать бедняков. Ну, что ж... Ты ведь из них. Лучше выберем тебя, чем какого-либо чужака. С тобой и поговорить и посоветоваться проще.

Я поддержу тебя: будь аулнаем». Возражать почтенному человеку было не принято, и я ни слова не сказал ему поперек. Теперь он умер. Среди родичей нет такого, кому бы можно было доверить управление народом. А что толку от чина аульная, если опереться не на кого? В самом деле, тщетны мои потуги...

Токан горько вздохнул. Видно, вспомнил прошлые годы, время, проведенное со своим благодетелем Уали. Было Токану под пятьдесят, однако чувствовалось: душа его молода, и в груди его тлеют неосуществленные мечты. Должно быть, в душе он видел себя заступником своего рода, надежной опорой молодого поколения, добрым правителем, верным последователем богатого сородича, высокочтимого его потомками. Поэтому, понял я, он старательно изображал из себя волостного, тугобрюхого богача, сидел развалившись, важно покашливал, побрякивал да плевался во все стороны.

Мы ехали побережьем реки Тобол и к обеду прибыли в аул бая Сакена. Когда показались деревянные дома с высокими крышами, Токан сказал:

– Вот один из аулов, чей остов не пошатнулся. Растут, множатся и поголовье скота, и люди...

1924 г.

АЙРАНБАЙ

Всем, кто только переступит порог дома Айранбая, сразу станет ясно, чем занимается его хозяин. На коленях Айранбая черная, грязная дощечка; вокруг валяются обрезки кожи, обрывки жильных ниток, лежат шило, нож, брусок, колодки, иголка.

Айранбай, в овчинной безрукавке на голом теле, пришивает к старому голенищу новую головку. У ног его, перебирая причудливой формы обрезки, играет разлохмаченная девочка.

Отнюдь не пригож Айранбай лицом, да его почти и не видно из-за смоляной кудлатой бороды. При первой встрече с Айранбаем невольно подумаешь: «Лет пятьдесят, пожалуй, будет шайтану». Брови мрачно насуплены, и кажется, такая злоба кипит в этом шайтане, что готов растерзать в клочья любого неведомого врага. Вот он с силой натянул дратву и локтем задел подвернувшуюся под руку девчушку. Еле сдерживаясь, оттолкнул ее:

– Ну, что ты, бедняжка! Сколько раз говорил: не подходи ко мне, когда работаю.

Девочка виновато посмотрела на отца, в глазах ее заблестели слезы.

– Они... не играют со мной... Обижают, – пролепетала она, как бы извиняясь за то, что вынуждена сидеть дома.

В землянку ворвалась, как степной смерч, громадная разъяренная баба.

– Вот они, твои родственнички! И подохнешь – на тебя не посмотрят!..

На бабе ветхое, как попало залатанное платье, замызганный, сплошь в заплатках платок, на ногах – сыромятные, до белизны заношенные сапоги. Судя по свирепому виду, она крепко повздорила с Айранбаем и готова вцепиться в него при первом же удобном случае. Это его жена – Раушан.

Совершенно неожиданно обложили Айранбая налогом в десять пудов зерна, и он собрался в город с жалобой. Собраться-то собрался, а идти не в чем, сапоги совсем развалились. Из клочков и обрезков новую головку не соберешь, и он отправил Раушан к Кемельбаю за кожей. Кемельбай и Айранбай – родичи. При любой нехватке Айранбай сразу же обращается к Кемельбаю. На этот раз он послал жену. А она находилась в острой ссоре с женой Кемельбая. Бабы, оказывается, на последнем тое сидели за одним табаком – и повздорили из-за куска мяса. При этом зачинщицей скандала была отнюдь не Раушан. Жена Кемельбая, оскорбленная тем, что ее посадили рядом с нищевродкой, принялась раздавать – еще до начала трапезы – мясо ребятишкам, толпившимся у двери. Чувствуя, что мясо уплывает прямо на глазах, Раушан схватила с подноса шейный позвонок и только намеревалась было сунуть дочери, как жена Кемельбая закричала: «Положи! Откуда ты, такая обжора приبلудная, взялась? Из-за тебя никому и кусочка не достанется!» – и вырвала кость из ее рук. Старухи, чинно восседавшие за главным табаком, тоже все выставились на Раушан. «Несчастливая! Из голодного края, что ли, ты прибыла? Что на мясо-то наинулась?!» Получилось, будто во всем она, Раушан, виновата. С тех пор она за версту обходит дом Кемельбая. Весь аул ходит туда кумыс пить, а Раушан – ни за что. Жена Тайбагара, старая приятельница Раушан, доставляет ей изредка сплетни из байского дома. «Эта хрычовка, видать, скоро совсем с ума

спятит. Все уши мне прожужжала, пока я выцедила тостаган кумыса. Только о тебе и мелет. Пусть, говорит, себе бесится, стервоза... А что она мне может еще сделать, говорит...» От таких вестей Раушан еще пуще распалялась.

– Дай бог, чтобы на глаза мои не попадалась эта дрянь! С голоду подохну, а к ней ногой не ступлю!

И вот вздумалось вдруг мужу послать ее к Кемельбаю. «Да ни за что!» – заупрямилась Раушан. Тогда Айранбай и запустил в нее колодкой. Поняв, что дело этим не ограничится, Раушан отправилась в ненавистный дом. И вот теперь, вконец взбешенная, вернулась.

Она под села к печке, и взгляд ее тут же упал на черную колодку, ту самую, которой Айранбай угодил ей в колено. Раушан схватила ее со злобой, будто именно она была причиной всех бед, и швырнула к стенке, где на колченогой подставке стоял одинокий – как изъеденный зуб во рту дряхлого старика – сундук. Колодка с грохотом ударилась о него.

Айранбай вздрогнул, поднял голову:

– У, собака! Бей, ломай!..

Почему Кемельбай не дал куска кожи и что ответила его жена, Айранбай не стал подробно расспрашивать у Раушан. Зачем? Баба Кемельбая – злюка страшная. Такая вместо кожи может запросто дать коленкой. К тому же и Раушан пошла к ней через силу, испугавшись побоев. Так что теперь она со зла может что угодно наговорить. Каждое слово перевернет так, что и не поймешь, где ложь, где правда. А из-за бабских сплетен ссориться с родичем – самое недостойное дело. Эту истину покойного Жаке Айранбай крепко себе усвоил. Тот говаривал: баба – Азраил, сеющий раздор и смуту между мужчинами.

А так как Айранбай и сам не придавал значения бабьим пересудам, то он предпочел бы, чтобы и другие поступали точно так же. Кемельбай мог бы и услужить ему. Каждый раз, думая об этом, Айранбай испытывал странную досаду. В последнее время это ощущение все чаще посещало его. Не раз уже, обидевшись, Айранбай про себя решал больше не знаться с Кемельбаем, но, хорошенько выпавшись, тут же забывал и про обиду, и про это свое решение и отправлялся к нему на кумыс. У Кемельбая была к тому же такая особенность: чуть заметит, что Айранбай дуется, так сразу начинает лебезить, заискивать, а сынишке-несмышленишу говорить: «Ты поздоровался с дядей?», «Ну-ка, подай своему дяде кумыс!» После этого в душе Айранбая улетучивалась всякая обида, и он считал себя даже счастливым, имея в родичах такого богатого и уважаемого человека, как Кемельбай.

И на этот раз Айранбай пытался утешить себя, считая все это обычным недоразумением, однако вместо утешения упорно всплывало глухое раздражение. И причиной тому была уже не Раушан, как ему хотелось бы, а сам Кемельбай. И сразу же вспомнилось то, что в комиссию, которая обложила его налогом с несуществующего урожая, входил Кемельбай. А уж он-то прекрасно знал, что у Айранбая нынче ничего не возшло, что не вырастил он даже и горсти проса. Об этом он толковал шесть месяцев – каждый раз, когда приходил к Кемельбаю пить кумыс, затевал этот разговор. Те, кто засеяли десять-двадцать клинов земли, легко рассчитались с налогом, а Айранбай попал неожиданно в беду, и в этом он прежде всего винил Кемельбая. Когда аулнай приезжал за налогом, Айранбай бросился к родичу и высказал ему в лицо немало горьких слов. А теперь Кемельбай ему даже клочок кожи пожалел. Это вконец вывело из себя Айранбая. Он выковырял из-под губы насыбай, щелчком отшвырнул его и спросил:

– Так его дома, что ли, не было?

– Был.

– И не приказал дать?

– Жди! Прикажет он... Как раз он-то, твой родич, и сказал: «Эти попрошайки и нас скоро по миру пустят...» Но ты разве мне поверишь? Ты только ругаться горазд. А сам ничего не видишь, не понимаешь. Ведь Кемельбай и обложил тебя налогом. Да, да! Вчера сноха Маржан пила у них кумыс, и он, твой родич, говорил: «Что для него десять пудов зерна?! Он за работу больше с нас содрал». Слышал?.. А что он нам давал? Всю жизнь шьешь ему, а гнилой нитки от него не получили...

Айранбай вздохнул:

– Псы разве добро помнят?

Распутав жилые нитки, он вновь принялся за шитье. Мысли его витали далеко. Стал припоминать он все добро и зло, доставшиеся на его долю от Кемельбая и разных других баев.

Все его прошлое – мрак. И не было, пожалуй, в этом мраке ни одного светлого лучика. Сколько себя помнит, постоянно он тянет жилы на Кемельбая и ему подобных, а ничего за свои труды не нажил. Даже неизвестно, что он сделал, чего добился, на что потратил силу, здоровье, старание... Думая так, Айранбай вдруг вспомнил инструктора, приезжавшего в аул неделю назад. Совсем еще юнец, а как начнет говорить – так и не запнется. Каждое второе слово – про бедняков, про то, что плоды их трудов достаются баям. Кто пасет байский скот? Бедняк! Кто косит богачам сено? Бедняк! А кто пользуется этим сеном? Бай! Бедняк работает, богач блаженствует. Вот и думай, бедняк, как и что! Пораскинь мозгами-то!..

А ведь верно сказано. Айранбаю сейчас сорок. Пусть первая половина жизни не в счет, но двадцать лет подряд он вкалывает без отдыха. А что он нажил?

Надрывается днем и ночью, а все не сыт, не одет, не обут. А Кемельбай за всю жизнь пучок травы и то не нарвал. А живет в достатке, в довольстве, и всего-то у него вдосталь...

Долго думал Айранбай и пришел к выводу: «Труд бедняков присваивает себе бай. Инструктор прав». И эти свои мысли ему захотелось выразить словесно, чтоб утешить жену.

– Жена! – торжественно сказал Айранбай. – С Кемельбаем я окончательно порвал. Отныне мы с тобой и к двери его не подойдем. Бог даст, с голоду не пропадем. Запишемся в каменесы¹. Нынче бедняк в чести. Сейчас только и слышно: «Кедей!», «Кедей!». Каменесы прокормят нас не хуже Кемельбая. Власти их в беде не оставят.

Раушан повеселела. Сказала дочери:

– Принеси кизяк, зрачок мой. Отец, наверно, проголодался. Чай хоть сготовлю ему.

Айранбай встрепенулся, словно сбросил с плеч тяжкий груз и только что пришел в себя. Улыбаясь жене, он затянул озорную песенку «Кукушка»:

Закуковала кукушка под окном.

Затопотал копытами мой конь...

1924 г.

¹ Искаженное – коммунист.

ЖЕНИХ

Смерть Биганши особенно тяжело переживали трое: Жуматай, Садык и Байбосын. Жуматай – муж Биганши-покойницы; Байбосын – ее единственное кровное дитя; Садык – самый близкий и любимый из всех деверей.

Правда, переживали эту потерю каждый по-своему: Жуматая главным образом удручало то, что он остался вдруг без бабы и вынужден лежать в постели один; Байбосын лишился ласковой и доброй матери; а Садык горевал просто потому, что потерял сердечного друга, искреннюю женщину, к которой был привязан всей душой.

Умерла Биганша скоропостижно и безвременно: было ей всего двадцать три года. Среди сверстниц выделялась она красотой: тугие, красные, как яблоко, щеки, чистые черные глаза, и сама тонкая, гибкая, как тальник. Выдали ее замуж за Жуматая в четырнадцать лет. До двадцати она не заботилась ни о себе, ни о хозяйстве, ни о доме. Считала по наивности, что единственная обязанность замужней женщины – спать с мужем и беспрекословно исполнять все его желания и прихоти. И сам Жуматай тоже думал так. Ни разу в жизни он не сказал связно хотя бы несколько слов, ни с кем по-человечески не поговорил, все время угрюмо молчал, нахмутив брови и опустив плечи. Случилось горе – он не горевал по-настоящему, встречалась радость – он не радовался, как все люди, а когда злился, то только хрюкал. Лишь изредка, когда его невзначай посещало доброе расположение духа, он вроде бы

улыбался. И это была странная жутковатая улыбка, не похожая на улыбку нормального человека. Он просто скалил зубы и издавал утробный рык.

Кто знает, каким представлялся Жуматай другим, но Биганше он показался именно таким с первой ночи, и никаких надежд на перемену к лучшему у ней не было. Девять лет продолжалась их супружеская жизнь, и все эти унылые годы Жуматай был все тем же самым. Если ему надо было ее позвать, он рявкал:

– Эй, баба!..

Если же что-либо было не по душе, он похабно ругался:

– У, весь твой поганный род!..

Вечером, едва тушили лампу, он набрасывался на нее. Пыхтел, сопел, ерзал, будто за лисицей гонялся. Пока он обливался потом, Биганша вся застывала от стыда и отвращения и брезгливо отворачивала голову, чувствуя на себе горячее смрадное дыхание. Отказать мужу она не осмеливалась и, задыхаясь, шептала:

– Ну, что ты... дергаешься, несчастный! Подождал бы хоть, пока люди уснут...

Забитая, зачуханная, угасшая Биганша вскоре перестала себя и за человека считать. Тогда-то и встретился ей Садык. «Встретился», – обычно говорят, если кто-нибудь приезжает издалека. А между тем Садык и она были из одного аула. Просто до поры до времени она его не замечала.

С чего все началось, они и сами, верно, не знали. Встретились как-то, заговорили, обменялись шуткой, улыбнулись друг другу, все получилось неожиданно ладно, славно, а вскоре Садык запал ей так в душу, что не выходил из головы.

Был он среднего роста, чернолицый, рябой. На правой щеке чуть виднелся шрам. Глаза узковатые, с прищуром. Нос не такой уж большой, но и не плоский, не приплюснутый, как у некоторых. Вполне средний

нос. Тонкие, щеголеватые усики. Говорлив, весельчак. На домбре играет, на вечеринках песни поет. Не прочь померяться силой, сверстников своих запросто кладет на лопатки. Не раз получал приз за борьбу. Среди аульных джигитов Садык, несомненно, был самый видный. Но с женой ему явно не повезло. Не ровня была она ему, эта длиннолицая, костлявая, неуклюжая, мужеподобная баба. К тому же о приличии, учтивости понятия не имеет. Жена молодого человека, шляется по домам, болтает без умолку и все аульные сплетни собирает. В аулах рассказывали: «Зашел как-то Садык к кому-то, а вслед за ним приперлась его баба. Ну, Садык от стыда встал и ушел...»

Одним словом, сблизилась, сдружилась молодые. Нежданно-негаданно взошла светлая заря в жизни Биганши. Казалось, она заново родилась на свет, только теперь пришла к ней молодость. Она неузнаваемо изменилась, похорошела, расцвела. Да и ходить стала нарядная, как в праздник...

А в ауле между тем среди языкастых баб, как водится, поползли разные слухи, и однажды дошли они и до Жуматай. Биганша встревожилась, подумала: «Теперь Жуматай меня или убьет, или прогонит». Но оскорбленный муж поступил иначе. Мрачно насупившись, он рывкнул:

– Ты почему, сука, блудом занимаешься, а?!

И отстегал ее камчой. Но Биганша не голосила и пощады не просила. А вечером, как только потушили свет, Жуматай набросился, подмял ее под себя, словно силился раздавить, и задышал жарко, отрывисто в ее лицо. Она замерла, закусила губу, подумала: «Господи... Что он, скот, что ли?.. Как он может, зная про все?..»

Вот такие отношения, связи установились между Биганшой, Жуматаем и Садыком. А потом случилось

непредвиденное: Биганша умерла. И остался Жуматай без бабы. Садык лишился ее верного, любящего сердца, и потому, казалось, горе его было сильнее, чем у всех. Но Жуматай считал иначе. «У Садыка есть все же забава, – думал он, – у него своя баба есть. А каково мне, бобылю?» Если бы он мог с кем-нибудь ублажать свою похоть, конечно, он и не вспомнил бы о Биганше.

Теперь у него была одна мечта: обзавестись снова бабой. Начал он думать, начал людей расспрашивать. Тот, кто сообщал ему, «вот у такого-то есть дочь на выданье», мог вдоволь пить кумыс от пятерых дойных кобылиц Жуматая. А какая она? Красивая? Умная? Или хромая, паршивая, косая, придурковатая?.. Это Жуматая как будто и не интересовало. Ему лишь бы баба была – и ладно...

Отправился он сватать молоденьких девок, но постигла его неудача. Всюду приходилось выслушивать один и тот же ответ:

– Неволить дочку не могу. Пусть сама решает, – говорили отцы.

Это приводило Жуматая в бешенство. Он злобно хрюкал и отворачивался. Садился на коня и отправлялся в аул. Приятели любопытствовали: «Что случилось?»

– Не вышло, – бурчал Жуматай. – Отец не может неволить дочку. Она, видишь, сама решает.

– Ну, так это же хорошо, – возражали приятели. – Коли ее воля, займись ею, договорись и бери ее без всякого калыма.

Но Жуматаю это никак не нравилось. Что значит – «займись, договорись»? Зачем это ему? Если отец отдаст дочь и получает за нее калым, а мулла сочетает их брак, то разве это не значит, что он «занялся» ею? О чем же еще договариваться? Жуматаю это невдомек. Ему, слава аллаху, уже тридцать шесть, и до сих пор он не нуждался в том, чтобы «договариваться»

с какой-нибудь девкой. Сказали тоже: «Займись!» Да он в жизни еще и путного слова ни одной долгополой не сказал!

Три месяца промаялся Жуматай без бабы. Истосковался, измучился. Невмоготу стало. И потащился он однажды к Садыку.

– Гуляешь?– спросил Садык.

– Какой там «гуляешь»!.. Я это... хотел... ну, это... самое,– замямлил Жуматай. Никак не удавалось ему выразиться точнее.

– Понятно,– ухмыльнулся Садык.– Видно, извелся без бабы-то, а?

– Ну, ты ведь сам знаешь про мою беду,– жутковато оскалился Жуматай.

Садык заговорщически подмигнул.

– Верно. Без бабы жить тебе никак нельзя. Я давно о том подумал. Но помалкивал. Думал, сам найдешь, раз по аулам рыщешь... Есть у меня свояченица на примете. Айда, поехали к ней!

– Зрелая?

– В самом соку...

– Зять мой приехал!

Тонкая, неокрепшая смуглянка выбежала из дому им навстречу. Бросилась с разбегу на шею Садыка, стала по обычаю тормозить его, не пускать в дом. Всполошились и ее родители, обрадовались приезду зятя.

– Ряшжан, поставь чай!

– Ряшжан, заложи мясо в котел!– начала распорядиться черная старуха.

Девушка, звонко посмеиваясь, легко и быстро сделала все, успевая между хлопотами ласкаться к Садыку, присаживаться к нему на колени, шаловливо заигрывать с ним.

– А мне нужно тебе что-то сказать наедине.

– Ну, что, милая? Ну, скажи сейчас!

– Не-ет, потом... скажу.

Ряш на мгновение задумалась, улыбнулась и, вспорхнув, побежала по своим делам. Садык шепнул Жуматаю:

– Славная девчушка. Проворная. Умница. Лучшей жены для себя не найдешь...

Потом Садык позвал Жуматая на улицу:

– Иди-ка сюда! Видишь тот хлев? Там она сейчас с коровами возится. Я ей сказал: «Жениха тебе привез. Поговори с ним и соглашайся». Теперь за тобой дело. Иди, уговори ее. Если согласится, не теряйся... Сам знаешь...

Садык пропустил Жуматая в хлев и закрыл за ним ворота.

Хлев оказался огромным. В потолке то здесь, то там зияли светлые дыры, и они были похожи на звезды. Коровы смачно прожевывали жвачку, мотали головами, щелкали копытами. Жуматай переминался с ноги на ногу у порога и никак не понимал, что же ему сейчас надлежит делать?

Девушка осторожно подошла к воротам. Остановилась рядом с Жуматаем и спросила:

– Кто это?

– Я.

– Что же вы стоите?

– Да так...

Так они постояли еще некоторое время друг против друга. В щели проникал свет, и было хорошо видно одутловатое, тупое, заросшее грязной щетиной лицо Жуматая и тоненькое, хрупкое, с поблескивающими глазками личико смуглянки – ее туго заплетенные косы, закинутае за спину. Жуматаю она годилась бы в дочки.

Едва они вышли из хлева, подошел Садык.

– Ну, что? Поговорили?

– Чего там говорить? – буркнул Жуматай. – Ты бы лучше с отцом ее поговорил, спросил, сколько голов скота требуется?

– Да что ты, дурень?! Надо же сначала девку скрутить. Без ее согласия отец ничего не может.

– А какое еще ее согласие?.. Договорись насчет калыма, и чтоб сегодня же девка была у меня в постели...

На угрюмом лице Жуматай впервые промелькнуло какое-то подобие улыбки.

На другой день Жуматай и Садык вернулись в аул.

Каждый сам по себе.

1925 г.

ЧУДО В НОЧЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Жизнь муллы Байкана за последние два-три года была, по его же выражению, собачьей.

Скота стало меньше, доходы сократились, в аулах его перестали уважать. Даже благочестивые софы, которые раньше почтительно называли его таксыр¹ и угодливо трясли руку, интересуясь по каждому поводу мудростями священного шариата, теперь забыли про наставления пророка и стали думать только о брюхе. Софы Ибрай, еще недавно день и ночь сонно перебиравший аршинные четки, добытые у ишана, нынче выкроил из длинной чалмы рубаху и вот плетется, как мужик, за деревянной сохой.

– О, боже милостивый, что с народом стало?! Видно, и впрямь конец света настал... – удрученно вздыхал Байкан-мулла.

«...Теперь еще одна напасть объявилась – комсомол. Я думал: это какое-то одноглазое чудовище, а оказывается – наши же аульные сорванцы!.. Многих из них лет шесть назад я еще сам же и учил. О, господи! Неужто и священное учение им впрок не пошло? Разве не воспитывал я их в духе праведном? А теперь они в дудки дудят, на гармошках наяривают, шайтана тешат!»

Комсомольцы-безбожники прямо-таки не выходят из головы муллы Байкана. Они во главе с учителем особенно рьяно выступают против религии. Читают мерзкие стишки, ставят богохульные спектакли, высмеивают верных слугителей аллаха. Байкан, конечно, не ходит на их сборища, но отлично знает,

¹ Господин.

что там происходит, и внутри у него все переворачивается от злости. Босоногая, голоштанная малышня – и та, выучив комсомольские частушки, орет ему вслед:

...Как собака, ест – не трудится,
Кровь сосет, как вошь, не мучится –
Подайте бедному мулле!..

– О, создатель всемогущий! – с отчаянием молится порой Байкан-мулла. – Лучше бы мне умереть, чем видеть эдакое.

Недавно в доме Идриса состоялось собрание. На нем были, конечно, и комсомольцы. Ими верховодят аульный учитель и секретарь аулсовета Карим. Из этих двух главарей Байкан-мулла особенно ненавидит Карима. Его от одного этого имени колотит. На то есть особая причина. Нынче мулла похоронил мать Тнимбая и в спешке не сообщил об этом в сельсовет. «Ты без нашего ведома читал отходную молитву!» – кричал на него Карим и тут же, настрочив протокол, отдал его под суд, а учитель ничего не сказал. С тех пор мулла и рассудил, что, пожалуй, он не такой уж и плохой джигит. Хотя, конечно, он сбился с дороги, однако, должно быть, родители у него были достойные. К тому же каждый раз при встрече учитель неизменно заводил серьезный деловой разговор.

– Нужно трудиться, почтенный. Займитесь полезным трудом, – говорил он.

Кто скажет, что это дурной совет?!

Итак, на собрание в доме Идриса незаметно пробрался и мулла Байкан. Выступал учитель. Мулла, не отрываясь, следил за Каримом. Тот ежеминутно поддакивал учителю, мотал головой, то вскакивал, то вновь садился и по всякому поводу горячо восклицал: «Да, да! Верно! Правильно! Именно так! Это точно!» Глядя на это, Байкан весь скривился от презрения.

«Ничтожество! – решил он. – Видно, на роду его написано быть прихвостнем и шавкой. Вечно будет за чей-нибудь подол цепляться!»

Однако до конца собрания мулла не усидел. Не дай бог попасться на глаза этим стервецам. Сразу скажут: «А мулла-то наш по собраниям шляется!» Подавленный, раздраженный, он приплелся домой, а тут, словно бешеная верблюдница, жена на него набросилась. На весь дом орет, двух чумазных пострелят по углам затрещинами гоняет.

– С утра возьмет посох, задерет башку и слоняется без толку по дворам, – орет она, – а что дома жрать нечего, об этом он и не думает.

– Апырмай, ты думаешь, я не хочу подработать? – оправдывается мулла. – Но ведь никто и милостыню сейчас не подаст. Жертвоприношений никаких. А если и умрет кто, то Кодебай-аулнай сразу все прибирает. Голодным, говорит. Неимущим, говорит. А раз с поминок дохода нет, то откуда я что возьму, ты подумай?!

«Забыли нечестивцы бога. Приближается конец света», – думает мулла. Ему уже чудится, что на земле не осталось ни одного благостного мусульманина, что все безбожники, все только и прислушиваются к срамным речам вероотступников. Но как бы ни гневался мулла, нет у него сил противостоять течению жизни, противоборствовать новому укладу и быту...

В последнее время Байкан-мулла неотступно преследует одна тайная мысль – стать чудотворцем. «Если бы я сотворил какое-нибудь чудо, – думает он, – все бы пошли за мной, вся округа заглядывала мне в рот. Сам Карим отрекся бы от своего комсомола, стал бы моим верным слугой. Поддакивал бы каждому моему слову, говорил бы: «Да, да! Верно! Правильно! Именно так!» Только учителя, пожалуй, совратить не удастся. У этого кафира своя крепкая вера».

Эта мысль не давала мулле покоя. Если бы он мог творить чудеса, положим, как Муса-пайгамбар, то превратил бы и Кодебая, и Карима – за то, что они мешают ему проводить поминальную службу и сочетать честным браком благочестивых мусульман, – в странников, умирающих от жажды. Или, как Лут-пайгамбар, обратил бы их в каменные столбы. Все это, конечно, для чудотворца пустяки. Надо только овладеть священной тайной. И вот в ожидании чуда, в ожидании божьей благодати, мулла ночи напролет читал потрепанные, почерневшие от времени священные книги и молился до одурения...

Наступила ночь благословения. К ней Байкан-мулла подготовился особенно. Беспрерывно шепча на все лады «Исим агизам», он облачился в пестрый чапан – такой обычно надевают при поминальной службе, обмотал голову новой чалмой, расстелил молитвенный коврик-жай-намаз и опустился на колени. Перебирая длинные, как тонкая кишка, черные четки, полученные от самого ишана, он гнусаво запел «Субыхан-алла». Мечты роились в голове, воспарили к небесам, ему вспоминались необыкновенные дела древних чудотворцев. Сердце колотилось в предчувствии божьей милости. Казалось, ангел прошестел над ним крылышками и прошептал! «Сегодня, сегодня сбудется желание».

А потом – то ли во сне, то ли наяву – вдруг он увидел себя в высокой, с куполом до небес, мечети, украшенной священными письменами. Стоит он будто на самом михрабе – возвышении, с которого читаются проповеди, и перебирает четки. А четки не те, которые он получил, а другие, из драгоценных камней. Вокруг на коленях сидят мюриды в белоснежных

чалмах и повторяют вслед за ним молитвы. «Ия, ал-ла-а...» – и эхо гулко отзывается по мечети.

Байкан-мулла поднял голову, все еще не зная, во сне ли это или наяву. А издалека слышался нежный призывный голос.

– В этом беспутном мире ты, мой раб, перенес немало страданий, – говорил аллах. – И если бы не ты, я бы обрушил на землю кару. Но только ради тебя сменил гнев на милость. Я назначаю тебя своим пророком. Ты должен направить на праведный путь всех нечестивцев и заблудших. Возврати свой народ в лоно мусульманства!..

Услышав слова Всевышнего, мулла вспомнил вдруг комсомольцев, и в ушах назойливо зазвенели их богомерзкие слова: «Религия – опиум для народа».

– О боже всеблагий и всемогущий! – взмолился мулла. – Я исполню все твои наставления, только убери с моих глаз этих крикунов-комсомольцев. Они издеваются над верой, поднимают меня на смех, сочиняют гадкие песенки.

– Я их усмирю, – донесся голос.

– И Карима?

– И Карима отдам в твои руки.

– И учителя?

Голос долго не отвечал, потом как-то невнятно произнес:

– Над ним моя власть не простирается. Он мне неподсуден. У учителя иной бог...

Возликовавшая душа муллы при этих словах несколько омрачилась. «Как же так? – недоумевал он. – Говорили ведь, что аллах – владыка вселенной. Неужели он не всемогущ? Э, да ладно... Большинство все равно в его власти. Одряхлел, должно быть, он. Как-никак, с сотворения мира ведь правит. А комсомольцы только недавно голову подняли. И бог их, наверное, такой же молодой, как и они. А раз молодой,

значит, неопытный, маломощный...» Эти мысли утешили муллу.

...Купол над головой вдруг раскрылся, хлынул яркий свет и залил все вокруг. Он не успел удивиться этому диву, как чья-то рука подвела к нему статную лошадку. Она была несколько меньше обыкновенного коняги, но значительно выше и осанистее ишака и, конечно, не столь лопоуха.

Снова откуда-то раздался тот же голос:

– Раб мой! Я шлю тебе крылатого скакуна. Гуляй на нем по всем восьми сферам небесного свода. Весели душу!

Будучи главой веры, Байкан-мулла не удивился такому дару. К тому же он давно испытывал необходимость встретиться с глазу на глаз со Всевышним, чтоб потолковать с ним по душам. Его сейчас особенно беспокоило одно обстоятельство: а вдруг в связи с увеличением доходов комсомольцы обложат его дополнительным налогом...

Он только занес ногу в стремя, как мягкая ручка поддержала его под мышки. Он оглянулся. Лунолика крылатая дева нежно улыбалась ему.

– Я – пери, – сказала дева, – и прислана служить вам. – Она взяла скакуна за повод, взмахнула крыльями и полетела. И крылатый скакун полетел тоже. В одно мгновение прошла она через все восемь сфер и очутилась в райском саду.

– Это и есть Эдем. Здесь живут и наслаждаются такие почтенные гости, как вы, – пропела мулле райская дева.

Деревья в саду были высокие, тенистые. Ветви гнулись от тяжести плодов.

Разные диковинные птицы пели, перекликаясь, на весь сад. Из-за деревьев, виляя бедрами, плыли

навстречу еще и еще солнцеликие и луноликие девы. Их серебристый смех будоражил душу.

– Это все – райские девы...– сказала пери.

Они выстроились перед муллой, учтиво поклонились, потупив невинный взор. Но как раз послышался глас Всевышнего.

– Раб мой! Что за печаль гнетет твою душу?

Мулла кое-как оторвался от созерцания дев и начал изливать тоску, уже столько времени подтачивавшую сердце:

– Кодебай на меня покрикивает, не позволяет совершать поминальную службу и сочетать браки без бумаги аульная.

– И Тобакабыл на меня орет. Говорит: я – сельсовет, давай подводу!

– А комсомолцы людям головы морочат. Говорят: мулла – негодяй, обманщик. Не слушайте его. Не давайте ему жертвоприношений.

– Скота мало, доходов нет...

– Некогда мне тебя долго слушать! Ты говори главное! – оборвал муллу Всевышний.

Глас творца на этот раз прозвучал точь-в-точь как голос конторского делопроизводителя: «Оставьте свои сказки. Времени у меня нет. Говорите покороче!..»

Мулла приник к гриве крылатого скакуна и захныкал:

– Есть у меня одно-единственное желание.

– Говори! Исполню.

– Сделай меня чудотворцем!..

Гром покатылся по небесам, все задрожало, закачалось. Мулла не на шутку струхнул. Дева улыбнулась:

– Собираются верховные архангелы. Готовится важное событие.

Вслед за этим со свистом, с шумом промчался косяк архангелов.

– Что прикажете? Вы стали владыкой земли! – сказали они хором.

Мулла торжествовал. Глянул было на райскую деву, а она, плутовка, и глазки начала строить, и всеми своими прелестями завлекать муллу. У муллы разыгралась кровь, он рванулся было к ней, но тут крылатый скакун отпрянул в сторону, и бедный Байкан куда-то покатился. И не успел вскрикнуть, как грузно шмякнулся в ярко пылавший огонь...

– О, несчастный, подохнешь ведь! Сгоришь! – кричал кто-то, расталкивая его.

Мулла открыл глаза, но вместо райской девы, держащей крылатого скакуна под уздцы, у изголовья стояла жена – Айжан. И не просто стояла, а по обыкновению вопила. По дому плыл едкий дым. Пахло горелым. На полу металось, потрескивая, гудя, пламя.

– Что это? Что такое – всполошился мулла.

– Несчастный! – Айжан сорвала с него чалму. – Не спишься тебе, что ли, в постели? Доведут тебя четки! Свихнешься! Видишь: лампу опрокинул. Керосин вспыхнул, чалма горит... У!..

Очнулся мулла. Дорогая чалма, которую он берег больше, чем честь и память отца, прогорела до дыр. Полы пестрого чапана пропитались керосином и противно воняли.

– Чудо увидел! Чудо!.. Э, пропади все пропадом! Спать хочу, жена. Спать!

Мулла в сердцах швырнул черные четки к порогу...

1925 г.

ПОХОЖДЕНИЯ КУРУМБАЯ

I

Хмурый осенний день.

Свирепый ветер к вечеру вдруг утомился, и весь мир будто замер, застыл, погрузившись в жуткую тишину, от которой звенело в ушах. У горизонта заходило солнце. Багрово-красные лучи расходились веером. Бугры и холмы, окутываясь снизу сумраком, темнели, мрачно хмурились. Густая мгла неумолимо надвигалась с востока, грозя укрыть темным покрывалом пустынную безбрежную степь.

В степи уныло. Безлюдно. Трава пожухла, побурела. Местами чернели вытоптанные копытами скотины проплешины. От этих печальных картин становилось так тоскливо, что сердце сжималось в груди. Оно словно ожидало какого-то чуда. Вот там, где теперь тускло поблескивала грязная лужа возле дороги, месяца два-три назад был благоухающий луг. А сейчас тут торчат только покоробленные кустики, словно редкие волоски на макушке плешивого. Трудно поверить, что еще недавно здесь колыхались травы по пояс и плескались волны озера.

Перед заходом солнца на перевал Рысбай, с трудом волоча ноги, вскарабкалась вконец отощавшая лошадка, вернее, мосластая кляча, запряженная в телегу без кошевки. На телеге сидели двое. Изредка, когда ее стегали прутом, кляча натужно рвалась вперед, пыталась перейти в рысь, но уже через мгновение другое снова переходила в заученный шаг. Она даже шла как-то боком, тянула оглоблей и все косилась одним глазом на ненавистный прут. Едва он взлетал над ней, как кляча прибавляла шаг.

На передке сидел круглолицый, узкоглазый, кряжистый черный мужчина с едва заметными усиками. Нижняя губа округло выпятилась. Мужчина посасывал насыбай. Привычно подергивая вожжами и размахивая прутком, он сквозь зубы поплевывал налево-направо, молчал, смотрел вдаль. И как будто думал о чем-то. Это был теперешний аулнай – председатель Пятого аулсовета, расторопный и шустрый Кебекбай.

За ним сидел молодой, миловидный, румяный джигит в поношенной черной шинели, в фуражке, при оружии. Оружие – шашка – лежало у него на коленях; ноги едва не волочились по земле. Он волостной милиционер. Зовут его Курумбай. Но в волости Каин предпочитают его называть почтительно «Куреке».

Когда путники поднялись на вершину перевала, лучи, обессилев, померкли, и солнце нырнуло за горизонт. Глухая темень понемногу расправляла крылья. За перевалом, в долине, находился аул. Над мазанками зыбился, плыл дымок; лаяли собаки; ревели коровы. То ли из аула, то ли со стороны выпаса донеслась вдруг песня:

От овса мой гнедок поправляется.
Кто на свете от любви не мается?
Когда ты не приходишь на свидание,
В печали сердце кровью обливается.

Вечерняя песня, сладкая грусть влюбленного джигита гоняли душу Курумбая. Тайные воспоминания теснились в его груди, возбуждая и тормоша: «А помнишь?.. А помнишь?..»

...Да-а... тогда Курумбай был еще совсем юнцом. Кроме того, обыкновенный, ничем не приметный, заурядный аульный шалопай. Казалось, никто его и всерьез не принимает. Правда, это его особенно и не беспокоило. Но вот то, что заартачилась младшая

жена Байкубека, это его откровенно задевало. А чумазая бабенка эта не только отвернулась от него, но даже и пробурчала что-то вроде: «Ишь, чего захотел! Сопляк, а туда же, в ухажеры, метит!» Теперь бы с ней встретиться. Интересно, как бы она заговорила? Небось задом сразу завияла бы...

С того времени в любую свободную от работы минуту он неотступно думал о женщинах. И такие сладкие видения ему мерещились в эти минуты, что он, бывало, ночи напролет не спал, ворочался на кровати. В представлении Курумбай, на свете нет ничего дороже и главнее женщины. Кто обладает женщиной, тот обладает всем. Так считал Курумбай. Когда Жуман из его аула плакал, жалуясь на бедность и нужду, Курумбай недоумевал и смеялся, думая про себя: «У него дома баба есть, с ней спать можно. Что ему еще надо?..»

Став милиционером, Курумбай втайне надеялся осуществить свои желания. Женщины, до сих пор не замечавшие его, теперь-то наверняка проявят к нему благосклонность, и он может хватать не первую попавшую, а выбирать по вкусу. Прошло уже пять месяцев, как он облачился в милицейскую форму. Изрядно поездил, помотался. В волости Каин не осталось ни одного аула, которого он не удостоил своим посещением. В домах, где имелись хорошенькая девушка или смазливая молодка, он даже нарочно останавливался на ночлег. Однако ему упорно не везло. Все время что-нибудь мешало. То мать, бдительно охраняя дочь, всю ночь не смыкала глаз, то тетюшка уводила племянницу к соседям. Словом, для Курумбая всегда находились препятствия...

Курумбай с грустью думал о своем постоянном невезении в любви и вдруг поднял голову, оглянулся.

– Говорил, до захода солнца доедем, – заметил он, потягиваясь и зевая. – Выходит, далековато...

Он поправил мешковатую шинель, подоткнул полы под колено.

– Вообще-то недалеко, да видишь, как эта стерва плетется?! – И Кебекбай от досады больно ударил клячу по тощим ляжкам. – Совсем довела нищета. Раньше на такую лошадь и смотреть бы не стал. Была у меня гнедуха-пятилетка. Эх, и скотинушка была! Удила грызла, вожжи из рук рвала!

Указательным пальцем выковырял аулнай насыбай из-под губы, щелчком отшвырнул бурую жвачку и, отплеываясь, улыбнулся Курумбаю.

– Не торопитесь. Доберемся. Вроде, удача сопутствует нам сегодня. Небось повезет...

II

– Куляшжан, налей. Такая у меня жажда, что никак напиться не могу.

Нуржан толкнул кесушку к дочери и расстегнул чапан. Он устал, запыхался, работая на скотном дворе, теперь взмок от горячего, крепкого чая, и терпкий запах пота поплыл по комнате. Испариной покрылся морщинистый лоб, длинный, острый нос. По бороде и вискам потекли темные струйки.

Чай разливала Куляш. Меруерт, жена хозяина, сидела между мужем и дочерью и, вытянув ноги в подшитых ичигах, из которых торчали портянки, звучно отхлебывала из пестрой с медным ободком чашки. Видно, хотелось ей показать, как она заботится о муже и как огорчена его усталостью. Заправив выбившиеся космы под жаулык, она заговорила:

– Ну, что ты, бедный, так надрываешься?! Нечего было бояться расходов. Нанял бы людей, они бы тебе и подсобили.

Когда Нуржан бывал не в духе, слова жены его только раздражали. Так случилось и сейчас. Он крикнул:

– Ничего ты не понимаешь, несчастная! Да с какой стати нам людей нанимать? Три коровы, одна лошадка, две-три овцы – вот все наше богатство. Молодняк к лету весь на мясо уйдет. А сеем столько, что едва на саман хватает. Долгов – выше головы. Пятьдесят рублей взяли из банка, уже приходит пора их возвращать. Опять же вы тут сидите голые-босые...

Меруерт сразу притихла, сникла. Теперь ей хотелось скорее развеять дурное настроение и раздражение мужа. И она начала вторить ему в лад.

– Что делать, дорогой? Думаешь, я не знаю про наши дела? Просто жалею тебя, вот и говорю. Тебе уж за пятьдесят. Какой же ты сейчас работник? Пожалел господь, сынка нам не дал, хотя бы уroda какого послал, и то бы... Говорила я этой девке-негоднице, иди, мол, помоги отцу хлев почистить, так она зубы скалит, с места не двинется. А что зазорного в работе? Выйдешь замуж, так сидеть без дела не будешь. Там тебе, милая, придется за дровами бегать, золу выносить...

И она укоряюще поглядела на дочь.

Куляш росла у них шалуньей, баловницей. Была она у них единственной, и родители носили ее на руках, лелеяли, нежили, дрожали над ней, как над сыном. Так она и выросла белоручкой. Став взрослой, Куляш жалела отца, в душе даже порывалась помогать ему в хозяйстве, однако стеснялась бабьих и девичьих пересудов. Самолюбие, гордость не позволяли ей взяться за мужскую грубую работу, боялась, что начнут говорить: «Вон дочь бедняка Нуржана в грязи копается». И все же, видя, как выбивается отец из сил, она смиряла гордыню, убеждала себя, что напрасно боится людской молвы, однако осуществить благие намерения не могла. Это было выше ее сил. Зато она умела утешать родителей, ловко разгонять их хмури и заботы, смешить и веселить их. Бывало, мать громко хохотала над ее проделками и – довольная – говорила:

«Ладно, зрачок мой, не работай. Лишь бы жива и здорова была!»

Жолдыаяк в каморке гулко залаял. За дверью послышался шорох. Кто-то поскреб стенку. В доме насторожились. На мгновение все забыли про чай. Кряхтя, отдуваясь, протолкнулись в мазанку Курумбай, волоча длинную саблю и винтовку, точно овца с моталом, а за ним – кряжистый, как пень, Кебекбай.

– Да будет светлым ваш вечер!

При виде сабли и винтовки хозяева явно встревожились. Особенно испугалась Меруерт. Недавно она слышала, что дочь Сылкыма вот так же схватили и увезли с милиционером. Не это ли их поджидает?!

Лампа-пятилинейка едва мерцала в сумраке, и гостей невозможно было разглядеть. Лишь смутно можно было догадаться, что один из них – председатель аулсовета.

Гости прошли на почетное место, расселись, важные и вежливые, словно сваты, приехавшие за невестой.

– Аулнай, что ли? Живой-здоровый?

– Слава аллаху.

– А этот джигит – кто?

– Милиционер из волости.

– Счастливого вам пути! Откуда едете?

– Из аула Береке. Волисполком послал. Говорит, в списках количество скота занижено. Отправил нас с милиционером заново все проверить.

Как только переступили через порог, Курумбай не мог оторваться от Куляш. Сначала взгляд его упал на вышитую красную такую – круглую шапочку на ее макушке. Потом он увидел ровную белую полоску – прибор. Смоляные волосы были гладко расчесаны. После этого он залюбовался ее чистым, широким лбом, черными глазами, носиком, ртом, подбородком. Но больше всего восторгали его именно ее глаза.

Казалось, они улыбались. Таких Курумбаю в жизни еще не приходилось видеть. А может, все же видел? Помнится, когда он заночевал у Жупака, его дочь чай подавала. Так у ней разве не такие глаза были? О, нет! У той глаза были бесцветные, застывшие, как у дохлой рыбы. Разве можно их сравнить с глазами этой серны!

Не в силах был Курумбай оторвать свой взгляд от девушки. Вначале и Куляш незаметно с любопытством взглядывала на него. Но встретившись с его бесцеремонным, жадным взглядом, она смутилась и даже чуть отвернулась, продолжая разливать чай и делая вид, что она даже не замечает его.

Когда пришла пора стелить постель, Меруерт извинилась перед гостями:

– Хозяин наш – старик. Работать в доме некому. Ягнят-козлят мы зарезали еще летом. В осеннее время дорогих гостей и угощать нечем...

– Что ж... все правильно... Понятно, – еле пошевелил губами явно раздосадованный председатель аулсовета.

III

– Отстаньте же!.. Что это с вами? – слышался возмущенный шепот Куляш.

В мазанке темно. Окошко, в которое еле проникает слабый свет, кажется блеклым пятном. Все беспробудно спят. Храпят Нуржан и Меруерт, привычно ворочаясь и отбиваясь от блох. В углу, у изголовья родителей, лежит Куляш. Она тоже было погрузилась в сон, но тут же и проснулась. Ей почудилось, будто кто-то провел горячей рукой по груди. Она смутилась, натянула на себя одеяло.

– Отстаньте же!.. Прошу вас...

Рядом на корточках сидел и дрожал, как в лихорадке, Курумбай. Левой рукой он опирался об пол, правой – осторожно, будто боясь поцарапать,

дотрагивался до девушки. Но стоило его руке лишь коснуться одеяла, как Куляш вся сжималась, отталкивала ее.

– Ну, довольно же...

У Курумбая душа ушла в пятки. Дрожь колотила его...

Непроглядная темень в избе. В окошко заглядывают звезды. При их зыбком свете на мгновение будто выплыла из мрака печка. Пестрый кот, безмятежно дремавший клубочком у печки, проснулся, томно замурлыкал и пополз к Курумбаю. Небрежно задев хвостом лицо растерянного джигита, кот пытался было юркнуть под одеяло к девушке, но она и его отшвырнула. Кот мягко шлепнулся к ногам Курумбая. Джигит усмехнулся: «Куда тебе, бедняга? Она даже меня к себе не подпускает». Однако кот – не в пример незадачливому Курумбаю – оказался настойчивым. Он вновь ринулся к постели девушки и изловчился, пролез-таки под одеяло. Курумбай ревниво подумал: «Апырмай, неужели я хуже кота? Неужели она считает меня ниже этой твари?!» От этих мыслей Курумбаю стало не по себе.

Думы – что море. Курумбай был оскорблен в своих лучших чувствах. «Да что же это получается? – подумал он с обидой. – Я ведь милиционер. Вся волость, можно сказать, меня уважает. Не то что женщины – мужчины не осмеливаются мне перечить. Самые непокорные, всеильные – и те передо мной трепещут. Вон Быкирия из волости Каин вплоть до седьмого колена был царь и бог в своем роду. А как оказался замешанным в воровстве, так Куреке, это я, значит, самолично сразу изловил и пригнал его, как козла задрипанного. Разве не меня хвалят за честность и прямоту, за исполнительность и соблюдение всех законов? Разве я поддавался мольбам и просьбам разных аульных воротил, пройдох, баев и смутьянов? Разве начальство не довольно моей службой?.. Тогда... тогда чего эта девчонка мне перечит. Нрав свой выказывает?!»

Курумбай хотел дать волю своему возмущению, однако что-то его сдерживало: «Гневом и яростью ничего не добьешься, подумай, надо бы разжалобить ее, уговорить».

Он робко прилег с краешка, коснулся головой ее подушки и весь вспыхнул, замер, ему даже почудилось, будто он плавится, тает, как лед на солнце... «Господи! – подумалось ему. – Как я был бы счастлив, если б мог в этой темной комнате обнять эту хрупкую красотку, целовать, ласкать ее, прижать к своей груди...» Эти мысли охватили все его существо, парализовали волю.

Стараясь унять стук сердца, сдерживая дыхание, он чуть слышно прошептал:

– Вы, наверное, не узнали меня в темноте? Я ведь...

– Почему же? Узнала!

– Но мы же с вами почти сверстники. Мы...

– Ну и что из этого? Нашли чем хвастаться.

– Да не хвастаюсь я... Просто говорю: раз мы сверстники, значит, и позабавиться не грех, как подобает молодым....

– Но если я не хочу...

– Нет, вы меня все же не понимаете. Вы думаете, я обыкновенный аульный невежда, шалопай? Ошибаетесь. Я на ответственной службе нахожусь. Я отнюдь не против женского равноправия. Наоборот, именно за это борюсь... за это самое равноправие. Я хочу сказать... хочу сказать... – Курумбай запнулся. Он никак не мог вспомнить, что же именно он хотел сказать. Впрочем, он даже плохо соображал, о чем он вообще говорит.

– Идите к себе и спите, – сказала Куляш и отвернулась к стенке. – Вы на ответственной службе. Вам необходимо выспаться.

Что она, смеется, что ли? «Вы на ответственной службе...» Ну, конечно, шутит. А раз шутит, значит, нечего робеть, действовать надо... Ничего не говоря,

с каким-то отчаянием хотел он было ее обнять, но Куляш, поняв его намерение, резко вскинула руку. Курумбай дернул головой, как необъезженный конь: удар пришелся прямо по лбу. Он мгновенно остыл, будто плеснули на него ледяной водой, потом присел и, весь дрожа, растерянный, униженный, пополз назад.

Аулнай, оказалось, не спал.

– Ну, что? – спросил он. – Все в порядке?

Курумбай, натягивая на голову одеяло, упавшим голосом ответил:

– Нет... Не получилось.

IV

– Говорите, Нуреке, какой у вас скот? – строго начал наутро аулнай.

В тесной мазанке Нуржана собралось человек десять. Среди них находились и местный бай Карим, и бывший судья Даут.

Нуржан мешкал с ответом. Меруерт, прислушивавшаяся к разговору в сторонке, не выдержала, поспешила мужу на помощь.

– Аулнай-деверек, чего ты нашего хозяина пугаешь? Сам ведь знаешь, что у нас есть. Одна-две коровы, один мерин... Чего допытываешься?

– Ничего я не допытываюсь и что у кого есть – не знаю. По скотным дворам шастать тоже не собираюсь. Что мне скажут, то и запишу. А обманете – пеняйте на себя. Будет проверка, обман выяснится, и скрытый скот будет описан, в пользу казны.

– Правильно, конечно. Но я разве что-нибудь скрываю? Пару голов, которая у меня есть, ты уже записал. Чем меня тормозить, лучше бы потряс Карима, Даута...

– Бай-бай, Нуржан-ай, вечно исподтишка жалишь, – оскорбился бывший судья. – Какое тебе дело до других? Ты свой скот назови!

– Что ты, деверь! – вмешалась опять Меруерт. – Называть-то нечего!

– Как нечего?! А овцы? Или ты их бережешь на поминки? Откуда ты взялась такая, чтобы от казны скотину скрывать?!

– А ты откуда такой взялся? Или у тебя овец нет?

– Кому говорить о своих овцах, я сам знаю.

– Но и мы тоже сами знаем!

– Кончай разговор! Пиши: у Нуржана две овцы и одна коза.

– Тогда запиши также: у бая Даута пятнадцать овец. Первым его запиши! – подняла голос Меруерт.

Бывший судья гневно вытаращил глаза.

Аулнай внес в список двух овец и одну козу Нуржана. О пятнадцати овцах Даута он вроде бы забыл, запамятовал. Впрочем, записал он их или нет, точно не могли знать ни Нуржан, ни Меруерт. Они даже и спрашивать о том не стали: Даут так и буравил их злым взглядом. Боялись, как бы не вышло какой беды...

V

Когда, закончив дела, Курумбай собрался в обратный путь, встретилаь ему возле мазанки Куляш. Она почему-то улыбнулась. И он, хотя был зол и раздражен ночной неудачей, тоже улыбнулся в ответ.

– Вы, наверно, обиделись на меня?

– Нет, не обиделся.

– Тогда... почему же мстите?

– Как это... мщу?

– Сотню байских овец вы не замечаете, а наших двух сразу заметили. Разве это справедливо? Разве это делает честь джигиту? Уж я не говорю о служебном долге...

Курумбай смутился. Густо покраснел. Он только теперь осознал, какую допустил оплошность.

Выезжая из аула, Курумбай обернулся. Куляш с двумя ведрами и коромыслом шла за водой.

– Ну, молодчина девушка! Жаль только, образования нет, – заметил Курумбай, глядя ей вслед.

Когда из волости пришел список налога, то в нем оказался и бывший судья Даут. «Пятнадцать овец» – было поставлено чьей-то рукой против его фамилии. Нуржан, довольный, усмехнулся:

– Ничего, вместе со всеми рассчитаешься...

Куляш, разливая чай, вспомнила Курумбая. Ей живо представилось, как он смутился вдруг перед отъездом, покраснел до ушей и ничего не мог сказать. Девушка улыбнулась своим мыслям, тихо прошептала:

– И все же джигитом оказался! Молодец!

1925 г.

САВРАСЫЙ ИНОХОДЕЦ

– Ойбай, белые пришли! Солдаты!

Вопя, примчались с улицы перепуганные малыши.

Ергали, прислонившись спиной к печке, чинил прохудившиеся ичиги матери. Жена его, Даметкен, привычно крутила прялку-юлу и о чем-то беседовала с младшим деверем Жамаком. Услышав эти крики, все побледнели. Ергали забыл про шитье, Даметкен – про пряжу, Жамак – про разговор. При виде чужаков кобель залился лаем и захрипел.

– О боже, не оставь нас! Какой страшный нынче год! В лесах бандиты шныряют. Когда они врываются в аул, гремят саблями, у меня от страха сердце замирает... – шепотом проговорила Даметкен.

– Не ты одна боишься. Все нынче в страхе живем, – заметил Жамак, привстав на колени.

Ергали был труслив по натуре. Он совсем растерялся, вытаращил глаза, начал совать клочок кожи то под кошму, то в сундучок. Можно было подумать, будто он больше всего боялся, что солдаты отберут именно кожаную заплату. Он вспомнил солдата, ворвавшегося к ним только вчера. Он был из отряда белых, вылавливавших большевиков в соседнем русском поселке. На нем был казахский треух-тымак и новые сафьяновые сапоги с раструбами, поэтому Ергали принял его сначала за казаха. Но когда тот налетел коршуном и ломаным языком, обдавая сивухой, просипел: «Твой дома большевик есть?!», Ергали совсем обомлел. Он знал, что для теперешней власти большевики – самые главные враги, и больше

всего испугался, что этот бандит примет его невзначай за большевика. Со страху он пригласил солдата в дом, и тот, увидев богатое, инкрустированное седло сына, набросился, как на добычу. Разве мог Ергали возразить? Так и забрал седло и ускакал восвояси, точно чучело, покачиваясь на коне. Покусывая палец, глядел Ергали вслед ему, а жена – когда живодер уехал уже на приличное расстояние – разразилась проклятиями: «Чтоб ты провалился сквозь землю! Чтоб на твоей могиле вырос чертополох!» А что еще они могли сделать бандиту?..

Теперь все думали: что же на этот раз заберут солдаты?.. Взгляд Ергали упал на полосатую шубу – подарок родственников жены.

– Спрячь шубу-то, несчастная! А то мигом прихватят...

– А может, опять вчерашний? – высказала предположение Даметкен.

В это время кобель залился еще неистовой. Кто-то рванул дверь. О порог звякнула сабля, и Даметкен замерла.

С винтовками в руках ввалились двое.

– Салаумагалейкум! – поздоровались в один голос. Ергали сделал вид, будто страшно обрадовался приходу долгожданных гостей, засуетился, забегал, подстилки расстелил.

– Алик салем! Э, дорогие, проходите, усаживайтесь...

Гости поздоровались со всеми. Старший обратился к пораженной Даметкен:

– Здоровы ли, байбише?

– Ойбай-ау, вы казахи, что ли?

– Казахи. Не бойтесь.

– В самом деле, казахи, – подтвердил, приходя понемногу в себя, Ергали. – И лица вроде добрее, чем у вчерашнего уруса.

Жамак поинтересовался, кто они, откуда...

– Мы делегаты «Алаш-Орды». Спешим в волость Сулы. Нам нужны лошади. Распорядитесь скорее насчет подводы, – сразу все объяснил полный серолицый джигит.

Он сидел, явно хорохорясь и откинув воротник волчьего тулупа. Казалось, тулуп достался ему в наследство от отца: так он важничал в нем. Когда он распахнул его, то все увидели под ним военную форму. Разговаривая, джигит то и дело дотрагивался до кобуры на поясе, как бы намекая: «Видел эту штучку? Со мною не шути!» Второй был рослый, светлый, рябой. В шинели, бараньей шапке, грубых солдатских сапогах. Он сел, сложив под себя ноги, а саблю, точно малого ребенка, положил себе на колени.

Даметкен, разглядев обоих с ног до головы, изумилась:

– О, боже! Выходит, и среди казахов уже солдаты завелись?!

– Поднимись, жена, чай сготовь. Небось продрогли гости-то, – сказал Ергали, собираясь бежать за лошадьми.

Серолицый грозно нахмурился:

– Чай у тебя никто не просил! Шевелись, подводу давай!

Даметкен испугалась:

– Смотри-ка! Эти страшнее вчерашнего уруса!

И Ергали, и Жамак забежали на цыпочках. Весь аул всполошился. Кто мазал колеса, кто чинил постромки, кто просто суетился вокруг телеги – у всех одно было на уме: скорее бы пронесло, лишь бы избавиться от этих незваных и непрошенных гостей.

Наконец подвода была готова. В телегу с коробом, плетеным из тала, впрягли пару лошадей – сивую и гнедую, на передок посадили бородатого возницу в толстой шубе. Он напряженно держал вожжи.

Путники вышли из дома, направились к телеге, и в это время рябой что-то пробубнил серолицему. Оба выставились на сапоги Жамака. Были они новые, теплые, отделанные войлоком. Почувствовав недоброе, Жамак поспешно спрятался за чьей-то спиной, но тот, что был в тулупе, рывкнул:

– Эй, черная борода! Чего прячешься?.. А ну, подойди!

Жалкий, перепуганный, Жамак вышел вперед. Губы его дрожали.

– Сними сапоги!

– Ойбай, родненькие, я – бедняк... Не могу... без сапогов-то... Голый, босой останусь.. Где другие еще раздобуду?..

– Заткнись! Сказано: сними! Деньги почтой перешлем.

Рябой переобулся в теплые, с войлочными чулками сапоги и довольно осклабился. Ему почудилось, будто он сунул ноги в горячую печь...

Возле дома Жамантыка беседовали человек десять. Говорили о том, о сем, о прошлом и настоящем. С тоской вспоминали прежние, мирные дни.

– Думали, при «Алаш-Орде» покой наступит, а вышло еще хуже, чем раньше, – вздыхал один.

– Э, ни от кого добра не жди. Все только и знают что грабить и насильничать, – вторил ему пучеглазый рыжеватый старичок.

Кряжистый черный мужчина яростно выплюнул насыбай.

– Подожди еще!.. Вот большевики нагрянут...

И все с тревогой подумали:

«Да, а что тогда будет?..»

– Я встретил Ахметова сына – учителя. Он газеты выписывает. Говорит, в Петрборе, в Маскеу – везде

грабеж. А болшайбеки хотят, чтобы отныне «мое», «твое» не было, – сказал один.

– Значит, они хотят, чтобы было «твое» – «мое», а «мое» – «твое»?

– Конеч казахам, если они придут.

Крючконосый мужичонка, молчавший до сих пор в сторонке, вдруг сказал:

– Я вчера был у Гаврилы. Сидим, значит, чай пьем, а тут Ефим зашел. Ну, и сцапались они с ходу. Ефим болшайбеков хвалил, а Гаврила – ругал.

– В этом селе твой Ефим – последний человек, – заметил кто-то.

– Это ты зря! – сразу возразил другой. – Ефим – самый хороший урус. Что попросишь – никогда не откажет. Даже когда у нас захватили аульных коров, он заступился, и всех коров наших отпустили.

– Да ну... Был бы Ефим хороший, он бы болшайбеков не хвалил.

– А кого ему еще хвалить?! Небось не забыл еще, как ему двадцать пять горячих всыпали каратели.

– Апырмай, ну, злобствовали они в том поселке! Восемьдесят человек среди бела дня выпороли на площади. Хотя это урусы урусов били, а все мне их шибко жалко было.

Жамантык поднял голову, по-своему сделал вывод из всего разговора:

– Что бы там ни говорили, а я думаю, эти болшайбеки – неплохие люди. Конечно, когда за власть борются, чего только не наболтают. У нынешних правителей одно на уме – грабеж. Если бы болшайбеки были грабителями, они просто объединились бы с ними. А на деле получается, что они против. Выходит, болшайбеки против грабежа и насилия...

– Дай бог, чтоб так оно и было, – заговорили все сразу.

Со стороны озера, вздымая пыль, катится телега. Все с любопытством уставились туда. Путники свернули с большака, направили лошадей к аулу. Это были недавние гости Ергали.

– Видать, не простые ездоки. Больно спешат, – сказал Жамантык. – Может, какие-нибудь, солдаты-молдаты. Давайте расходитесь.

Все спешно разошлись по домам. Некоторые, правда, юркнули в скотный двор.

Землянка старого бедняка Курабая стояла у самой тропинки в аул. Увидя неведомых путников, он засеменял было, вобрав голову в плечи, между кучами навоза, но джигит в тулупе увидел его еще издали и крикнул:

– Эй, рваная шапка, куда ты? Сюда иди!

Курабай вздрогнул от этого окрика. Но поняв, что путники – казахи, малость осмелел и старческой трусцой заспешил к телеге.

– Ну, живей, живей! Чего плетешься?!

Курабай запыхался, пока бежал.

– От кого бежишь?

– Не бегу я, господин-таксыр... Просто спешу к полуденному намазу.

– Благодетельный какой! – усмехнулся серолицый. – Еле дышит, а о намазе думает... Жамантык дома?

– Дома, господин-таксыр...

– А... иноходец его где?

– В хлеве, таксыр...

Курабай послушно побежал трусцой вперед, привел путников к дому Жамантыка.

– Иди, позови Жамантыка!

Вскоре показался хозяин. С посохом в руке, грузной перевалочкой подошел к телеге:

– Здравствуйте, ребята!

– Где саврасый иноходец?

– Какой еще иноходец?

– Какой!.. Саврасый Жамантыка. Ты ведь Жамантык? Подавай иноходца!

– С какой стати, таксыр?

– Он еще спрашивает? Сказано, делай! Приведи и привяжи к оглобле. Не то – на месте ззз-зарублю!

Жамантык посерел. Задрожал. Но возразить не посмел и покорно поплелся к хлеву. Сыну, убравшему двор, приказал вывести иноходца. Сам же отвел и привязал к постромке.

– Воля твоя, таксыр. Ты приказал – я сделал. Только скажи: кому я отдал коня? Тебе или кому-нибудь другому?

– Считай, «Алаш-Орда» взяла.

– А в чем я провинился перед «Алаш-Ордой»?

– Тем, что против нее. Алихана и других славных людей непотребным словом помянул!

– Астапыралла! Боже сохрани, милоч! Забирай иноходца, только ради аллаха не клевети на меня.

– Молчи! Иноходца больше не увидишь. Понял?!

– Да бог с ним, бери, бери... мать его в ухо! Авось, кобылицы ожеребятся, не пропаду. Только обидно, что зря на меня гресишь!

Джигит в волчьем тулупе гневно выпучил глаза. Казалось, он насквозь пронзил взглядом растерянного Жамантыка. «Трогай!» – крикнул джигит наконец кучеру. Саврасый иноходец недоуменно оглянулся на хозяина, на хлев и покорно побежал на поводу пары, запряженной в телегу.

Сын Жамантыка посмотрел вслед, заплакал и побежал в дом.

Жамантык залез на сено и оттуда долго с пылающими глазами глядел на большак, пока «заступники» казахского народа не исчезли за студеной дымкой предзимья. Гнев охватил его.

– Ну подождите! Придут болшайбеки – назло вам первым запишусь к ним. Дай срок – и за вас возьмемся!

ЖЕРТВА ГОЛОДА

Буран. Ветер обрушивается с такой яростью, что можно задохнуться. Снег валит колючий, жесткий. Он хлещет, сечет по лицу и будто желает превратить человека в сосульку.

– Эй, жена! Видишь, как продуло. Не дом – ледник. Разыщи что-нибудь да растопи печь, – проворчал Кайракбай.

И в низкой сырой землянке тоже гуляет ветер. Окошко, дверь, стены – все покрыто сизым инеем. Не то что человек – и собака замерзнет в этой халупе.

– А что же я сделаю? Топить-то нечем. Крышу с хлева и то уже сожгла. Солому мы с Дамеш сегодня из-под снега подбирали... и вот видишь, как она горит.

Шрынкуль подсела к огню, пошуровала в печке железными щипцами, да только много ль жару может быть от прелого камыша. Пламя вспыхивает и гаснет. Отчаяние овладело Шрынкуль.

– О, господи! Будет ли конец этой проклятой нужде?! Дома – одна вода! Второй день в животе пусто. Под ложечкой сосет – мочи нет. Что дальше-то, что? Как жить будем?!

И слезы покатались у нее по щекам.

У Кайракбая провалившиеся глаза, острые сухие скулы. Поблескивая голодными глазенками и кутаясь в дырявую шубу, смотрит на отца восьмилетний Тансык. Но особенно печальна и подавлена вконец исхудавшая Дамеш. С жалостью взглядывает она то на плачущую мать, то на застывшего в неизбывной тоске отца. На девушку больно смотреть; уж и следа не осталось от ее

молодости и красоты, – такой яркой, броской еще месяца два-три назад.

Не только голод угнетает ее, но и чувство какой-то неосознанной вины. Двое детей у Кайракбая – Дамеш и Тансык. С Тансыка, конечно, и спроса нет, но она, Дамеш, уже взрослая, ей шестнадцать уже стукнуло. В ее годы другие работают, родителей содержат. А что Дамеш? Чем она может помочь своим родителям, вскормившим и взлелеявшим ее? Два дня у них и крошки во рту не было. Так на сколько же их хватит еще? А главное – что впереди? Или их тоже постигнет участь Ултарака? Возьмутся они за руки, да и пойдут по миру? А потом замерзнут в каком-нибудь заброшенном сарае?

Сердце Дамеш сжимается от этих дум. Ей чудится, что она виновница всех их бед и несчастий. Боже милостивый, почему он не создал ее мужчиной? Тогда она могла бы стать батраком или, на худой конец, пойти собирать милостыню. Как бы там ни было, она не дала бы голодать родителям. И девушка заливается горькими слезами. Она плачет от бессилия и жалости к самой себе и родным.

Вечереет, в стылой землянке становится совсем темно. Сейчас бы печку растопить да лампу зажечь. Но нет ни топки, ни свечи. Прислонившись спиной к печке, согнулся Кайракбай. Уткнувшись носом ему под мышки, застыл Тансык. Рядом скрючилась, положив на братишку голову Дамеш. Чуть особняком, прямая, как кол в степи, застыла коленопреклоненная Шрынкуль. Все молчат, все думают свои невеселые думы.

За стеной бушует буран. То словно зубами щелкает, то хохочет, то, надрываясь, плачет утробным голосом. Казалось, неотвратимый мрак и ледяная стужа задушили в своих объятиях весь мир.

Скрипнул снег, послышались шаги. Кто-то поскреб дверь. Потом, пошатываясь, ввалился в землянку.

– Эй, кто это?
– Божий гость...
– Несчастный, разве у нас что-нибудь найдешь? Да мы сами с голоду, как волки, воем. Пошел бы к баям!
Поскрипывая сапогами, – переминаясь с ноги на ногу, – гость умирающим голосом пролепетал:
– Голодный я, пеший. Никто в дом не пускает. Позвольте, ради аллаха, хотя бы переночевать у вас...
Шрынкуль вздохнула:
– Что ж... Устраивайся, ночуй.

– Эй!– позвала Шрынкуль мужа. – Подними же голову.
– Ну, что тебе?
– Так что же будем решать?
Кайракбай не ответил, только еще ниже повесил плечи.
– Ты встряхнись! Против божьей воли что сделаешь? Надо смириться. Иначе все околеем. Если у тебя не хватит смелости, то я ей сама все выскажу?.. Ну?
И через некоторое время Кайракбай пробубнил:
– Как хочешь.
– Доченька... Дамеш! – позвала Шрынкуль.
– Что, мама?
– Проснись. Послушай меня... Видишь, до чего мы дошли? Ведь вот так и умрем! А что делать?
– Не знаю, мама. Я бы с готовностью пожертвовала собой, если бы могла вас спасти. Только как?..
Дамеш захлебнулась от слез, не договорила.
– Родненькая... Доченька!..
– Что, мама?
– Знаешь, есть один выход. Только ты и можешь нас избавить от неминуемой смерти...
– Говори, мама! Я на все согласна. Может, удастся хотя бы Тансыка спасти.

– Если это сделаешь, мы все будем спасены.

– Ну, говори же, мама, говори!..

Шрынкуль помолчала, наконец решилась, заговорила:

– Милая, что о прошлом-то говорить, сама ведь знаешь: просватали мы тебя еще в детстве. Жених твой неожиданно умер в прошлом году. Теперь, по обычаям аменгерства, хочет тебя взять второй женой его старший брат. У нас с твоим отцом волосы дыбом встали, когда узнали об этом. Старались любой ценой спасти тебя от такой участи. Весь скот – пять-шесть голов – отдали баю, чтобы только расплатиться за твой калым. Тогда у нас было одно желание: отстоять тебя. Потому мы счастья тебе желали, за ровню мечтали выдать, но видишь, аллах рассудил иначе. Не внял он мольбе нашей. Теперь стоим у пропасти. И есть только один выход: пожертвовать тобой, чтобы спасти остальных. Мы хотим продать тебя, доченька!

– Мамочка! Продать! Да разве я вещь? Аллах, аллах!.. Но если такова ваша воля и я могу вас спасти, то я... готова...

– Правда, родненькая?

– Правда, мама! Я на все пойду...

– Тогда слушай. Тебя хочет взять второй женой Тлеумаганбет. Скотины он нам никакой не даст, но одну зиму прокормит всю нашу семью.

Сердце Дамеш захолонуло. Ее начала бить дрожь.

– Т... т... Тлеумаганбет?!

Тлеумаганбету лет шестьдесят. Он бай. Женил и отделил обоих сыновей. Было у него две жены, но младшая умерла летом. Так зачем теперь дряхлому старику молодница?! Уж лучше, пока не подох, отдал бы ее одному из сыновей. Пусть даже второй женой. Раз уже все равно ее продают, так хоть досталась бы она молодому!

Дамеш словно оцепенела. Хотелось ей дать волю слезам, но боялась обидеть и без того убитую мать.

Закусив губу, стараясь не издать ни звука, она молча плакала, чувствуя, как горячие слезы стекают на грудь.

Нищий, свернувшийся на подстилке, заворочался, застонал во сне. То ли бредил, то ли сон какой приснился.

– Эй, жена! – бормотал он. – Хлеб пригорает. Убери сковороду. Оторви кусок лепешки...

– Хле-е-еб!..

Сколько горя на свете из-за хлебушка! С голоду умирают, ходят по миру с сумой – такие хрупкие девушки, как Дамеш, продаются за бесценок, чтобы спасти отца-мать от голодной смерти. Будь ты проклята, нищета!..

– Доченька-а! – слышался дрожащий голос Шрынкуль.

– Что, маменька?

– Ну, как же решила-то?

– Да согласна я, мама, согласна! Ради вас, ради маленького Тансыка на все пойду... Хотя тысячу жизней отдам.

«...Дорогая Рахила! Ты жива, оказывается!

Про твою жизнь, про судьбу твою я только сегодня узнала. Давно уже мы не виделись. Тебе тогда было десять лет... Значит, уже седьмой год пошел с последней нашей встречи. Помнишь, осенью, когда мы ходили за водой, ты уселась на бугорок и горько заплакала. «Если б я могла поднять два ведра воды, – сказала ты, – я была бы самая счастливая на свете». А потом о многом еще тебе пришлось мечтать. Даже и о куске хлеба. В голодный год отец твой пошел по миру. Мать тронулась разумом. В трескучий мороз вы с ней навсегда покинули свою убогую землянку и, взявшись за руки, пошли по свету. Помню, стояла ты на сугробе, дрожала и говорила: «Как должен быть счастлив тот

человек, который никогда не разлучается с друзьями детства!» Нам было невыносимо грустно. Я тебя проводила до перевала за аулом. На бугре, где проходила дорога, мы с тобой обнялись и заплакали. Потом я еще долго смотрела вслед, как вы с мамой, спотыкаясь, брели по пустынной зимней дороге. Когда я пришла домой, у меня грудь была мокрой от слез.

...Тот день был лишь началом черного горя. Беды обрушились потом одна за другой. И нас настигла ваша участь. По несколько дней крошки во рту не бывало. Грозила голодная смерть. Отец был готов просить милостыню, но мы с матерью не пускали его. Говорили, лучше умереть всем, чем вынести такой позор. Особенно тяжело было видеть Тансыка. Бедный мальчик пожелтел, высох, одни кости от него остались.

Покорно ждали смерти. Но о ней лишь говорить легко. И еще полбеды – умереть одному, но умирать всей семьей – страшно. Я бы без сожаления рассталась с жизнью, мне уж было все равно, но отец, мать, братишка! И я была бы счастлива погибнуть, если этой ценой могла бы спасти их.

Однако цена эта оказалась слишком ничтожной. Я ведь почти ничего не стоила. Ты же помнишь Тлеумаганбета? Да искоренится весь его поганный род! Он взял меня второй женой. Что я тебе скажу? Покорилась, смирилась...

Тлеумаганбет обязался прокормить нас зиму, но обещанья не выполнил. Я надеялась, что летом родители сами о себе позаботятся. Об этом я и отцу не раз говорила. Но Тлеумаганбет рассудил иначе. «Я вас содержал зиму, вы должны мне за это отработать», – заявил этот мерзавец. И получилось так, будто я за него по своей воле замуж пошла. Стал отец пасти байских овец, мать – носить воду, стирать, топить печи. Тансыку поручили присматривать за телятами. Сварливая

Каныш-байбише шипела, как змея, и не давала мне жизни. Босиканкой обзывала. Приблудной безродной тварью. И слова эти точно насквозь пронизывали меня. Заступиться некому, приходилось все покорно выслушивать. Вечерами мы, горемыки, собирались в своей землянке и все вместе плакали. И тогда становилось полегче.

Я уже не думала о лучшей доле, не надеялась, что изменится наша жизнь. Отупела, очерствела. Однако, оказывается, при старании можно разбить и самые крепкие оковы. Я в этом сама убедилась. Помнится, случилось это в мае. Дни стояли ласковые, теплые. Мы, бабы, собравшись в большой юрте, плели из конских волос недоуздки для жеребят. Вдруг вошли двое. Один из них – светлолицый, высокий, с едва намечающимися усиками, кучерявый, одетый по-городскому – мне как-то сразу приглянулся. Не знаю, почему, но я не могла от него оторвать глаз, как будто ждала от него какого-то чуда. Словно только он мог исцелить мою израненную душу.

Когда приезжали гости, особенно важные господа или начальники, бай и байбише старались меня скорее выгнать. Даже если я случайно заходила по каким-нибудь делам, меня едва ли не выталкивали вшаей. Вначале я не могла сообразить, в чем тут дело, а потом задумываться начала: «Апырмай, отчего они так тревожатся? Или бояться, что я пожалуюсь начальству? А может, назло им и в самом деле как-нибудь пожаловаться?» И на этот раз, как только появился гость, стали они меня гнать. И такое тогда зло меня взяло, что я тут же решила: «Э, нет, не пойду». И смотрела на гостя не отрываясь. Но он как будто совсем не замечал меня. Байбише взъерилась, расшипелась, и я тут вдруг осмелела. До сих пор не пойму, как это у меня вырвалось.

– Вы начальником будете? – спросила я его.

– А тебе какое дело?! – в один голос взревели бай и байбише.

Вижу: гость насторожился, смотрит то на бая, то на байбише, то на меня и ждет.

– Если вы начальник, мне нужно с вами поговорить, – сказала я.

Гость улыбнулся:

– Ну, начальник я, положим, небольшой, но вы все же скажите.

Видно, бай чувствовал, о чем я хочу говорить, и прямо-таки расвирепел.

– Выйди вон, собачья дочь! – зарычал он и схватил белый посох. – Сгинь!

– Пока не расскажу все начальнику, не уйду, – сказала я твердо.

И тогда бай начал меня бить. Ну, к побоям-то я, положим, привычная, обернулась, лицо скрыла, спину подставила, но он так меня саданул, что у меня в глазах потемнело. И вдруг все затихло. Я оглянулась и чуть не задохнулась от радости. Смотрю, стоит бай весь белый и трясется, а гость наставил на него пистолет. Посох валяется на полу. А у байбише челюсть отвалилась.

– Ну, выкладывай все, – сказал начальник. И хлынуло из меня тогда горе, как вода, прорвавшая запруды, и я сказала:

– Не обо мне речь. Я-то все стерплю. Но вырвите из когтей этого злодея моих родителей!

И пошла говорить.

И сказал мне начальник, выслушав все, что прошли те времена, когда женщин продавали, как скот.

– Советский суд, – сказал он, – заставит бая заплатить твоим родителям сполна за два года. А ты сможешь выйти замуж, за кого пожелаешь.

Мой благодетель оказался заведующим уездным отделом народного образования. Посадил он всех нас

на свою телегу и увез в город. Жил он в двухкомнатной квартире. Одну комнату отвел нам. Он намеревался быстро высудить у бая плату за труды отца и матери и поселить нас в каком-нибудь ауле поблизости. Однако дело затянулось. Бай упорно не приезжал в суд. Нашлись подкупленные свидетели. Совесть-то у всех разная. Были и такие, кто заступался за бая. В общем, прожили мы у начальника Хасена почти три месяца. И все за его счет. Нелегко было, конечно, стыдно, но сделать ничего не могли. Думали: вот получим через суд свою долю от бая, перво-наперво сполна расплатимся с ним.

...Был вечер. Моросил дождик. Я стояла у окна, задумчиво смотрела вдаль.

– Дамеш, – позвал меня кто-то, – выйди-ка, пожалуйста.

Я обернулась. У порога, приоткрыв дверь, стоял и улыбался мне Хасен. Сердце мое заколотилось. Хасен, продолжая улыбаться, спокойно сказал:

– Вот и осень пришла. Дети спешат на занятия. Пора и Тансыка определить в школу.

Я будто ошалела от радости, все благодарила и благодарила его. А он вдруг спрашивает:

– А может, сама желаешь учиться? Хочешь – я тебя устрою в школу? Сейчас многие женщины учатся. А ты еще совсем молода. Послушай мой совет: учись! Я помогу!

– Спасибо! – только и сказала я.

И уже на другой день переступила порог школы.

Лишь в середине зимы отец наконец рассчитался с баем. Честное слово, он получил в два раза больше голов скота, чем имел раньше. Родители сразу же обосновались в ауле в десяти верстах от города. Я осталась жить у Хасена, чтобы продолжать учебу. Такая уж доля родительская: даже о взрослых детях не перестают заботиться, перед самым отъездом в аул отец отвел меня в сторонку и сказал:

– Доченька, мы тебя оставляем здесь. Смотри: веди себя хорошо. Береги себя. Во всем советуйся с Хасеном. Среди людей он как ангел. И тебя он любит.

У меня сердце едва не выскочило из груди от этого слова – «любит». А что, подумала я впервые, может, и в самом деле нравлюсь я ему. Я ведь невнимательная, растяпа. Может, просто не замечала.

Проходила зиму в школу, грамоту одолела, писать малость научилась. Это была самая счастливая пора в моей жизни. Я никогда не думала, не мечтала о таком. И теперь я благодарна судьбе... Яркий весенний месяц май я встретила, как раскрывшийся цветок.

Я собиралась в аул. Отец обещал приехать за мной на подводе. Ничего не утаю от тебя. За день до отъезда Хасен повел меня в театр. И до этого, зимой, я несколько раз уже ходила туда с ним. Возвращались поздно. Стояла теплая майская ночь. Я была как пьяная. Хотелось бродить без конца по степи и всей грудью вдыхать сладкий весенний воздух. Я брела как во сне. Хасен взял меня под руку. Я невзначай прислонилась головой к его плечу, было немножко неловко, стыдно даже, но я ведь была готова бродить так всю ночь... Какое там!.. Всю жизнь! И никакой усталости не почувствовала бы. Всей душой я желала, чтобы это счастливое состояние длилось долго, долго...

Хасен был очень вежлив и чуток. Остановился вдруг, улыбнулся по обыкновению:

– Не станешь злиться, если я тебе что-то скажу?

– Нет, – ответила я, – говорите.

Он сказал.

Так мы и поженились с Хасеном. Стала я его верной спутницей в жизни. Засияла звезда моего счастья. Растет у нас сын. Весь в отца. Назвала его Октябрь. Кстати, вот одна мысленка пришла мне в голову, пока я пишу. Ты ведь грамотнее меня, учишься в больших школах, а мы готовимся к знаменательному тою – к

десятилетию Октября. Вот и описала бы к этому дню все, что пережила и перевидела. У тебя должно хорошо получиться, я читала одну твою заметку в газете. Опиши всю свою жизнь. Это будет твоим подарком к торжеству. Все подробно, как было, опиши: о том, как благодаря Советской власти мы свет увидели, как образование получили, как людьми стали. Не будь новой власти, давно бы наши косточки тлели в земле...

Что ты пережила после того, как мы расстались, я не знаю. Но представляю: нелегко ты достигла своей цели. Напиши в газету, обязательно напиши! Пусть люди прочтут. И я с ними тоже прочитаю.

Поздравляю тебя! Целую! Всего доброго!»

1927 г.

ОДИН ШАГ

I

В предзакатный час пятеро аулчан собрались у скотного двора Алеке.

Было по-осеннему холодно. Пронизывающий ветер дул весь день, но к вечеру утих, и легкий морозец пощипывал лицо.

В ауле по-вечернему суматошливо, шумно: суетятся люди, ржут лошади, мычат коровы, блеют овцы. Женщины доят коров, мужчины выискивают в огромной отаре, вернувшейся с выпаса, своих овец, девушки-молодки, гремя ведрами, идут за водой. Кто-то кого-то проклиная. «Чтоб весь твой род пропал!» – желает кто-то кому-то; «Чтоб ты себе шею свернул!» – отвечает немедленно ему другой; еще кто-то недобрым словом поминает чьих-то отпрысков до седьмого колена; где-то хнычет ребенок: «Бабушка, хле-еба-а!» И все эти крики, ругань, плач бесследно исчезают, растворяясь в привычной вечерней суете степного аула...

Казалось, пятеро мужчин возле скотного двора просто остановились, чтобы полюбоваться столь милой их сердцу картиной; такая жизнь, должно быть, представлялась им раем; ни о чем лучшем они и не мечтали, и если бы все это осталось вечным, неизменным, незыблемым, то они были бы довольны всем на свете.

Налегая грудью на белый посох, низко, по брови, нахлобучив теплый треух, стоял сам Алеке. С ним рядом, засунув руки в карманы, жуя табак и самодовольно поплеывая во все стороны, стоял его розовощекий, лоснящийся от жира сын Жумагул.

– Ну, так что же, ты говоришь, сделали с волостным?
– спросил Алеке. Жумагул выплюнул жвачку и закончил:

– Как только дубина власти выпала из рук Сарсенбая, Сыздык, сын Омара, помчался в город, встретился с правителями. Там ведь сидит Курдегей, бывший когда-то волостным. Он еще, помнишь, Акрама вытащил из тюрьмы... И сейчас хорошее место занимает. Сыздык, оказывается, знаком с ним, когда тот еще судьей был. Ну, по старой дружбе он все ему и сделал...

– Выходит, его точно уберут?

– Говорят, да. Дела, кажется, собираются передать его кандидату. Но секретарь волисполкома решительно возражает. Говорит, байский сын...

– А кто этот, секретарь?

– Сын Ибрая из аула Бейсен.

– Э, знаю, знаю... Это тот самый дурень, который жил у Сатеке, был учителем и пытался запретить уразу¹. Он с самого начала прослыл смутьяном и задирой. Как прибыл, так и начал мутить народ. О, боже милостивый, что за наказание?! Чернь поганая голову стала поднимать! Это значит, дожили до хорошего, коли отпрыск Ибрая народом руководить вздумал!..

И вздохнул Алеке. Видно, старые добрые времена вспомнились ему. Дела, которые он вершил, когда был судьей-бием, а Ахмет – волостным.

– Ой-хой, прошло времечко золотое!..

Нургали молча слушал беседу отца с сыном. Он учителем в этом ауле. Это невысокого роста, коренастый, чернолицый джигит. На нем старенькое, потертое пальто. На голове – кепка. Из-под нее выбиваются длинные курчавые волосы.

Секретаря волисполкома зовут Аманбаем. Он давний знакомый Нургали. Когда-то вместе учились в медресе, вместе росли, воспитывались. Были они

¹ Мусульманский праздник.

друзьями и даже единомышленниками. Потом, когда начали учительствовать, долго переписывались. Аманбай с детства был самым способным в классе. Все новое он узнавал всегда раньше всех. Рассказывая Нургали, он всегда всему давал свои оценки. В глазах Нургали Аманбай был запевалой, заводилой, наставником.

Нынче Нургали ненавидит Аманбая. Он считает, что Аманбай предал их былую дружбу, растоптал их товарищеские отношения.

В прошлом году Нургали учительствовал в ауле Ускенбая – это самый веселый аул во всей округе. Здесь, как говорится, были и девушки – забава для души, и кумыс – забава для плоти. В этом ауле Нургали не жил – блаженствовал.

Но кто-то тайком отправил в волисполком жалобу, дескать, учитель не столько детей учит, сколько за девками бегает, арак пьет, в карты играет... Председатель волисполкома вызвал его, крепко отчитал и решил перевести на другое место. Предстояла разлука с любимым аулом и со всеми его соблазнами. Что ждет его на новом месте – одному аллаху ведомо. И растерялся Нургали, побежал к старому другу Аманбаю, начал умолять: «Помоги... Не трогайте меня с места». А Аманбай, вместо того, чтобы посочувствовать и помочь, стал выговаривать: «Дружба дружбой, дорогой, а служба службой. За такие дела тебя не то что переводить, а вообще к школе близко подпускать нельзя!» С того дня и возненавидел Нургали бывшего своего друга. И обида на Аманбая скоро распространилась у него на всех коммунистов или тех, кто им сочувствует. Он полагал, что в партию идут либо ради денег, либо ради теплого местечка. Себя же он считал истинно национальным героем. И тешился тем, что без таких, как он, джигитов казахские аулы давно бы лишились своего исконного, извечного уклада.

Алеке приподнял голову и с явной насмешкой посмотрел на учителя, зябко кутавшегося на морозе в свое пальтишко, словно промокший русский рыбак на путине.

– Слушай, мулла, ты вроде бы учился вместе с сыном Ибрая? В каких вы отношениях?

– Да, знакомы мы... – проямлил Нургали.

– Да не о знакомстве я спрашиваю. Мне хочется знать, сможешь ли ты при необходимости как-то повлиять на него?

И в словах, и в ухмылке Алеке мелькнул укор: «Разве ты, бедняга, на что-нибудь способен!»

Нургали понял, что увиливать нечего, выгодней сказать правду.

– Нет. Мы в ссоре. Он меня за человека не считает. Они ведь все, коммунисты – начальники. На нас смотрят свысока...

– Может, вы просто так в ссоре, – вмешался в разговор Ербосын, – а то ведь коммунисты совсем не против учителей. Кто в этом ауле открыл школу? Коммунист Жуман! В каждом письме спрашивает: «Как со школой? Хорош ли учитель?» Если бы коммунисты ссорились с учителями, он бы так не писал...

Ербосын до сих пор безучастно стоял в сторонке и поглаживал бороду. Казалось, он был занят только своими мыслями. И то, что он так неожиданно задел учителя, явно не понравилось ни Алеке, ни его сыну, ни самому Нургали. Все трое вытаращили на него глаза.

– Все на свете знает Ереке, – насмешливо заметил Жумагул.

– Э, он ведь баловень новой власти. Любимчик! Кто еще и должен знать, как не он?! – съязвил и Алеке.

Насмешки разозлили Ербосына.

– Баловень я там или любимчик – не об этом речь. Думаю, в том нет большой беды, если я говорю то, что знаю. По-моему, коммунисты совсем не такие, как это

представляет учитель. Вот Жуман коммунист, а когда приезжает домой, то – как говорится – с дровами входит, с золой выходит. Никакой работы не чурается. А ведь какой пост занимает! Многим не чета. Начальник немалый, а ни перед кем не выставляется...

– А может, ты просто еще не видел? Иногда на него находит такая спесь, что и людей не замечает. Что на это скажешь? – налетел Жумагул.

– Для нас он не спесив. А если кого и не замечает, то это, вероятно, баев и их прихвостней. Из-за этого никто его кичливым не считает...

– У, чтоб ты провалился! Чтоб слова твои мерзкие в глотке камнем застряли! Чуть что – сразу начинают натравливать друг на друга: баи, бедняки! Ну, и что вы этим добьетесь? Видим мы, как твои Советы бедняка облагодетельствовали! Скотину они ему, что ли, дали? Соху-борону дали? Обложили налогом всех, у кого завелось хоть пять-шесть голов скота, вот и все добро от твоих Советов! В прошлом году на аульном собрании Жуман так трепался, словно рай собрался за день построить. А что сделал? Ну, школу он открыл. Вот и все. Да и то помещения не нашел, пока в моем доме не пристроились...

– В твоем доме! – отрезал Ербосын. – Можно подумать, бесплатно ты им дом уступил. Ты же за это деньги дерешь!

Алеке возмутился:

– Что он мелет, этот щенок, нажравшийся дерьма?! Без ваших денег я что, с голоду бы подох?! От кочевья бы отстал?! Неблагодарные! Добра не помнят! Я им дом уступил, чтобы они своих стервецов учили, а они...

Жумагул прервал отца. Зачем слова тратить на таких, как Ербосын? Да разве он достоин такой чести? Кто он, этот Ербосын?! Их же батрак! Холуй, которого и к порогу раньше не подпускали! А теперь, ишь, осмеливается возражать баю?! Это своему бывшему господину?! Боже, срам-то какой! Позор-то, позор!..

Прислушиваясь к этой короткой перепалке, учитель Нургали сделал для себя вывод: Алеке – почтенный, добрый, уважаемый человек, а Ербосын – шалопут, человек недостойный и неблагодарный...

С заходом солнца разошлись по домам. Байская сноха Кульбарша стояла в сенцах возле самовара, из трубы коего вырывалось яркое пламя. В стущающихся сумерках молодая женщина в этом отблеске выглядела райской девой. Во всяком случае, учителю она показалась именно такой. Нургали невольно залюбовался ею. Он видел ее каждый день, но не полагал, что она может быть такой прекрасной. «Хм... надо, пожалуй, это иметь в виду», – подумал он...

II

Базар был в самом разгаре, когда Жумагул и Нургали въехали в город. Собственно, это был не город, а просто большой поселок. На базар его съезжались главным образом русские из ближайших деревень и хуторов и казахи из аулов. Впрочем, казахов оказалось здесь больше, чем русских, да и торговля у казахов шла бойчее. Скотину резали и мясо продавали казахи; табаком-насыбаем и прочей мелочью и тряпьем тоже торговали казахи; у русских и татар торговля шла покрупнее. У них был товар.

На двух бричках громоздятся бурдюки. Видно, это из недалекого аула приехали с кумысом. У женщин слезятся глаза. Они зябко кутаются в овчины. Но кому охота в такую холодину кумыс пить? Люди идут и идут мимо. Пучеглазая старуха каждого останавливает, приговаривает:

– Эй, тамыр, кумыс – жаксы! Кумыс кароши, кумыс сладкай!..

Кипит, бурлит базар. Каждый хочет выгадать, где-то урвать, что-то получить. Такие базары – не редкость

в поселках. Особенно там, где кооператив работает плохо.

Больше всего оживления в питейной части базара. Стоит двум ударить по рукам, как тут же спешат обмывать сделку.

– Магарыч давай!– говорят русские.

– Мягарыш дабай!– вторят им казахи.

Несколько человек – русские и казахи вперемешку – устроились возле арбы и дружно потягивают «белоголовки». Нипочем им и холод, и искрящиеся снежинки. Жарко им, весело, покраснелись они, щеки пылают.

На краю базара стоит бричка, возле нее – две бутылки водки. Тут же лежат хлеб, луковица. Средних лет казах с аккуратно подстриженной острой бородкой щурит и без того узкие глазки, улыбается:

– Айда, Иван, пить будем. Один раз на свете живем.

Рыжебородый Иван, залпом опустошив стакан, поперхнулся, зафукал, головой помотал и на всякий случай пробормотал:

– Да, да!.. Это так...

Иван оглянулся вокруг, радостно завопил:

– Эй, Жумагулка... сюда иди!

Торопясь, спотыкаясь, побежал он к Жумагулу. Там тоже пили: Жумагул, Нургали, их старый городской тамыр-кузнец. Жумагул налил Ивану полный стакан, второй подал Нургали.

– Айда, пьем!

Выпили. И еще выпили. За бутылкой – бутылка. Хорошо пьется арак. Хорошо льется арак. Со счета сбились. Взад и вперед мечутся люди. Прохожие смотрят на пьянчуг, улыбаются. Не поймешь: то ли завидуют, то ли осуждают, то ли насмежаются. Остробородый казах захмелел и начал пьяно приставать к Жумагулу:

– Ты – байский сынок... Мырза! Какой шорт ты мырза? От, если б я был мырза... Так я говорю, Иван?..

Будь я мырзой, я всех голодранцев зажал бы вот так... Волостным бы стал... Правильно, Иван?.. К Ивану в гости бы ходил... Иван! Если я приду к тебе в гости, ты мне калач дашь?.. Ты мне калач; я тебе – арак... так? А?..

Жумагул вначале покорно слушал пьяный бред собутыльника, но вскоре терпение его иссякло. К тому же он был тоже пьян.

– Какой я мырза, не тебе меня учить!– запальчиво заявил он.

– Нет, именно я тебя учить буду!

– Куда тебе?!

– И не только тебя – отца твоего учить могу!

– Попридержи язык!

– А вот и не попридержу!

На этом спор кончился и в ход пошли кулаки.

Нургали их еле разнял и оттащил Жумагула к их бричке. Пьяный Жумагул ничего слушать не желал, только еще пуще распалялся. Нургали тоже было развезло, глаза затуманились, все вокруг закачалось, поплыло, но, разнимая драчунов, он немного отрезвел и сразу понял, что валяться пьяным на многолюдном базаре – это уж самое последнее дело. Не дай бог увидит кто-нибудь из волисполкома, тогда ему несдобровать, сразу выгонят из школы.

Двое молодых парней – во хмелю Нургали не разглядел их толком – прошли мимо, усмехнулись.

– Ах, как красиво лежит мырза!

И в самом деле, лежал Жумагул картинно: распластался, разбросал руки-ноги и притулился к бричке. Один из прохожих вытаращил глаза.

– Ой, да это же учитель аула!

Нургали поспешно отвернулся. Не то – разговорам конца не будет.

– Мырза нализался – это еще куда ни шло. Но учителю эдак шататься пьяным по базару – позор!– заметил другой.

«Да неужели я так пьян?» – подумал про себя Нургали.
– Неужто я шатаюсь?» Он разжал было пальцы, которыми вцепился в перила брички, и еле удержался на ногах...

Очнулся Жумагул и поднял голову:

– Мулла, тащи арак!

Лошадь шла по дороге в сторону аула. У каждого в кармане за пазухой было по бутылке водки. Принялись пить прямо на бричке. Жумагул стал приходить в себя. Вначале он еле ворочал языком, но понемногу бормотание его обрело смысл:

– Я мырза. Байский сын. Скота у меня много. Отец стар, скоро околеет. И тогда весь скот – мой... Двести лошадей. Двадцать добрых скакунов. Эй, мулла, ты знаешь моего вороного иноходца? Во – иноходец! От саврасой кобылы. Был бы я волостной, я бы выезжал на тройке вороных. С колокольчиком! Повозку мою видел? Приданое жены. А что баба моя, красивая? А, мулла?! Ох, и любит меня!.. Души не чаёт! Эй, мулла, скажи: когда я буду волостным, пойдешь ко мне писарем?

Стаканов не было, и пили уже из горлышка. После каждого глотка Жумагул словно задыхался, давился, багровел... Лошадь вдруг остановилась.

Маленький круглый старичок подошел к бричке:

– Дорогой Жумагул, дело у меня к тебе...

Жумагул выпучил на него глаза. Попытался прыгнуть с брички, наброситься на старика, но Нургали не пустил. Тогда Жумагул запустил в старика бутылкой. Бутылка перелетела через его голову, ударилась о телегу, разбилась вдребезги.

– Ах, вот ты какой! – сказал старик, сел на телегу, ударил лошадей и уехал...

Жумагул громко расхохотался. В это мгновение учитель возненавидел мырзу. То ли дурацкий смех его раздражал, то ли то, что запустил в старика бутылкой.

– Чего дуришь? Осатанел, что ли? Уймись! – сказал он.

Жумагул, мотая головой, вытаращил глаза на приятеля, пожевал губами – да ка-ак плюнет ему в лицо. Тьфу! Учитель, однако, в ответ плевать не стал. Может, все же уважал мырзу, а может, просто побоялся. Он даже злости, обиды не почувствовал... Что-то ему померещилось, мысли зыбились, путались, он будто проваливался куда-то...

– Это еще что такое? Да слезайте же! – слышался голос.

Нургали очнулся, открыл глаза. Уже был вечер. Лошадь остановилась у скотного двора. Рядом стояла Кульбарша и не то улыбалась, не то злилась. Нургали собрал все силы и тоже улыбнулся ей. Мырза без чувств свалился поперек брички.

– Какой стыд! – возмутилась Кульбарша.

В отау – юрте молодых – шумел самовар. Нургали сел за дастархан, долго пил чай. Сколько он пил и что говорил, он не знал. Чувствовал только, что и пил много, а говорил еще больше. Иногда он взглядывал на байскую невестку, и та странно улыбалась ему, тогда он ощущал смутную дрожь и говорил с еще большим жаром...

Кульбарша постелила ему на почетном месте. Нургали разделся, лег. Она укрыла его стеганым одеяльцем и хотела было уйти, но он позвал ее.

– Женгей, иди-ка сюда!..

– Что такое? – невинно спросила она, наклонившись к нему. Он схватил ее за локоть, потянул к себе.

– Ойбай... Сты-ыдно-о... – томно протянула она. – А вдруг увидят?

Голос ее, однако, прозвучал слабо, и учитель ничего не расслышал. Сграбастал байскую невестку...

Потом он опять проснулся. В юрте темень стояла, как в могиле. Кто-то будто облизывал его щеки, шею.

«Откуда здесь взялась собака?» – подумал он и вспомнил про Кульбаршу в своих объятиях. Она сильнее прижалась.

– Что вы со мной сделали?.. Вы опозорили меня... – жарко зашептала она.

Опять поцелуи, опять горячие объятия...

III

– А ну, учитель, на сколько ставишь?

Поджарый, тощий, как спичка, черный джигит, тасуя карты, устремил лукавый, игривый взгляд на Нургали.

– На пять рублей.

– Но ведь пять ты уже должен...

– Ну, значит, десять рублей.

– Гони деньги!

– Ты раздавай, деньги не уйдут.

– Э, нет. Не пойдет. В долг не даю... – Поджарый джигит отвернулся от учителя и обратился к его соседу.
– На сколько?..

Людей набилось немало. Лучшие джигиты аула собрались на картежную игру. Играл и Жумагул. Играл и аулнай.

Оставаться вне игры из-за безденежья показалось учителю оскорбительным, ниже его достоинства. Он возненавидел скрягу-банкомета, как бешеную собаку. Нургали тронул аулная за колено.

– Дай рублей двадцать.

– Брось, дорогой, не выйдет. Ты те тридцать рублей еще не отдал.

– Жалованье получу – отдам.

– Так жалованье твое и всего-то тридцать рублей. Остальные где возьмешь?!

Джигиты, прислушивавшиеся к разговору, развеселились. Кто-то шутки ради крикнул подросткам, толпившимся у порога:

– Эй, ребята, позовите извозчика. У учителя деньги кончились.

Банкомет раскрыл две карты перед Нургали. Одна из них оказалась бубновым тузом.

– Не повезло учителю... Имей он деньги – был бы «пожар»... – усмехнулся кто-то из игроков.

Нургали рассердился, хотел было выйти, но не мог оторваться от игры. Банкомет раскрыл восемь карт, следующая – «девятый вал». Он осторожно вытянул ее из колоды, чуть покосился на карту и от радости с силой ударил по кошке. Аж пыль поднялась. Оказался – «пожар»!

– Эх, учитель, не везет тебе! Бесталанный ты, – зашумели игроки.

Нургали вскочил и выбежал во двор.

Чистый воздух – после душной, затхлой мазанки – мгновенно взбодрил его. Нургали расстегнул пальто, чтоб легче было дышать, и остановился в раздумье. Возвращаться нет смысла. Никто ему денег взаймы не даст. Самое, пожалуй, разумное – отправиться на игрище, посидеть, полюбезничать с девушками, с молодками. При этой мысли Нургали первым делом вспомнилась Дильда, сестренка Жумана. Белолицая, вполне зрелая девушка. Смех ее, походка, манеры, поведение – все отличает ее от других сверстниц. С тех пор как Нургали живет в этом ауле, он ее по-настоящему видел только однажды. Родители Жумана – очень радушные, добрые люди. Всех образованных, грамотных они считают близкими товарищами своего сына и непременно приглашают к себе в гости. В прошлую пятницу пригласили они и Нургали. Раньше, издали, он как-то не обращал на девушку внимания, но в тот раз разглядел ее вблизи.

Маленькая, тесная землянка была набита битком. Когда Нургали вошел, спертый воздух ударил ему в лицо. Висячая лампа горела неровно. Язычок пламени от фитиля метнулся, дрогнул, едва не погас.

У порога сгрудились дети. Заметив учителя, они расступились и пропустили его. Сразу от печки в правом углу рядом расселись девушки и молодки. Впритык к ним расположились юноши.

– Учитель пришел, – сказал кто-то.

Все выставились на него. Нургали чуть замешкался и опустил ся напротив Дильды.

Забавлялись игрой «Подставь ладонь». Заводили – девушка и джигит – ходили по рядам, помахивая скрученными поясами. Дошел черед до Дильды.

– Подставьте ладошку, – сказал джигит, двинувшись к девушке.

– Пожалейте, тише бейте... Кожа лопнет... – улыбнулась Дильда и едва высунула ручку из-под длинного рукава.

– Кто?

– Человек напротив. – Дильда указала на Нургали.

Учитель, улыбаясь, покорно протянул ладонь. Парней стегала по ладони девушка. Толстогубая, плосколицая, она, половчее закрутив пояс, била с размаху, не жалея, с истинным наслаждением. Нургали даже подпрыгнул от боли.

– Апырмай! Эдак вы до смерти забьете, – сказал он. Толстогубая довольно оскалилась:

– Ответайте: кто?

– Человек напротив! – так же ответил Нургали.

По несколько раз отсылали Нургали и Дильда ведущих друг к другу. Уже у обоих пылали ладони. Первой не выдержала Дильда. Лукаво стрельнув в него глазами, взмолилась:

– Может, другого назовете?..

Он тут же назвал другого. Игра продолжалась.

Молодые между собой беседовали, перешептывались, смеялись, тайнами делились. И вдруг то ли девушка, то ли молодка жеманно заметила:

– Какой приткий! Только что в любви признались, а уже вон что захотели...

И все затихли.

Дильда и Нургали, сидя друг против друга, некоторое время молчали. Первой заговорила девушка:

– Вы, кажется, пришли от картежников?

Нургали вздрогнул. Ему померещился бубновый туз. «Если бы аулнай занял двадцать рублей, я забрал бы весь банк», – подумал он. И такая досада вдруг взяла его, что он проклял про себя и аулная, и банкомета, и всех картежников.

А Дильда, не дождавшись ответа, опять спросила:

– Вы разве не коммунист?

– А почему вы так спрашиваете?

– Да просто пришло в голову... Ведь коммунист не должен играть в карты. Мой брат и в карты не играет, и арак совсем не пьет.

– Вам хочется, чтобы я стал благочестивым софы?

– Причем тут софы? По-моему, резаться в карты, пить арак до одури никто не должен... Проиграть все до последней ржавой копейки, и что тут хорошего?

Значит, Дильда говорила о нем. И без того злой на весь мир, Нургали был готов взорваться, наговорить дерзостей этой девчонке и уйти, хлопнув дверью. Но он почему-то не тронулся с места. Он сидел покорный, печальный, словно замороженный. Казалось, своей улыбкой и этими простодушными словами девушка околдовала его, лишила воли. Так что, она призывает его к покаянию, что ли? Хочет, чтоб он исправился?

Он помрачнел.

– Вы моего брата не видели?– спросила она.

– Не видел.

– Надо бы вам познакомиться. Мой брат – хороший! Когда он приезжает в аул, все собираются у него. У него просят совета, и он всегда посоветует что-то дельное, все разъяснит, расскажет.

Долго рассказывала Дильда о своем брате. Оказалось, он ее научил грамоте. И теперь она даже немножко читает по-русски. Во всяком случае, на журналы и газеты – брат их ей привозит в каждый свой приезд – у нее грамоты хватает.

– Вы не читали? В журнале «Равноправие женщины» писалось о том, как один образованный джигит признался одной девушке в любви, а потом ее обманул... Видно, клятва мужчин ничего не стоит, – засмеялась она вдруг.

– Вы клеветеете на мужчин. Не все же обманщики.

– Конечно. Я не говорю, что все они такие. И все же большинство такие. До сих пор смотрят на женщину по-старому. В самом деле мужчины коварнее женщин. Коварство, зло – все от них исходит.

– Ну, вы говорите так, будто всю жизнь терпели обиды от мужчин!

– Я, положим, обид особых не терпела. Но униженных женщин видела много, и боль их всегда переживаю, как свою.

Нургали не стал спорить. Боялся, что не сможет. Поэтому сразу согласился:

– Да, да... Вы, конечно, правы...

Кто-то из юношей, сидевших ближе к порогу, завел песню:

Пусть мой ремень плохой, зато он – мой.

Я вам спою, коль настаивают: «Пой!»

Как живется-может, желанная?

Ах, сколько месяцев не вижу облик твой!

Когда забрезжил рассвет, начали расходиться. Дильда, прощаясь, спросила:

– Завтра к нам зайдете?

– Зайду, – обрадовался Нургали.

– Приходите. У меня много интересных книг, журналов, газет. Вместе читаем...

Время вечернее. В мазанке сумрачно. На почетном месте, вытянув ноги, сидит Аманбай. Рядом с ним Нургали. В сторонке Жуман.

– Я вас не обвиняю, – продолжал Жуман. – Вас сбили с пути разные аульные прощелыги и прохвосты. Вы стали послушным орудием в их руках. Они ведь никогда не сознаются в своих темных делишках. Им надо осуществлять свое, и ради этого они не брезгают ничем. Им важно из аульного учителя сделать посмешище и затем приручить его к себе. Вот почему они липнут к вам.

– Да-а... – вздохнул протяжно Аманбай, но промолчал.

Жуман сделал несколько затяжек, выпустил дым, заговорил снова:

– С одной стороны, аульные учителя попадают в капканы из-за недомыслия и близорукости. Для кого создана наша школа? Куда должны быть направлены все знания и усилия учителя? Как он должен работать и к чему стремиться? Все это учитель обязан знать твердо. Если человек не знает, для чего и для кого он работает, никакого толка из его работы не получится. Она будет просто бесцельна. А от учителя требуется многое. Он проводник культуры в ауле. Если мы хотим построить социализм, наладить социалистическое хозяйство, мы обязаны прежде всего добиться всеобщей грамотности. Для этого один путь – школы.

А многие наши школы не отвечают своему назначению. В прошлом году после долгих хлопот удалось нам открыть в этом ауле школу. За шесть зимних месяцев, оказывается, дети не учились по-настоящему ни одного дня. Не было помещения. Заняли под школу байскую прихожую. Но весной бай приспособил ее для молодняка и детей выгнал. Так какой прок от такого

учения? А люди в аулах живут уже по-иному – их сознание выросло. Сейчас все понимают, кто кому друг, а кто – враг. От полезного дела никто в ауле не откажется. Нужно лишь уметь руководить. Разве очень трудно поставить общими силами школу? В этом ауле двадцать дворов. Пятнадцать из них – бедняки и середняки. Если эти пятнадцать домов возьмутся сообща, – запросто школу построят. Важно начать, зажечь, увлечь людей. Кому это все по плечу, как не учителю? Учитель должен быть началом всех добрых начинаний в аулах. Его дело разбудить классовое сознание, нацелить людей на добрые дела. Иначе он не отвечает требованиям, которые предъявляются к советскому учителю.

Жуман, докуривая папиросу, искоса взглянул на Нургали. Казалось, он размышлял: «Доходят до него мои слова или я впустую говорю?» Нургали, потный от смущения и неловкости, слушал.

Аманбай подобрал ноги, подхватил слова Жумана:

– Говори не говори – но учителя сами во многом виноваты. Обленились. Многие и знать ничего не желают, даже газет и то не выписывают. Нынче, когда приезжал уполномоченный по подписке, у большинства учителей даже двух рублей и то не нашлось. А ведь власти стараются – каждый год объявляются новые курсы, однако поехать на них никто не хочет по домашним обстоятельствам. А в аулах пьют, по гостям шатаются. А ведь есть и такие, которые тоскуют по прошлому. Их Советская власть и все ее мероприятия только раздражают. При этом они не могут даже объяснить толком, что именно им не понравилось и почему. Просто один кивает на другого. Дескать, тот так сказал, тот так ругнул власть. А раз ругнул, значит, неспроста. Так что это за учитель, если он плетется на поводу всякого встречного-поперечного?! Вот возьмем, к примеру, Нургали. Вы,

наверное, его не знаете, а вот я знаю хорошо. Мы с ним вместе учились. Дружьями были. Часто, бывало, мечтали: «Эх, станем учителями, получим повод в руки, развернемся – понесем правду народу». Тогда ведь это было невозможно, но теперь, при Советской власти, осуществилось все, о чем мы мечтали, когда ходили в учительскую семинарию. Скажи, что это не так?

Аманбай строго взглянул на Нургали, и тот, вздрогнув, ответил:

– Да, это так.

– Тогда как объяснить нынешнее твое поведение? За шесть месяцев ничему ты детей не научил. Только и делаешь, что мотаешься туда-сюда на лошадях Жумагула и Даулбая, да заявления-прошения строчишь. Ты стал вроде бы их порученцем... А как ты себя проявил в прошлом году? Ты на меня, конечно, обижаешься. Но разве я тебя ругаю не за дело? Разве неправильно осуждаю твое поведение? Ну скажи? А?

– Ой, ты слишком круто с ним, – засмеялся Жуман.

– Нет, – возразил Нургали. – Пусть говорит. Он прав. Я действительно виноват. Не только сам заблуждался, но и молодежь в ауле сбил с толку своим примером. Поверьте: я все это понял. И не сегодня я это осознал, я уже месяца два-три чувствую это. Нашелся такой добрый ангел, который прямо мне в глаза сказал про все мои грехи. Взял меня под свои крылышки, старался вывести меня на путь истины. Многое мне стало ясно, а теперь, еще после ваших речей, у меня окончательно открылись глаза... Ну если я вам что-то скажу, поверите ли?

Нургали, поблескивая глазами, попеременно смотрел то на Жумана, то на Аманбая.

– Говори... Может, и поверим.

– Дело ваше, но знайте: с сегодняшнего дня нет больше прежнего Нургали. Я теперь новый, другой Нургали. Я словно заново родился. Клянусь, что

отныне я с вами... и работать буду рука об руку, плечом к плечу!

Аманбай пылко вскочил, хлопнул приятеля по спине.

– Молодец, Нургали! То-то же... Не терял я надежды на тебя!

Тихо отворилась дверь. Вошла Дильда.

– Чего вы здесь в духоте сидите? На улице так хорошо! Поразвейтесь же немного.

Нургали был взволнован и чувствовал себя так, будто сбросил с себя груз. Теперь, увидев Дильду, он и вовсе ошалел от радости.

– А вы знаете того ангела, который меня спас? – спросил он восторженно.

– Знаем! – улыбнулся Жуман.

– А кто, кто? – встрепенулся любопытный Аманбай.

– Вот кто! – Нургали показал на Дильду. – Вот он, мой ангел-хранитель. Она первая сказала про мои ошибки. Потом заставила читать газеты, журналы, книги. Вначале я это делал ради нее, а потом уж ради самого себя. Это она посоветовала мне написать Жуману, поговорить, побеседовать с ним. Я в долгу перед ней!

V

Новая, недавно построенная школа. Просторная комната с четырьмя окнами. Рядами стоят парты. На стене – напротив входа – портрет Ленина, обрамленный цветами.

Народу собралось много: старики, старухи, девушки, молодки, дети – весь аул в сборе. Нургали встал, уперся кулаками в стол, оглядел всех и заговорил:

– Сегодня четвертое октября. Наш великий праздник – седьмая годовщина Советского Казахстана. Впереди еще одно торжество – десятилетие Великого

Октября. К этому дню мы стремились построить в нашем ауле школу. Благодаря энтузиазму молодежи и постоянной помощи всех аулчан мы выполнили свое обещание – закончили стройку к славному казахскому тою. Постоянно помогали нам и власти. Обеспечивали всем необходимым, бесплатно выделили стройматериалы, прислали парты и разные школьные принадлежности и пособия. Всех, кто принимал участие в строительстве школы, кто поддерживал нас, я благодарю от имени совета школы!

Дети выстроились на торжественную линейку, прокричали «Ура!» и захлопали в ладоши.

По рядам прокатился гул. Некоторых тронуло красноречие учителя, другие восторгались тем, что учитель, отказавшись от шестимесячного летнего отпуска, прибыл на зимовье, чтобы руководить строительством.

– Джигитом оказался! До конца все довел!

Поднялся Ербосын:

– Я хочу сказать вот что. В прошлом году наш бай – он, кстати, здесь присутствует – издевался надо мной, мол, покажи-ка, что вам Советы дали. Вот я и хочу ему показать. Алеке, оглянитесь, видите теперь, что нам дала Советская власть?!

Алеке передернулся, налег грудью на посох, пробурчал:

– Что ты ко мне цепляешься, слопать меня живым хочешь?

Степенно поднялся уважаемый аксакал Кыстаубай:

– Уа, миряне! Было время – косились мы на молодежь. Ругали ее, сетовали на нее. Говорили даже, что мир рушится, и ничего хорошего ждать уже нельзя. В прошлом году, когда учитель приехал в наш аул, я совсем было приуныл. Как-то надо было мне съездить к Алексею. По дороге встретились вот этот учитель и Жумагул – байский сынок. Чаю-сахару-то тогда у меня не было. Вот я обратился к Жумагулу – одолжи, мол,

немного. Как швырнет он в меня бутылку из-под арака и чуть не убил. Я тогда на учителя сильно обиделся. Не думал, что из него человек выйдет. К счастью, я ошибся. И времена настали совсем не дурные, а оно, время-то наше, и учителя исправило. А когда учитель исправился, и молодежь пошла за ним. В карты перестали играть. Про арак забыли. За дело принялись. Сегодня мы открываем новую школу. Ее, конечно, молодежь построила, а молодежью заправлял кто? Учитель! И теперь я его от души благодарю. Пусть сопутствует тебе, сынок, удача! Да сбудутся все твои добрые желания! Вот такое благословение даю я нашему учителю.

Молодежь заплодировала. Казалось, от такого шквала крыша взлетит. Потом был концерт: школьники пели, читали стихи.

Женщины, собравшиеся на торжество, сидели особняком, несколько в сторонке. Среди них была Дильда. Она что-то объясняла, о чем-то рассказывала. Любопытная молодка спросила шепотом:

– Еркежан-ау, говорят, что ты за учителя замуж выходишь. Это правда?

– А что? – лукаво засмеялась Дильда.

– Да нет, просто так... Лучшего джигита не сыскать.

Их разговор подслушала Кульбарша. И вся побледнела, и так поглядела на Дильду, будто хотела сжечь ее взглядом...

На другой день начались занятия. Хлопот было много. Нургали, радостный, возбужденный, размещал, рассаживал детей, набившихся в класс. Постучав в дверь, вошла Дильда. Улыбнулась:

– Поздравляю вас!

– Спасибо! – ответил Нургали. – И тебя с радостью! Проходи, помоги. Вместе работать будем.

1927 г.

МУЛЛА ЗАКИРЖАН

В сопровождении неизменного спутника Калдыбая отправился мулла Закиржан в аулы «Торт-тюбе» – «Четыре холма» – за обычной данью.

Эти аулы богатые. У них даже собственная мечеть есть. Каждый год совершает туда вылазку Закиржан-мулла. Все дома объездит, никого не пропустит. Через месяц возвращается будто с калымом: гонит с собой тридцать – сорок голов скота.

Калдыбай – своего рода прислужник муллы. Они ровесники, давние приятели и сообщники. Правда, это им не мешает наедине подтрунивать друг над другом, а иногда даже ругаться. Серьезных ссор, однако, у них не бывает. Обид и злобы они друг на друга не таят.

На глазах же людей ведут себя совершенно по-иному. Вид у муллы благочестивый и отрешенный. На голове чалма, на плечах просторный белый стеганный чапан, веки смиренно опущены долу, мулла словно дремлет, погруженный в свои праведные думы. Калдыбай ходит вокруг него на цыпочках, ловит каждое движение своего духовного наставника.

– Таксыр, – елеинно говорит он, – подошло время намаза. Не угодно ли вам совершить омовение?

И расторопный Калдыбай подает мулле кумган, расстилает молитвенный коврик – жай-намаз, протягивает четки. С суровым, непроницаемым лицом Закиржан опускается на колени, раскрывает черную книгу и начинает гундосить. Время от времени членораздельно произносит:

– Ия, ал-ла-а!..

И от этого возгласа Закиржана Калдыбай каждый раз благоговейно вздрагивает...

В аулах «Торт-тюбе» Закиржана и Калдыбая все уважают.

– Молодой, а всецело посвятил себя служению богу, – восторгаются Закиржаном.

– Черное от белого не отличает, а верного человека себе нашел, – говорят о Калдыбае.

Когда приезжает Закиржан-мулла, вокруг него собираются почтенные старцы и влиятельные богачи – жирные затылки аулов – «Торт-тюбе». Они сопровождают его по аулам и юртам, заглядывают ему в рот и вообще ведут себя, как покорная свита.

Закиржан вдохновенно рассказывает аулчанам нравоучительные притчи из Священного писания: говорит о праведниках в раю, о грешниках в аду, о великих деяниях апостолов пророка, о наставлениях Мухаммеда-пайгамбара.

– О, мой сладконебый! – млеет от восторга Калдыбай.

А когда мулла начинает говорить о божьей каре и приближении конца света, у растроганных стариков начинают слезиться глаза и дрожат челюсти.

– Таксыр! Скажите, в чем заключается смысл жертвоприношений? – почтительно спрашивает Калдыбай.

– Подношения смягчают божий гнев, открывают ворота в рай, оборачиваются в Судный час спасительной соломинкой, – отвечает мулла.

– Уай, уай! До чего же всемогущ и милосерден наш кудай!¹ – непременно поддержит кто-то.

Потом, возвращаясь с богатой добычей из аулов «Торт-тюбе», мулла Закиржан и Калдыбай всю дорогу переругиваются.

¹ Бог.

– Игреньевая кобылица моя!– настаивает «мюрид».

– Э, не дури! Скот-то не твой, а мой. Я ведь благословение давал!

Длинный нос муллы начинает бледнеть и заостряться. У Калдыбая нервно топорщатся усы, закатываются глаза.

– Это ты брось – мой! Ты оставь это, Закиржан! – грозно рычит он.

– Это почему же?

– Да что ты своим благословением рот мне затыкаешь?! Кому он нужен, твой бред? Был бы от твоих молитв толк, люди сами бы скотину к тебе домой пригоняли. А так вместе рыщем, вместе добываем в поте лица. Значит, и доля наша равная. Моих заслуг даже больше, если уж на то пошло!

Лицо Закиржана-муллы покрывается пятнами, губы дрожат, от ярости он начинает задыхаться. В это мгновение он ненавидит Калдыбая, как поганую собаку. И дернул же его нечистый связаться с ним и таскать всюду с собой.

– Ну и дурень же ты! Остолоп! Ведь игреньевую кобылицу я получил за поминальную службу по покойнице Улболсын. Коран читал я! Отходную молитву читал я! Поминальную – я!..

Калдыбай не слушает. Он хорошо знает, что хочет сказать мулла Закиржан. Ударив коня пятками, Калдыбай сгоняет в плотный табун беспорядочно бредущий скот. Некоторое время они едут молча. Вдруг Калдыбай светлеет лицом, точно солнышко, выглянувшее из-за туч.

– Эй, Закиржан, совести у тебя нет! Зачем хулишь мои труды? Вспомни хотя бы ту ночь, а! Чего она стоит, не говоря уже о другом!

От приятных воспоминаний Калдыбай жмурится.

– У, дуралей!– смеется польщенный Закиржан.

Оба мгновенно преображаются, лихо подгоняют скот по дороге, похохатывают, довольные друг другом.

– Да, в тот раз ты отличился! – восторгается Калдыбай.

Тучи недавней неприязни рассеиваются без следа.

– И ты мне тогда здорово подсобил! – великодушничает благодарный мулла.

Возле Арчалы стоит зимовье Алимбая. Весной аул откочевывает на джайляу, и зимовье пустует, зарастает ковылем и бурьяном. Один бедняк Конка сторожит зимовье, и то живет он, по стародавней привычке, несколько на отшибе, ближе к одинокой степной дороге.

Его единственная коровенка, бурая, с обломанным рогом, постоянно пасется возле его черной лачуги. Жена Конки – Калампыр, – волоча за собой кривую жерлину, отгоняет буренку в степь, ругая и проклиная ее на чем свет стоит.

– У! И что ты весь день возле дома шляешься, – говорит она, – тварь поганая! Теленка никогда на выпас не отпустишь. А отпустишь – все молоко высосет. Чтоб ты подохла!

Конка, лежа на подстилках, лениво говорит:

– Чтоб тебе челюсти светло, дурная баба! Что будем делать, если она подохнет?..

Лениво перебирая пряжу, скучает в тени дочь Конки – Каныш. Пальцы привычно бегают по пряже, а мысли ее далеко. Она тоскует по соседям, по подружкам, по аулу. По шумной, веселой жизни в многолюдном ауле за долгую, шестимесячную зиму. Как дорога для черноглазой полногубой Каныш лютая зима, сжимающая в ледяной ладони весь мир! Зимой веселишься со сверстницами. Ходишь на игрища, на

той. А лето с запашистым, зеленым разнотравьем, с душными, томительными ночами – зачем оно одинокой Каныш? Вот если бы вместе со всем этим были бы еще рядом подруги и сверстники! А так она сидит в тени с утра до вечера и думает, думает, черноглазая!

Хозяину тоже опротивела его одинокая убогая лачуга. Его неудержимо тянет на джайляу. Ночью ему снятся озера, заросшие шелковистым кураком, и искрящийся в чашах терпкий кумыс. Душа его мается, изнывает, и скоро он уже не может сладить с тоской, и тогда он вдруг хватает белый посох и пешком отправляется на желанную летовку. Калампыр, конечно, ворчит:

– Только о себе и думаешь! А мне что тут с девкой делать? Могилы сторожить, да?! Ты хочешь, чтобы мы здесь околели! Чтобы нас кто-то прирезал?!

Ворчит, бурчит жена, а когда Конка исчезает за перевалом, в душу ее закрадывается тревога. Шутка ли отшагать сорок верст по такой жаре! Жажда замучит, усталость сморит, думает она.

Прошло дней пять, как Конка подался на джайляу. Встревоженные и испуганные Каныш и Калампыр всю ночь не смыкают глаз. Мерещатся им жуткие страшилища, джинны и пери из сказок. Кажется, бесы беснуются возле заброшенного зимовья, мерзко хохочут и швыряют друг в друга в зарослях бурьяна снопы пламени. Калампыр про себя, так, чтобы не услышала дочь, бормочет обрывки запомнившихся молитв. Она вся дрожит, но скрывает страх, чтоб не испугать Каныш.

И Каныш тоже не спит, но совсем не от страха. Она думает о своей жизни, о разных немудреных приклю-

чениях, о желанном друге, о родных в доме Сатпая. Незабываемый то был вечер. Собрались девушки и джигиты всего аула. Столько народу набилось – ступить было негде. Стало жарко, душно. Тускло мерцала лампа, грозя погаснуть. Пот стекал по лицам, но молодежь обтиралась полотенцем и игры не бросала.

– А ну-ка, сестричка, подставляй ладошку! – двинулся к Каныш весельчак Ахметбек. В руках у него был плетеный поясок. Он широко, размахнулся, будто намеревался изо всех сил хлестнуть по ладони, а на лице у самого при этом блуждала улыбка.

Каныш игриво хохотнула:

– Пожалеейте! Не сильно только.

Потом кто-то предложил:

– Начнем новую игру!

– Какую?

– Песня по кругу!

Пошла домбра из рук в руки. Дошла до Ахметбека. Он старался держать ее поудобней, поизящней. Покрутил колки, настроил струны. Он откашлялся, голос попробовал. Голос прозвучал хрипловато. Молодые разговаривали, шутили, были только заняты собой. Их равнодушие обидело Каныш. Она замирала от восторга, когда слышала:

К озеру степному аулы откочевали.

У озера влюбленные о любви мечтали.

Когда ты, милая, назначила свидание.

Развеялись на сердце облака печали.

И теперь еще, думая об Ахметбеке, она неизменно слышала его голос и эту его песню. Каныш чудилось, будто последние две строчки предназначались одной только ей...

Потух огонь в продолговатой земляной печке – жерошаке. Небо укрылось черным одеялом. Зажглись, перемигиваясь, мириады звезд. Разморенная ночь погрузилась в дрему.

Вскоре на дороге мелко застучали конские копыта. Жолдыаяк потявкал и тут же смолк. Послышался приглушенный разговор. Калампыр и Каныш прислушались.

– Апырмай, путники, что ли?

– Хоть бы у нас заночевали, – испуганно прошептала Каныш.

Жолдыаяк вновь залился лаем. Путники подъехали. Из-за решеток смутно виднелись очертания двух верховых. Один из них крикнул:

– Уай, есть кто дома?

– Мы дома! – радостно отозвалась Калампыр.

Всадники привязали поводья к передней луке седла, спешили и зашли в лачугу. Поздоровались. Калампыр спросила.

– А вы кто такие будете?

– Слыхали небось про муллу Закиржана? Вот он и есть! – ответил один.

Калампыр несказанно обрадовалась. Бросилась к очагу разводить огонь, готовить ужин, но гости решительно отказались от угощения, сказав, что они очень устали и хотят только спать.

Зажгли лучину. При ее неверном свете хозяйка расстелила на почетном месте старенький палас, однако подушек и одеял не было, и смущенная Калампыр извинилась перед гостями.

– Ойбай, женге, не беспокоитесь. Мы довольны тем, что есть, – сказал Калдыбай и растянулся на паласе прямо в одежде, повернувшись, однако, боком к Калампыр.

Лачужка бедняка Конки была явно тесна для четверых.

– Женгей, уж больно близко мы с вами легли. Если во сне забудусь, не обессудьте, – пошутил, укладываясь, Калдыбай.

Измученные бессонными ночами, мать с дочерью сразу же уснули. Калдыбай толкнул локтем Закиржана.

– Эй, дрыхнешь?

– Нет.

– Тогда ползи. На четвереньках!

– Так она же кричать начнет, мать разбудит...

– Не бойся! Я с божьей помощью как-нибудь с ее матерью уж справлюсь.

Закиржан-мулла опустил голову, как при молитве, и пополз на четвереньках.

– Эй, кто это, кто это? Ма-а-ама! – вскрикнула в испуге Каныш.

Калампыр проснулась, но еще не успела сообразить, что же случилось, как Калдыбай, схватив ее за руки, выволок из лачуги.

– Молчи, женгей! Тихо! Айда со мной! Разговор есть...

Едва забрезжил рассвет, Закиржан и Калдыбай отправились дальше в путь. Калампыр и Каныш, опозоренные и перепуганные насмерть, исходили безутешными слезами в одинокой лачуге на дороге.

В пивной поселка сидят Калдыбай и Закиржан. Столик заставлен бутылками. Приятели раскраснелись. Видно, пируют давно.

– Ну, что? Глотнем беленького? – подмигивает Калдыбай.

– Ай, не знаю, – улыбнулся мулла. – В аул ведь едем. А беленькая – она буйная...

– Не бойся. По дороге отоспимся. После бурной ноченьки нам это не помешает...

Калдыбай хихикает. Мулла придвигает к нему рюмку.

– Эх, дуралей! Ладно! Нынче доволен я тобой. Давай, наливай еще разок.

Мулла лезет в карман за платком, чтобы обтереть пот на лбу, но вместо платка достает длинные, как тонкая кишка, четки и роняет их в стакан с водкой. «Астапыралла!» – бормочет мулла и запихивает четки обратно в карман. Приятели пьют и делятся подробностями вчерашних ночных походов.

С заходом солнца с выпаса возвращается скотина, бредут, похрюкивая, свиньи. Возле дома под красной крышей, в середине поселка, овцы, козы, коровы, насторожив уши, шарахаются в сторону то ли с испугу, то ли от омерзения. Здесь, в двух шагах от пивной, свалились прямо рожам в грязь почтенный мулла и его верный «мюрид». Свиньи, в отличие от другой скотины, не шарахаются от лежащих в пыли приятелей. Они деловито тычутся рылами в бесчувственного Закиржана-муллу и лишь потом, брезгливо морщась, уходят восвояси. Только рыжий шелудивый кобель подошел и облизал священные уста муллы...

1928 г.

ПЕРВЫЙ УРОК

– Эй, перестанешь наконец?!– Минайдар поднял голову. – Хватит, говорю... Чего напраслину городишь?!

– Напраслину! Как я чего-нибудь скажу, так сразу напраслина...– пробурчала жена, пересиливая себя.

Едва Маржанкуль затихла, у Минайдара тоже пропала злость. Некоторое время он молчал, потом примирительно сказал:

– Слушаешь ты всяких, вот потому я и злюсь. А ссориться тут не из-за чего. Я ведь не один, все туда ходят.

После этих слов Минайдар успокоился окончательно. Чувствуя это, заметно смягчилась и Маржанкуль. Привычно теребя клочок шерсти, она стала выкладывать все, что у ней было на душе.

– Это верно, что все туда ходят. И я ничего против не имею... Но меня злит то, что вы собираетесь в доме матушки Сары. Будто другого дома в ауле больше нет... У меня все нутро горит, когда об этом думаю. А она-то, матушка Сары, оказывается, говорит: «Мой муж-покойник был из рода Хожалык. И по обычаю аменгерства, я выйду только за его сородича. На других щербатых я и смотреть не желаю». И при этом прямо-таки тебя ест глазами. Выставится и смотрит... Вот из-за чего я места себе не нахожу...

Минайдар, лежа на боку, громко расхохотался, показывая щербатые зубы.

– Вот черт-баба! Вчера ведь только говорила: «Куда ты, старик беззубый, прешься?» А сегодня уже по-другому поешь...

– Ну и что, если так сказала? Зашла вчера к свекру за угольком, а там сидят, разговаривают. Ну, и наострила я уши. О чем, думаю, речь... А деверь-то, горлопан, и говорит так ехидно: «У Минайдара зубы выпадают. Самая пора ему учиться». Я аж вспыхнула вся, как услышала...

Теперь и Маржанкуль рассмеялась.

Супруги забыли о недавней стычке и заговорили, словно ничего и не случилось. Поговорили, между прочим, и о хозяйстве: о том, что совсем дошла их единственная лошадка, на которой проработали все лето, ни к чему она уже теперь не годна; что кончилось мясо ярки, которую выменяли на единственного теленка. К тому же сообщила Маржанкуль, что и мука вся вышла, а в заварник сегодня она бросила последнюю щепотку чая. Тогда Минайдар решил завтра же съездить в город.

– А как с учебой?

– Ойбай-оу, в самом деле! Как же быть?– Минайдар озадаченно посмотрел на жену.

– Пока ты съездишь в город, поучусь вместо тебя, – улыбнулась Маржанкуль.

– Не выйдет.

– Почему?

– Женщин ведь учат отдельно.

– А почему женщин всегда отделяют? Мы ведь никого не съедим, если станем учиться совместно! Вечно нас ущемляют...– возмутилась Маржанкуль.

Минайдар опять принялся хохотать.

– А, про «слабоду» вспомнила? Слабода слабодерознь, дорогая. Слабода вовсе не значит позволять бабам отбиваться от рук.

– Разве учиться – значит отбиваться от рук? Тогда и тебе учиться не стоит!

– Сказала! Мы – мужчины.

– А женщина в чем виновата?

– В том, что она женщина. Ее бог с сотворения унизил. И стремиться ей быть равной с мужчиной – это великий грех.

– Э, брось, милый! Выдумки все это. Или забыл ты, что сказал очкастый представитель на прошлых выборах?

– Что же он сказал?

– А то, что женщины и мужчины равноправны. Что мы можем так же работать, как и вы.

– Ах, так же работать?.. А помнишь, когда я летом косил сено литовкой, ты едва успевала за мной сгребать граблями?

– А ты своей силой не хвались. Что мужчины сильнее, мы знаем... Очкастый тогда говорил, что женщина наравне с мужчиной может даже быть аулнаем.

– Вот что захотела! Посмотрел бы я, как вы заправляете аульным Советом...

– Ну и что? Думаешь, я хуже, чем дурной Несипбай? Бедняга два слова связать не может, а – аулнай!

– Ладно! На следующих выборах я изберу тебя аулнаем. А пока встань-ка и сготовь чай.

Минайдар с удовольствием потянулся, упираясь головой в стенку. Маржанкуль убрала пряжу, подошла к печке с котлом. Длинными железными щипцами расшуровала золу, достала тлевшую головешку, подложила щепки, принялась раздувать огонь. Пепел тучкой поднялся к потолку.

Минайдар потянулся рукой к окну, взял с подоконника книжку в серой обложке. Это был учебник для первого класса. Из района недавно приехал учитель для ликвидации неграмотности и организовал в ауле школу. Минайдар тоже записался. Ему сейчас тридцать четыре. Недавно выпали у него два передних зуба, и теперь из-за щербинки при разговоре становился видным язык. Когда Минайдар пошел в ликбез, сверстники смеялись:

– Самая пора. Пока у тебя все зубы выпадут, ты и грамоту одолеешь.

Минайдар, однако, мало обращал внимания на их насмешки. Понемногу преодолевал он и сопротивление жены. Все его помыслы сводились к одному: научиться читать, уметь расписываться.

– Что ж... приходится пенять на отца. Учил бы меня в детстве, – читал и писал бы сейчас не хуже других. Сидел бы теперь да разглядывал бумаги, – не раз мечтательно говорил он.

Он открыл первую страницу, уткнулся в книгу. Буквы большие, жирные. В отдельности он их все знает, а вот складывать их – ой как трудно. И все же, спотыкаясь, заикаясь, он с превеликим трудом осилил первую страничку. Сейчас он снова принялся перечитывать ее. Вначале занялся отдельными буквами, потом стал читать по слогам. Вростяжку прочитал он громко «мало», и тут Маржанкуль, растапливавшая печку, обернулась к нему и недоуменно спросила:

– Чего мало? Щепок, что ли?

– Э, провались! – усмехнулся Минайдар и повернулся на другой бок.

Каждый вечер после ужина Минайдар по привычке брал в руки книжку в серой обложке. Придвинув к себе лампу, подмигивая и улыбаясь, принимался за чтение. Учеба в ликбезе продолжалась третий месяц. Крупные буквы он давно уже осилил и складывал их вполне сносно, но в мелком шрифте по-прежнему путался.

Маржанкуль, убрав посуду и самовар, пристроилась по обыкновению рядом с мужем. Он положил тетрадку на книгу и, схватив неуклюжими, заскорузлыми пальцами, привыкшими к лопате, карандаш, начал неумело выводить корявые, огромные буквы.

– Что это? Опять свое имя царапаешь?

– Вот, гляди: получается – «Минайдар Досакаев», – довольный, улыбнулся Минайдар.

– А какое из них имя свекра?

– Это, нижнее...

Маржанкуль долго всматривалась в буквы и вдруг попросила:

– Напиши-ка мое имя.

Минайдар, тяжело посапывая, нацарапал имя жены. Оно заняло едва ли не половину страницы.

– Дай-ка карандаш. Попробую, может, получится... Она легла рядом на живот и принялась старательно выводить буквы.

– Ой, палка в букве «М» у тебя слишком большая получилась. Не палка – целая загогулина...

– Ну да! – чуть покраснела Маржанкуль. – У тебя ведь такая же.

Головы их соприкасались. Минайдар вдруг повернулся и поцеловал жену в щеку.

– Ну, вот, начинается... – деланно пробурчала Маржанкуль и улыбнулась. – Мог бы и не подмазываться, когда я делом занимаюсь.

...Наступила глубокая ночь. Во всех домах погас свет, аул спал. И только в доме Минайдара горела подслеповатая лампа. Супруги попеременно брали учебник в серой обложке и увлеченно, букву за буквой, осиливали грамоту. Крупные печатные буквы в затрепанной книжице весело улыбались, перемигивались и словно радовались, что в казахской степи нашлись два таких прилежных ученика.

1928 г.

РЫЖАЯ ПОЛОСАТАЯ ШУБА

I

День нахмурился, насупился, все вокруг точно вздыбилось... Степь поблекла, травы пожухли, повисохли. То ли туман, то ли хмарь низко нависла над землей, и сквозь эту унылую сутемень все казалось тусклым, зыбким – и несметная толпа, и сама неоглядная даль. Что это? Стадо, табун? Или люди? Толпа качнулась, будто рассыпалась. Так бывает, когда отделяется от табуна косяк строптивых меринов. «Апырмай, что же это может быть?» – подумал Шермек и, нахлестывая коня, помчался в сторону Кенжебая-бугра.

...Громыхнуло. И земля дрогнула. Хлестко сверкнула молния. Толпа заколыхалась, зароптала, загудела. Гул, нарастая, устремился, взмыл в небо, и от лязга нестерпимо звенело в ушах, казалось, вот-вот лопнут перепонки. Шермек натянул поводья, попридержал коня. Сердце учащенно билось, смутный страх овладевал им. Ему почудилось, будто обрушится сейчас небо, придавит его. Он пытался закричать, но голоса не было... Конь под ним насторожился, потом испуганно шарахнулся в сторону, понес, и всадник, неуклюже раскинув руки, ослабив шенкеля, плюхнулся оземь вместе с седлом и потником...

– Хватай его!.. Держи!..

Вздрогнув от противного вопля, он поднял голову. Черная мгла накрыла весь мир... Шермек задышался, сердце подскочило к горлу, все тело била дрожь. Чьи-то железные когти намертво вцепились в правую руку, чуть ниже локтя. Не вырвешься, хоть руку руби...

Вокруг бушевали, клокотали гнев, ярость, ненависть, злоба...

– О, боже!.. Люди... пожалейте, пощадите!..

– Не жди пощады!.. Месть, мечь!..– гремели злые, торжествующие голоса.

Откуда-то – то ли издалека, то ли из-под ног осатаневшей толпы – донесся слабый стон. Он пронзил Шермека, больно полоснул по сердцу. Он узнал голос отца и тут же увидел его самого. На земле, у людских ног, лежал Сейпен, бугрясь животом, точно холмик на свежей могиле.

– Шермекжан, не человек я уже больше! Видишь: живот мне распорол...

Собрав последние силы, Шермек бросился было к отцу, но в тот же миг перед его глазами хищно блеснула сабля. Шермек, ужаснувшись, резко отпрянул назад, ударился затылком о что-то твердое и взвыл от боли.

– Ойба-а-ай!..

II

...Очнулся он от собственного крика. Подушка была смята, он ударился головой о железную спинку кровати, и теперь голова гудела и покалывало в висках.

Стоял сумрак. Едва можно было различить окна. Шермек лежал на кровати в своей комнате. Он был весь в поту и чувствовал себя разбитым. Хотел было повернуться на другой бок, но кровать под ним закачалась, отчаянно заскрипела, а едва успокоившееся сердце опять забилося мелкой дрожью.

Он полежал еще некоторое время, погруженный в дрему, почти не ощущая себя, ни о чем не думая. Потом все же окончательно проснулся и начал вспоминать свой сон. Вереницей проплывали перед ним события последних дней. И чем больше он вспоминал и раздумывал, тем явственнее чувствовал: тиски

неумолимо сужаются, и черные тучи опускаются над его головой все ниже. Никогда не предполагал Шермек, что очутится в таких переделках, окажется вдруг на распутье, когда впору хоть головой биться об стенку. Был он всегда везучий, удачливый и считал – и не без основания, – что он самый счастливый человек на свете...

Еще несколько дней назад эта уютная комната с двумя окнами и кроватью казалась Шермеку земным раем. Развалившись в постели и мысленно обозревая свою прошлую жизнь, он пришел тогда к выводу, что в прожитых годах – правда, еще недолгих – не было ни одного дня, который вспоминался бы им с досадой или с сожалением. Едва выйдя из утробы матери, он попал в мир, где не было ни забот, ни горя, в тот самый радужный мир, о котором говорится, что со всех четырех сторон его подпирает удача. Он был отпрыском состоятельного рода, сыном бая, известного коннозаводчика. Он учился в русских школах, носил узкую изящную одежду с блестящими пуговицами. А потом все повернулось. Но и тогда счастье не покинуло Шермека, наоборот, стало везти еще больше: он стал ярым и видным националистом. Его всюду привечали, никто не осмеливался ему возражать... Позже, когда укрепились Советская власть, в аулах прошел слух, что, дескать, все, Шермеку каюк, больше ему не высунуться. Но просчитались доморощенные пророки. Сплетня заглохла, а он перебрался на советскую работу, обзавелся дружками, с их помощью пролез в партию... И до сих пор все у него шло тихо-мирно. Был он ловким, вертким и изменчивым, как ветер. То справа заходил, то слева. Иные из приятелей даже завидовали ему. «Ай да Шермек! – говаривали. – Никакой шайтан его не возьмет».

А сегодня Шермек был похож на бахсы-шамана, которого покинули вдруг его верные духи. Будто кто-

то подсек его, подшиб, разом лишил его все-сокрушающей уверенности, отнял возносившее его к облакам счастье. Вчера его комната, такая приглядная, разукрашенная, казалась укромным райским уголком, а сегодня она зияла, словно зев дракона, готовящегося проглотить его живьем. Даже черноглазая гибкая красавица, его радость, мед и заря его ночных усад, потускнела, точно кукла, и стала неживой и бездушной. А всегда спокойное, неомрачимое ничем сердце билось судорожно и болезненно. И к горлу подкатывался душный ком.

«Апырмай, что делать? Как спасти отца?» – вновь и вновь спрашивал себя Шермек. Так лежал он, покусывая губы, не в силах ни сосредоточиться, ни собраться с мыслями, не зная, что делать. А надо было что-то предпринимать. Надвигались лихие времена. Приходилось рукой махнуть на законы, честь, совесть и вытаскивать родных из беды. Не то – гибель...

Только теперь, когда он принял это решение, сумятица в голове улеглась. Он соскочил с кровати, включил настольную лампу. Мысль о необходимости срочно действовать подхлестывала его, наполняла все существо неведомой яростью. Глаза его гневно щурились, скулы обострились, уголки рта нервно подрагивали. Потом гнев сменился обидой, он надулся. Слова и мысли бурлили в нем, как вода в половодье. Он сел за письменный стол и взял ручку. «Отец!» – вывел он в верхнем углу листа, подчеркнул обращение, а потом уж застрочил, почти не отнимая пера от бумаги...

...В полдень с холма Тасыбай спускались трое верховых. В низине, на самом берегу реки, расположился аул. Юрты стояли ровным рядом; над ними косо струился сизый дымок. Аул был зажиточный: в глазах мельтешило от множества людей и скотины.

Да, на тучных выпасах скота было видимо-невидимо! С косогора к водопою тянулось стадо коров; здесь и там ходили отары овец; от реки к верховью лавиной, точно боевая конница, мчался табун лошадей; пыль клубилась из-под копыт и тучей вздымалась над косяками; жеребята и стригунки взбрыкивали и играли, словно расшалившиеся дети. Двое табунщиков, волоча сбоку березовые куруки¹, скакали рядом, строго покрикивали на строптивых неуков, непослушных кобылиц-трехлеток, не давали разбредаться, отколоться от табуна молодым меринам...

– Что ни говори, а краса степи – скот! Вот на аул Алимбая, когда он еще был в силе и славе, любо было смотреть. А теперь? Скота лишился – и вида никакого... Убожество и нищета...

И один из верховых, спускавшихся с холма – был он чернолицый, с подстриженной бородкой, – грустно покачал головой и вздохнул.

Звали его Кожан, и такого ловкача, проныру и краснобая, с молодых лет отиравшегося возле баев, еще поискать надо было. А в середине на темно-рыжем иноходце ехал сам бай, Сейпен, – рябой, рыжеватый, тугобрюхий старик. Это его юрты сверкали и лоснились под солнцем. Это его несметные табуны и стада паслись на безбрежных пастбищах.

Сейпен молчал, привычно оглаживая иноходца плетью. Раньше он вроде не замечал своего огромного богатства, просто как бы не обращал на него внимания. А сегодня же не смог оторвать глаз от всего этого байского благолепия, и чем больше он смотрел, тем тяжелее становилось у него на сердце. Неведомая, непонятная тревога охватывала его, подтачивала, грызла душу. Он тяжело вздохнул.

¹ Длинный шест с петлей на конце, приспособление для ловли необъезженных лошадей.

– Эх, Кожан, Кожан... Смутная пришла пора.

Он покачнулся в седле, и иноходец под тяжестью этой огромной туши зашатался и сбился с ходу. Сейпен недовольно подергал поводья и вытянул коня плетью.

– Верно говорите: дурные времена настали, – подхватил слова бая Кожан. – Испортился народ. Каждый норовит напакостить. Ни уважения к старшим, ни почтения к предкам. Да и чего доброго можно ожидать, если сын Даукары, недавний батрак ваш, теперь сам в начальниках ходит, людьми правит?! Чуть что – хайло разевает, мерзавец. Вот ваш Шермек тоже ведь партийный. А когда в аул приезжает, так никого не задевает, ни к чему не придирается, а шутит, смеется, как равный...

Сказал и пригорюнился, вспомнил, наверно, как беспокойно стало в аулах, как шумят объединившиеся голодранцы, как в глаза, не смущаясь, называют его байским прихвостнем, паразитом. И особенно точит на него зубы сын Даукары – Султан. Житья не дает. До сих пор, однако, Кожан продержался. Рябой старик ему надежная опора. Он и впредь, пожалуй, не оставит приятеля в беде. В прошлом году Султан со своей шантрапой попытался было его, Кожана, посадить за взяточничество, но стоило рябому старику один раз съездить в город, как дело тут же заглохло. Кожан с благодарностью посмотрел сейчас на своего благодетеля Сейпена и про себя подумал: живи еще много лет, старик. Сейпен, нахлобучив на лоб войлочную шапку, молчал. Его тяжелая челюсть отвалилась. Он думал.

Они ехали по склонам бугра, и мимо них пронесся табун. Длинной цепью протянулся он по степи. Сейпен подозвал к себе табунщика.

– Дорогой, будь внимателен, – сказал он. – А то, говорят, тут волки и воры появились. Смотри ночью в оба. Уж днем отоспишься.

– Да как же это не спать ночью? – возмутился молодой суровый табунщик. – Этак и сдохнуть недолго.

Он ударил лошадь по бокам пятками и промчался мимо.

– Ты глянь-ка на этого пса паршивого! – возмутился Кожан, глядя ему вслед.

– Что поделаешь? – покорно заметил Сейпен и пустил коня в сторону аула. – На все божья воля...

Когда бай вошел к себе в юрту, старшая жена, Жамалбайбише, сливала кобылье молоко вечерней дойки в огромный лоснящийся бурдюк, а их работник Туткыш готовился мешалкой взбалтывать кумыс свежей закваски.

– От Шермекжана письмо, – сообщила байбише и полезла в карман. – «Пустомеля» из города привез. Велел только тебе передать... На, читай...

Едва прочитав первые же строки, Сейпен насупился и побледнел. А дойдя до середины, выронил письмо, – у него задергались щеки, и он заплакал.

...В огромной многостворчатой юрте было сумрачно. От порога до почетного места громоздились тюки, сундуки в узорах, скатанные дорогие ковры и разные драгоценности. А в середине на ворсистом волосатом ковре, постеленном поверх кошмы, сидел, вытянув ноги, упираясь обеими руками, растерянный, убитый новостью сына бай Сейпен. Голова его упала на грудь, по бороде текли слезы. В этот миг он ничего не понимал, не соображал, где он и что с ним. Он только чувствовал, как вспыхнувший вдруг в нем жуткий огонь пожирает его...

– О, боже!.. Что с тобой?! – ужаснулась Жамалбайбише.

– Не спрашивай, жена! Конец нам... – выдавил сквозь рыдания Сейпен.

III

К обеду новость облетела весь аул. Ее рассказывали друг другу, передавали из уст в уста, и она обретала все более и более причудливые очертания.

– Говорят, теперь в аулы нагрянут отряды...

– Говорят, весь скот отбирать будут...

– И еще, говорят, дочерей налогом обложат...

– Турсун рассказывает: зашел к баю, а байбише его сидит заре-е-еванная. «Пейте, говорит, кумыс, сколько влезет. Все равно, говорят, врагу достанется...»

– Брось... Чтоб вдруг Жамал-байбише расщедрилась – ни за что не поверю.

– Жамал и подыхать будет в обнимку с бурдюком...

Подобные слухи-кривотолки ползли, разрастаясь, над каждым домом. Расторопные бабы у колодцев, старики и старухи у очагов толковали их на разные лады. Но все толкования были поверхностны, никто не мог проникнуть глубоко в суть неожиданной вести, а иные суждения и вовсе находились далеко в стороне от круга предстоящих событий.

Во всем ауле был один человек, совершенно безразличный к слухам и праздной колготне, – Куандык. Он обычно сидел, скрестив ноги, на полуистлевшем потнике у входа в юрту и с утра до вечера тюкал и тюкал топориком, что-то мастерил, что-то вырубал из дерева, и заскорузлая куцая шуба при этом привычно топорщилась на нем. Сегодня и он был явно взбудоражен. Сунув топор за белдеу – волосяной аркан, опоясывающий юрту, – он обвязался поверх шубы обрывком бечевы, словно собрался куда-то по срочным делам. Никуда, однако, он не пошел, а только топтался вокруг потника, озираясь по сторонам, подзывал к себе случайных прохожих и нетерпеливо спрашивал: «Что нового?»

Накинув на локоть клок растеребленной шерсти, крутя на ходу прялку-юлу, вышла из дома соседка Батима, Куандык обрадовался.

– Эй, Батима! Будь ты неладна, подойди-ка сюда!

Жена Куандыка выскребала казан. Услышав голос мужа, высунулась на миг из двери, вся растрепанная, чумазая, полоснула его сердитым взглядом и с пущим рвением принялась скрести.

Батиме было лет под сорок, но бабой она оставалась манерной, игривой. И сейчас, точно молодайка, она кокетливо повернулась, вскинула брови и игриво воскликнула:

– С чего бы я вдруг тебе понадобилась, а?

И Куандык захитрил. Он спросил смиренно и почтительно:

– Да что ты, красавица? Когда это бывало, чтоб я в тебе не нуждался?

– Э, оставь... Тебе бы только языком трепать.

– Слушай, ты ведь к баю ходила? Что байбише говорит?

– Ревет байбише. Глаза от слез опухли... Зашла, значит, я, а она не съежилась, как прежде, не сжалась, а раза два взболтнула бурдюк и нацедила для меня полную чашу кумыса.

– Да не о кумысе речь! Ты лучше скажи, что она говорит...

Куандык еще ближе придвинулся к соседке.

– Ничего не говорит. Молчит... Ну, а мне расспрашивать неудобно. Выпила я кумыс, а она опять за бурдюк хватается. Дай, говорит, еще налью. А я, как назло, утром топила масло, наелась соленого вытопа и надулась сдуру шалапу¹... Замутило меня от поганого пойла. У земляной печки увидела Несибель, жену табунщика. «Что это, – спрашиваю, – байбише плачет?» – «А, – говорит, – беда, должно быть, какая. Со

¹ Напиток, смесь воды с кислым молоком.

вчерашнего дня как с ума посходили. Ночью из соседних аулов аксакалов пригласили и до утра о чем-то советовались. Что говорили – не слышала». Правда ли, брехня ли – кто знает? Только, по-моему, что-то стряслось.

– Значит, аксакалов пригласили, говорит?

– Да.

– Ну?.. Потом что?

– Ну и все...

– Тьфу, провались! Раз уж начала говорить, надо было все вызнать.

– А зачем? Меня сплетни не волнуют. Это вам, мужикам, в каждую дырку нос совать охота.

Ничего путного так и не добился Куандык от Батимы, только еще больше распалила она его любопытство. Он постоял, покачался и решительно махнул рукой:

– Ладно. От тебя, вижу, толку нет. Пойду-ка к Арыстану.

Спотыкаясь о каждую кочку, тыкаясь березовым посохом, заспешил он к Арыстану. В дом его битком набились аулчане. Все выставились на хозяина, а он аж млел от собственного красноречия.

– А дело, если хотите знать, вот в чем – услышал Куандык, едва переступив порог. – У всех баев поголовно соберут скот, а самих вышлют куда подальше.

– Апырмай, какой ужас!

Гладколицый смуглый малый даже подскочил от удивления.

– Вот оно что! Неспроста, значит, Жамал-байбише так убивается, лицо себе царапает...

– Эй, эй, скажите, за какие грехи у баев скот отнимать будут, а?!

Еще один, рыхлый, раздутый, как жаба, глаза выпучил.

– Спрашиваешь! За то, что обжуливали нас, за то, что нашим горбом скот себе добывали.

– Хе, сказанул! – возмутился пучеглазый. – Кто из вас зазря на Сейпена горб гнул? И кого из нас Сейпен силком заставлял на себя работать, а?

– Оставьте это! – Куандык протолкнулся к Арыстану, плюхнулся рядом с ним. – Ты ответь мне: что со скотом делать будут, который отберут у баев?

– Думаешь, тебе отдадут? – усмехнулся кто-то. – Казне все достанется.

– А вот и не так, – важно заметил Арыстан. – Байский скот передадут в артель и разделят между бедняками.

– Ай, вряд ли? Сомневаюсь!

– Конечно, откуда бы дармовому добру на дороге валяться?

– Не особенно рты разевайте, – вдруг сказал горбоносый Шаупкел. – Сейпен ведь тоже себе на уме. Ночью он собрал аксакалов и договорился раздать весь скот им на хранение. Косяк вороного жеребца уже сегодня отогнали в табун Танатара. Об этом мне сам табунщик сказал. А аулнай бумагу подсунул, дескать, часть скота принадлежит сыну, которого бай, мол, отделил недавно. Шермек в городе тоже небось не дремлет. Недаром отцу письмо прислал с советами.

И, сообщив это, Шаупкел важно поглядел на Арыстана. Весть его выслушали, затаив дыхание.

– Да, так оно и есть скорей всего, – удрученно закивали одни.

– Конечно, во всей округе не сыщешь начальника, с которым бы не снюхался Шермек, – поддержали их другие.

– В городе, стало быть, у Шермека есть рука, а в аулах сам Сейпен – голова. Подарит он аксакалам по коню, а те и рады пиргеур¹ подписать. Дескать, Сейпен хороший, не обижайте его.

¹ Искаженное – приговор.

– То-то и оно! А городских обвести вокруг пальца – раз плюнуть. Сунь им под нос бумажку с печатью, они только затылки поскребут и айда назад.

Куандык вдруг расвирипел:

– А кто пиргеур даст? Я, что ли?! На, выкуси!

Арыстан тоже вспылел.

– Ну и пустобаи же вы все! Чуть что услышат – разнесут, раздуют, черную тоску наводят. Это же вздор! Как может бай свой скот упрятать? Как аулнай свою печать поставит? А мы что, глупые, слепые, немые? Мы что, молчать будем, если бай скот угонит, фальшивую бумагу раздобудет? Не сможем доложить, куда надо? Разве не опозорится он вконец, если мы его разоблачим и сообща докажем, что бай – вор и жулик?!

– Ойбай-ай, для этого ведь нужно, чтобы все бедняки были заодно!

– А что мешает объединиться? На прошлых выборах не мы разве провалили Сейпена вместе со всеми байскими прихвостнями? А нынче, когда делили землю, не мы разве вышвырнули его, отобрав все пастбища? Что это, по-твоему, не единство?!

– Ладно, ладно, объединяйтесь, отбирайте, мое дело – сторона, – сказал Шаупкел и отвернулся.

– Арыстан правильно говорит! – подал голос и Куандык. – Ты, Шаупкел, вечно не в ту сторону прешь, все тебе не так.

– Эй, Куандык, ты-то куда суешься? – Дородный Искак, точно бугор, возвышался в углу. – Нам с тобой на кой черт нужны людские пересуды? Наше дело – телеги чинить да на житье-бытье подработать.

– А почему бы не соваться? Если у Сейпена будут отбирать скот, я в стороне не останусь, пусть хоть провалится телега! Он что, мало пользовался моим трудом? Да я его возьму за шкуру! Пусть только попробует скот прятать!

– Ай, Куеке¹, молодец! Когда делили землю, ты немало старался и теперь докажи им, на что способен...
– Арыстан весело загоготал.

Куандык, довольный похвалой, встрепенулся, просиял весь.

– Дорогой Арыстан, скажи-ка честно: и в самом деле отберут у бая скот?

Черный верзила, обросший дремучей бородой, двинулся к Арыстану, и все расступились, как бы решив про себя, что без него, конечно же, не обойдется. А верзила помолчал, погладил задумчиво бороду и лишь потом заговорил:

– Ну если за это дело возьмется власть, то Сейпену не сдобровать. Полетит бай вверх тормашками. Вряд ли еще кто столько гнул спину на него, как я... Чего только не перетерпел?! С детских лет у него в услужении. И побоев сносил немало. Сказать по правде, и до сегодняшнего дня я еще не избавился от него, по-прежнему задарма на него жилы рву. Разве о всех мытарствах расскажешь? Ну, вот в двадцатом году надумал я зажить самостоятельно. Ушел, значит, от Сейпена. Он, конечно, выверился, лютовал. А в двадцать первом – голод, какого свет не видывал. С голодом, известно, шутки плохи. Поплелся, значит, к Сейпену, в ноги ему бухнулся. Помоги, дескать, подсоби харчами, жив буду – в долгу не останусь, сполна отработаю. А он, собачья душа, развалился на одеялах, на подстилках, сложенных вчетверо, руки-ноги даже не подбирает, вроде бы не видит и не слышит меня... Говорят, сын его, Шермек, теперь коммунист, в чинах ходит. Если власть принадлежит нынче беднякам, то никак в толк не возьму, какое отношение к этой власти имеет Шермек. Убей меня – не поверю, что Шермек за бедный люд заступается, душой за нас болеет.

¹ Уважительная форма имени Куандык.

Ничего тогда я у Сейпена не выклянчил. А Шермек книжку читал, прислонившись к печке. Ну, думаю, попробую разжалобить сынка байского. И что вы думаете? Тонко усмехнулся Шермек, процедил сквозь зубы: «Умрешь, разом от долгов избавишься! А безгрешным на том свете поблажка...»

– У волчонка и повадки матерого волка.

– Удивляюсь, как этот Шермек стал коммунистом?!

– Пролез, значит, втихаря. Бедняком, должно быть, прикинулся. Ничего, и до него доберутся. У трудового народа сейчас сознание растет, глаза открываются все шире. Он уже может отличить врага от друга. Канпеске¹ эта вовремя началась. Многим личину сорвут, многих бедняцкий суд перетряхнет.

Арыстан повеселел. У Куандыка возбужденно блестели глаза, щеки покраснели, он весь был во власти волнения, благородного душевного подъема.

– Вот, вот! Так им и нужно! Хоть отомстите за нас всем этим баям! На кого же нам еще надеяться, как не на вас, бедняцких коммунистов?!

– Чтобы отомстить баям и изгнать их из нашей среды, нам, беднякам, нужно крепко объединиться. Вы на это согласны? – спросил Арыстан.

– Согласны!

– Если мы будем едины, будем верными помощниками партии и власти, мы с любым делом запросто справимся. Запомните это!

IV

Вскоре приехал уполномоченный из района. От него многие в ауле впервые услышали грозное слово – «канпеске». Теперь оно было у всех на устах. Для большинства аулчан оно звучало приятно, как нечто

¹ Искаженное – конфискация.

родное, близкое. Даже босоногая малышня с радостью шлепало губами: «Канпеске, канпеске». И смысл его стал всем понятен. За несколько часов новое слово заняло прочное место в повседневно-обиходной речи аулчан. За уполномоченным всюду шли толпой. Те, что оставались дома, мгновенно узнавали все новости через посредников.

– О-хо-хо... Дурные настали времена, – вздыхал древний, весь сгорбившийся под тяжестью лет старик, прислоняясь спиной к стене. – Чего только не приходится слышать?..

Рыжий шелудивый кобель присел на задние лапы у обочины дороги, вскинул морду, завыл удрученно, тоскливо. Старик-горбун сердито прищипнул на пса:

– Ты тут еще! А ну заткнись. Не накликай беду!..

Кто-то едко рассмеялся:

– А если накличет, пусть она обрушится на голову Сейпена.

И в самом деле, вслед за воем рыжего кобеля всплыл над аулом горький, пронзительный плач. Люди вздрогнули, прислушались.

– Оу, что такое?

– Кто это?

– Кажется, это голосит байская байбише, – заметил, улыбаясь, Куандык. – Долго теперь ей, бедняге, выть...

Все переглянулись. У некоторых на лице застыло явное недоумение: «Так как же – радоваться этому или горевать?»

...Чинным рядком выстроились три белые нарядные юрты. Чуть поодаль стоит еще одна – приземистая, продырявленная, прокопченная. За ней сидит лицом к западу – в сторону священной обители пророка – брюхастый, точно кадушка, Сейпен. Голова его понуро опущена на грудь... Глаза и лицо опухли. На жидкой бородачке блестит одинокая слезинка. К бедной юртчонке спиной привалилась непомерно раз-

давшаяся, словно надутый до отказа турсук¹, байбише. Рыхлое лицо ее исполосовано, исцарапано. Вся она почернела от злобы и горя. Глаза налились кровью. Кажется, она и видит все вокруг лишь смутно, как в тумане. Видно, вспоминала байбише покинувшее вдруг ее благополучие, улетевшее счастье, обрушившееся, точно черный камень с неба, горе, которое оглушило ее, как рыбу в паводок. Вздыхает байбише, да так тяжело, так горько, будто грудь ее при этом разрывается.

– Старик, от Шермекжана нет вестей, что ли? Он ведь столько учился, давно уже в люди выбился, неужели не может помочь нам в беде?

– Что ты, старуха!.. Какая там помощь, когда его самого сейчас преследуют. «Байский сынок», – говорят. Письмо, которое он написал мне в последний раз, и то попало в руки этим негодяям. Они его в суд передали... Что теперь о нас горевать? Молись за сына, старая. Другой опоры у нас не осталось...

От обиды и злости затрясся Сейпен, заплакал.

– Я разве мало молюсь? Отвернулся ведь от нас этот старый хрыч на небе! Не внимает мольбам моим! – вскрикнула в раздражении байбише и тоже залилась слезами. Казалось, сейчас она самого создателя разорвала бы в клочья, попадись он только ей в руки.

Возле белых юрт народ кишмя кишит, как на базаре. Одни заходят, другие выходят; все оживлены, возбуждены; разговаривают громко, пошучивают, похохатывают.

– Ну, Арыстан, говори!

– А что говорить? И скот, и вещи – все нашли, все на месте.

– Значит, Туткыш все правильно указал?

– Все как есть.

¹ Посуда из козлиной шкуры, обычно для кумыса.

– Молодец, Туткыш! О тебе я в район напишу. Пусть знают! – Уполномоченный похлопал Туткыша по плечу. Тот, польщенный, разулыбался, расцвел.

– Эй, где же Несибель?

– Здесь я.

– А ну, давай, подсаживайся к бурдюку, побултыхай да перебалтывай расписным половником кумыс! И не робей, когда власть в твоих руках!

Несибель неуверенно подседа к бурдюку и схватилась за мутовку. Чувствовала она себя, однако, скованно, видно, ей было еще невдомек, как можно пить байский кумыс без разрешения байбише.

Когда собралось достаточно много народу, тогда решили открыть все сундуки и пересчитать все драгоценности. В руке Несибель позванивала большая связка ключей. Ловко развязали тугие веревки, которыми были перетянуты кованые, инкрустированные сундуки, отомкнули замки, стали извлекать и складывать на середину дорогие, редкие вещи. В одном из сундуков Несибель наткнулась на рыжую полосатую шубу, которую когда-то отец Сейпена, знаменитый бий Жантай получил в награду от самого батюшки-царя. Жена табунщика держала роскошную шубу за воротник на вытянутых руках перед собой, словно окаменев от изумленья.

– Смотрите: рыжая полосатая шуба!

В юрте поднялся гул. Туткыш вскочил, бросился к Несибель, осторожно взял из ее рук шубу, повертел ее туда-сюда и вдруг устоялся на уполномоченного, заискивающе улыбнулся.

– Ты что? Сказать что-то хочешь?

– Нет! Я... хотел бы... в этой шубе пройтись разок... по аулу.

– Валяй, Туткыш, покрасуйся!

– Лезь в царскую шубу. Пусть горит нутро бая от зависти и злобы, – развеселились все в юрте.

Туткыш надел шубу, прицепил золотую медаль. Глаза его сияли, губы расплылись в счастливой улыбке. Из-под шубы высовывались прохудившиеся, сбитые сапоги, на голове торчала засаленная, изодранная ушанка. Широко, важно ступая, он прошел мимо бая и байбише, одиноко сидевших за прокопченной юртой. Сейпен взглянул на него мельком и тут же опустил глаза. Лицо у байбише стало серым, она так взглянула на Туткыша, словно хотела испепелить его. Туткыш обернулся, вежливо спросил:

– Что так смотришь, байбише?

– Смотрю, какой ты щеголь!

– А что, вам идет, а мне – нет, думаешь?

– Щеголяй, щеголяй! Нынче у голодранцев праздник. – Байбише скосоротилась и отвернулась.

Торжественно вышагивал по аулу Туткыш в рыжей полосатой шубе, за ним тянулась любопытная толпа баб и детей.

– О, господи! Вон она, оказывается, какая шуба! – воскликнула пожилая рыжеватая баба. – Ее наш бий ата от царя получил!

– Э-э, сношенька, уже двадцать лет, как меня выдали в этот аул. Про эту шубу все уши мне прожужжали, но только сегодня, наконец, ее вижу. Хрычовка-байбише, бывало, и близко к себе не подпускала, как лошадь, фыркала... Еще мало ей, мало!

Мужеподобная, горбоносая, чумазая баба, заправляя под жаулык¹ нечесанные космы, покачиваясь, протиснулась в толпу мальчишек...

– А говорили, шуба заколдованная, – заметила молодуха. – Кто ее тронет, того духи накажут. Почему же Туткышу ничего не делается?

– Подожди, еще доиграется. И чего он, глупец, в нее вырядился?

¹ Головной убор замужней женщины.

– Да ну, вздор это! Шуба – она и есть шуба! Это просто нас, дураков, пугают: «Заколдованная», «Духи-аруахи...» На самом деле ни черта нет.

– Конечно, болтовня! Иначе пора бы этой нечистой силе показать себя!

Пучеглазая черная баба решительно ринулась к Туткышу, вцепилась в пышный воротник шубы.

– Да постой ты, трепло! Дай разгляжу хорошенько.

– Ну, смотри! Сколько хочешь – смотри. От тебя я ничего не утаю, – отрывисто, громко расхохотался Туткыш.

– Вот-те раз! А я-то думала, что такое блесит? А это – золото!

– Шешей-ау¹, что тут нарисовано?

– Царская голова, – объяснил Туткыш.

– Что ты говоришь?! Дай-ка посмотрим, какая она бывает, царева голова-то, – накинулись, загалдели со всех сторон бабы.

Весть о рыжей полосатой шубе мгновенно всколыхнула аул, и вскоре возле Туткыша собрались все: от мала до велика.

Морщинистая старуха, крутившая возле убогой серой юрты прялку-юлу, посмотрела на необычное шествие, всплакнула и принялась поспешно вытирать широким рукавом платья слезы.

– Чего плачешь, мать? – участливо спросил Куандык.

– Э, дорогой мой, не к добру это, не к добру... Святая ведь шуба, не простая. Боюсь, накажут нас, ох, накажут духи предков за наши грехи...

И Куандык расхохотался до коликов в животе.

В этот день в ауле все и всюду только и говорили о рыжей полосатой шубе, золотой медали с царской головой, байской скотине и о байбише, которая голосила, точно покойника оплакивала.

¹ Обращение молодых женщин к старшей.

...Ночная мгла окутала весь мир, аул погрузился в безмятежный сон. И только одна Жамал-байбише, неутешно плача, просидела всю ночь на пороге дырявой юрты, обхватив себя за круглые бока.

V

– Что, собирается ехать?

– Уже собрался!

Запрягая ленивую чабанскую гнедуху в арбу, сложив немудреные пожитки, Сейпен с семьей готовился к отъезду. Обычно в таких случаях устраиваются пышные проводы, собираются все соседи, говорят добрые напутственные слова, суетятся, помогая грузить вещи, расторопные джигиты. Сегодня не было ни тех, ни других. Все отвернулись от Сейпена, словно забыли, что он навсегда покидает аул. Ну, может, и не забыли, но не придавали этому событию никакого значения.

Упираясь грудью в белый посох, долго сидел на корточках возле арбы Сейпен, в невеселые думы погруженный. Будущее находилось во мраке. Куда его высылают? Что там за люди? Встретят ли они Сейпена как гостя, с истинным казахским радушием? Или тоже отвернутся, спиной к нему станут, как неблагодарные аулчане? Думал-думал Сейпен и расплакался:

– Э, какой там! Тех дней уже не вернешь. Тут сородичи – родные, близкие – изгоняют, а в чужой стороне я и подавно никому не нужен. Все, все пропало.

Байбише, отрешенная, сумная, свернулась на тюках. Подошел, пошатываясь, сын. Вид жалкий, плечи опущены.

– Ну, что?

– Не поеду, говорит.

– А токал?¹

¹ Младшая жена.

– Токал тоже...

Байбише точно подбросило. Опять проснулась в ней буйная злоба.

– Ну, токал, понятно, – вражина. Но Маржан-то ведь моя родная дочь! Кровинушка! Разве не я ее вскормила, вспоила? Разве не наряжала в шелка и бархат? Мало мне горя, так она, негодница, совсем доконать меня хочет?! Да лучше бы я подохла, чем такой позор видеть, ойбай, ойбай!

И байбише начала бить себя кулаком по лбу.

– Брось, горемычная, уймись, – сказал Сейпен и медленно поднялся, опираясь на посох. – Не подохнешь, пока все муки не изведает. Айда, садитесь!

Гнедуха нехотя пошла. Старая колымага качнулась, заскрипела. Поехали по бездорожью. Сейпен оглянулся, глухо проговорил:

– Прощай, край родной... Прощайте, люди...

И задохнулся от слез, не договорил, согнулся, будто переломился.

– Не реви, – сказал Куандык. – «Край родной» тебя ждет впереди. Катись...

Одинокая арба, поскрипывая, удалялась, и пока она не исчезла за перевалом, аулчане, стоя возле своих юрт, смотрели ей вслед. Старики, старухи вздыхали:

– Ну вот... уехали!..

...Молодцевато приосанившись в богатом седле волостного правителя, небрежно покачиваясь, направил Туткыш темно-рыжего байского иноходца в сторону пастбища.

– Эй, Туткыш, куда путь держишь?

– Скот пригоню с выпаса, делить будем!

Толстой короткой плетью хлестнул он темно-рыжего по крупу, и из-под копыт иноходца густо вс клубилась пыль.

1928 г.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Несколько страниц из дневника аульного учителя)

До чего же способный мальчик Бахит! Пожалуй, даже взрослые не так усидчивы, как он. Все схватывает и запоминает на лету. Такие, как Нуркан, хоть и сидит рядом, по сравнению с ним – просто пень.

Да-а... надо бы Бахита в городскую школу отправить, но отец по рукам и ногам связал сынишку. За скотом, говорит, присматривать некому...

Вчера я Ахату, Нуркану, Сапару дал письменное задание. Ахату посоветовал описать нашу школу. Сегодня они принесли свои работы. Вот что написал Ахат:

«...Прихожая дома Алеке. Тесная комнатенка. Одна из дверей выходит в гостевую, другая – во двор. Наружная дверь закрывается неплотно, а потому снизу намерз лед, а по прихожей гуляет пронизывающий ветер... Рядом с дверью в гостевую стоит длинная печка с вмазанным котлом. Подле навалены зола, кизяк. Тут же как попало валяются чумазные ведра, тазик, кумган... Что там говорить: несусветная грязнуля и неряха – Алтынай...

Окошко одно-единственное и то наполовину разбито. На его место прибили фанерку. Другое стекло треснуло, и щель заткнули сопревшей кошмой и тряпьем. Неужто нельзя было придумать что-нибудь получше? Эх, Алтынай, не выйдет из тебя толка...

Мы сидим вокруг круглого столика. Мое место как раз возле печки, у входа. С Алтынай спиной к спине. Боже, какая она неумеха! Достанет чайник или поставит в печь сковороду с лепешкой – копоть, пепел

тучей поднимаются к потолку. И хоть бы что ей! Обожжет невзначай палец о сковороду, я же виноват. Толкнет меня, как бешеная, и еще кричит: «Отодвинься, остолоп!.. Все равно из тебя мулла не выйдет, а выйдет – так не тебе по мне поминальную молитву читать!..»

Пожалуй так, как Ахат, и взрослые не напишут. В нашей Талкаинской волости более двадцати учителей, большинство из них не то что описать свою школу, простое заявление написать не смогут. В прошлом году, на съезде учителей, надо было подать прошение в волость, попросить о материальной помощи. Так некий Кусаин попросил кого-то сочинить прошение, а сам с горем пололам лишь переписал его.

А среди ребят попадают очень способные. Им бы только помочь вовремя, раскрыть. Да наставники уж больно у них слабы. Вот тот же Кусаин... Ну каков прок от его учений?..

Приходил бай Алеке, нахмурил брови, потребовал немедля внести плату за школьное помещение. Видно, придется обратиться в школьный совет и что-то дать этому псу ненасытному. Скота у мерзавца столько, что управиться с ним не может, а за прокопченную прихожую требует плату! А еще страшней, чем бай, – Алтынай. Если она узнает, что за помещение не уплачено, начнет греметь посудой, швырять золой, никому учиться не даст.

Ладно... пойду-ка к председателю школьного совета, попрошу немного денег для нечестивца-бая...»

«10 марта.

Сегодня я наведалься к Ереке. И он, и жена его – душевные люди. Засуетились, захлопотали, не знали, куда меня и усадить. Сам хозяин – работяга. Всю жизнь сапожничают. Когда бы ни пришел к нему,

вечно что-то мастерит, шьет, вокруг лежат ворохи разных клочков и обрезков. Жена сучит жилые нитки, дратву готовит. Ереке – самый что ни есть голоштаный бедняк. Дома пусто, глазу не за что уцепиться. У стенки напротив двери валяются две шкурки. На них играют, сверкая голыми пузами, дети. Всю жизнь шил Ереке людям сапоги, а сам и скотиной не обзавелся, и детишек не одел, не обул. Значит, не получилось. Значит, крепко подружился с нуждой.

Безответный он, Ереке, добрый очень. Попросят его что-то сделать, никогда не откажет. Сам шьет, жена из сухожилий дратву вьет. Платить ему никто не платит, и сам он не попросит. Разок мясом накормят, в другой раз на чай пригласят, маслом угостят, ну и ладно. Тем он и доволен. Не раз приходилось мне слышать, как доставалось ему от жены:

– Ну, зачем ты на бая спину-то гнешь?! Он тебе ведь даже спасибо и то не скажет. Придешь летом к нему – и кумысом недобродившим не угостит...

Это верно: всю байскую родню Ереке обшивает, а разу даже медного пятака не получил. Я намекнул ему как-то:

– Можно через суд востребовать плату.

Ереке отмахнулся:

– На что мне их плата? Надо довольствоваться милостью аллаха.

А жена буркнула:

– Вот, вот... всегда он так...

Бездельники любят околачиваться возле рабочего человека и чесать языками. У Ереке тоже каждый божий день собираются люди. Когда я захожу к сапожнику, они обычно мигом переменяют разговор и начинают подзадевывать меня. И на этот раз Тышканбай заушмылялся:

– Что, учитель, детей распустил и теперь небось гуляешь? Боюсь, сбежишь ты нынче из байского дома, а?..

Под байским домом он подразумевает, конечно, школьное помещение. Это стало его привычкой – затевать разговоры про школу при встрече со мной. Я в долгу не оставался, сразу обрушивался на Тышканбая.

– Помнится, всю зиму вы усердно мололи языками, что, дескать, надо летом школу строить. Вот уж и весна наступила, что ж обещание-то, а?

Тышканбай всерьез задумался.

– В самом деле, пора! По горло сыты байской милостью. Пусть он провалится вместе со своей прихожей. Давайте возьмемся за это дело сообща.

– Сообща – это хорошо. Сообща все можно. В одном нашем ауле, помимо баев, более двадцати дворов. И у всех дети. Если всем собраться – в два счета обтяпаем, – поддержал его Рахмет.

Заговорили все.

– Если вы поставите стены, крышу возьму на себя! – заявил Ереке и с такой яростью натянул дратву, что она лопнула.

– Вот, вот... всегда он так... – с укоризной заметила его жена, ей было жалко нитку.

Из двадцати бедняков аула эти, пожалуй, самые деловые, толковые. Если они возьмутся всерьез, могут запросто новую школу поставить. Надо мне, наверно, еще поднажать на Тышканбая. Я его приучил читать «Аульные новости». Поговорю с ним еще раз о школе. Детей, конечно, распустили до нового учебного года, но это вовсе не значит, что аульному учителю нечего делать. У нас, можно сказать, нет еще ничего. Надо позаботиться о будущем. Надо, чтобы люди сознательно помогали учителю воспитывать их детей.

Говорят, аулнай приехал к баю. Пойду узнаю, какие новости он привез».

«20 апреля.

Апырмай, с этим аулнаем сплошные недоразумения! Ни разу не выдал он мне газеты, как положено. Дает через номер. И так все время. Иногда присылает мне целую кипу, даже не разобрannую, на весь аул. Чьих только газет нет в этой кипе! Попробуй разбери их так, чтобы всем хватило. Как будто других забот у меня нет...

В одном номере была большущая статья, озаглавленная «Селькоры должны писать правду». Не знаю, как другие, но я лично пишу одну только правду. Но – честно говоря – толка от этого пока не вижу. В прошлом году, к примеру, я написал о Рахимжане, который избил своего батрака и, не расплатившись, выгнал его. Писал еще о самоуправстве Кокбасов, которые незаконно отобрали у вдовы скот. И еще о Медеубае написал, который продал свою четырнадцатилетнюю дочь за сорок семь голов скота... А результата – никакого. Правда, по слухам, к Медеубаю приезжала милиция из волости, допрашивала его, однако чем все это кончилось – неизвестно. Если по сигналам аульных корреспондентов не будут вовремя приняты меры, то, конечно, отпадет всякая охота писать...»

«20 мая.

Сегодня у меня большая радость. Строительство школы, которое казалось мне пустой мечтой, обернулось явью. Прислал за мной Тышканбай. Пришел и вижу: народ собрался.

– Учитель, – говорят, – давай суюнши. Видишь: начинаем строить школу.

Стали совещаться: как строить. Одни говорят: построим из дерна. Так, дескать, быстрее. Другие настаивали: нет, только из кирпича. Так и решили. В ауле одних подростков, годных для работы, человек двадцать. Если дружно взяться, можно за четыре дня наделать предостаточно кирпичей. Затея благородная, значит, и осуществить ее нужно как следует. Поговорил я с подростками, растолковал все. Никто возражать не стал.

Для руководства стройкой выбрали Тышканбая. Некоторые предлагали меня, но я настоял, чтобы именно Тышканбая назначили ответственным за строительство новой школы. Он, конечно, постарается и оправдает доверие. Джигит надежный: если возьмется – сделает. А я и так не буду сидеть сложа руки. Нынче даже в отпуск не пойду. Буду помогать стройке. Если к зиме удастся отгрохать новую школу, для меня не может быть большей радости.

Собрали деньги на окна, рамы, косяки, двери, крышу. Я выделил свою месячную зарплату. Ереке обещал дать те три рубля, которые должен ему один русский за сапоги. Это все, чем располагал бедный сапожник...

Завтра будут делать кирпичи. И я тоже буду работать, чтобы ребятам было веселее. Во время отдыха стану читать им газеты, книги, стихи...»

«30 мая.

Приехал аулнай делить землю. Провел собрание. Пошел и я. За домом Срыма собралось человек двадцать. Больше половины – из нашего аула. В наш Совет входит десять аулов. По пять представителей – и то уже пятьдесят человек будет. Между тем из Шолакская, Карыкбола не явилось ни одной души. Разве так проводятся общие собрания под руководством

аулсовета? И в прошлом году провели выборы с участием всего двух-трех аулов. Никудышный организатор наш аулнай, растяпа, неумеха, ленив и совсем не способен к общественной работе. Я так полагаю.

Вместе с аулнаем для проведения собрания прибыл учитель. О нем поговаривали, будто он всю жизнь посвящает склоке, а детей совсем не учит. И в прошлую зиму, помнится, он разъезжал по аулам как представитель волости. На собрание пришел и кое-кто из толстопузых. Не понимаю, какое отношение имеют баи к разделу земли?! Аулнай открыл собрание. О президиуме даже не заикнулся. Объявил:

– Будем делить пастбища и сенокосные угодья. Слово предоставляю вот этому товарищу.

Сообщая это, аулнай улыбнулся. Что означала его улыбка – тоже не понял.

Учитель, прибывший из волости, видно, так и лезет в начальники. С важным видом незадачливого чинуши раскрыл свою папку, долго копался, наконец достал расческу и стал причесываться. А «доклад» у него получился такой:

«В нашу волость приезжал уполномоченный из города. Стро-о-гий казах! Волостной чуть ли не плачет. Не видал, говорит, сколько живу на свете, такого сурового человека... Так вот и решил он за один месяц навести порядок в волости с земельными участками... Меня срочно отправили в аулы, чтобы собрать все сведения о земле...»

Из того, о чем так нудно промямлил представитель-учитель, никто ничего толком не понял. Что за дело какому-то строгому казаху, прибывшему из города, до земли нашего аула? Может, хотят аул обложить дополнительным налогом? Или что-нибудь другое недоброе у начальства на уме?

– Ну, давайте выкладывайте, какой землей располагаете, – сказал председатель аулсовета, распахивая свою полосатую сумку.

– Ты, дорогой, разъяснил бы сначала, что к чему, – заметил с досадой Тышканбай. – Чего записывать? К чему, например, записывать пустынные просторы?

– А чего тут разъяснять? Запишем, кто какой землей располагает, а потом прибудет комиссия и определит, кому сколько положено, – ответил аулнай.

– Думаю, что не совсем так. Я ведь читаю газеты. Там вроде бы по-другому об этом говорится...

Тышканбай посмотрел на меня.

– Что там говорится в газетах-мазетах, я не знаю. Я выполняю указание волости, – насутился аулнай.

Выяснилось, что, по сравнению с аулнаем и учителем-инструктором, представление Тышканбая о распределении земли значительно глубже и шире. Однако не смог он все ясно, доступно объяснить другим. Понимать-то понимает все, а высказать не может. Как говорится, язык короток. Потому-то он и смотрел на меня, как бы прося помощи.

Я выступил с предложением:

– Доклад ваш получился слишком куцый и невразумительный. Люди ничего не могут понять. Между тем распределение земли – вопрос сложный. Этим актом правительство намерено положить конец всяким несправедливостям в земельном пользовании. Оно хочет предоставить землю беднякам, которые всю жизнь были в зависимости от баев. Все это нужно обстоятельно разъяснить простому люду. Спешка в этом деле может только навредить...

Слова мои аулнаю не понравились. Он посерел, брови сдвинул:

– Что мне делать, я сам знаю. И ни в чьих советах не нуждаюсь!

Дурной какой-то... Ну чего взъерепенился?!

На этом собрание кончилось. Кажется, избрали комиссию по распределению земли. И вошли в нее одни прохвосты. Среди них – бай Рахимберды... Никакого проку от этой комиссии не будет. Напишу-ка письмо в волость. Расскажу о собрании, обо всех нарушениях и извращениях...»

«...С улицы донеслись крики, гвалт. Что такое? Оказывается, разодрались Доспол с Хасеном. Побегал я. Тут же подошел и Тышканбай... Досполу досталось. На лице – кровоподтеки. В чем дело? Выяснилось вот что: есть у Доспола деревянная ступа, в которой он рубит, мельчит жевательный табак – насыбай. Хасен попросил ее, чтобы натолочь табаку. А мальчишка его, играя, расколол ступу топором. Увидела это жена Доспола, треснула мальчишку раза два, тот – заревел. Взъярился Хасен: «Ты почему бьешь мальчонку?!» И обругал бабу. Теперь уже Доспол вскинулся. И пошло...

– Он все время над нами измывается! – распалялась баба Доспола. – Нынче, когда приезжал муж моей Шрайлы, зарезали скотину, а он все мясо захапал, даже части не уступил.

Доспол и Хасен – родственники. И не в ступе тут дело. Но в этой драке за ступу скрывается другое. Тут замешан пройдоха Нурпеис. Его хлебом не корми, дай только кого-нибудь стравить...

Слышал: Доспол отправился к аулаю. Видно, решил подать жалобу – плату возьмет. Обещает отомстить обидчику – и еще раз возьмет. Из-за деревяшки, которая копейки не стоит. Доспол наверняка лишится двух барашков. Вот так ловкачи и обводят бедняков вокруг пальцев.

Ох, простофили!.. Ох, темнота!..»

«20 июня.

Стройка идет. Уже за крышу принялись. Отправился за пилой к Жантаку, шел околицей и вижу: возле телеги Алтынкуль корову доит. При встрече со мной она всегда вся напрягается, настораживается, сразу забывает про все дела... Пройдешь мимо молча – обидится. Я подошел и сказал:

– Да возрастет твой надой!

– Пускай не возрастает. Не желаю я добра Тнымбаю,
– ответила она.

– Почему ты так? Или байбише отругала?

– Кто нас не ругает? Нас для этого и создал аллах, –
вздохнула Алтынкуль.

Она молода, нынче только двадцать ей исполнилось. Щеки, как яблоко. Остра на язык... Отец, бедняк, ради скота отдал дочку второй женой баю Тнымбаю. Кровавыми слезами плачет Алтынкуль. «Как счастливы должны быть те, кто выходит замуж за ровню!» – говорит она с тоской. Каждый раз умоляет, чтобы я ее избавил от ненавистного Тнымбая. Надеется, что я это сделаю. А я по глупости действительно обещал отобрать ее у бая. Что ж... неплохая была бы у меня жена. От слов своих не отказываюсь, но, боюсь, ничего не выйдет. Сейчас я занят стройкой школы. Мне предстоит учить и воспитывать детей. Разве смогу я их бросить? Женитьба моя, несомненно, повредит школьному делу. Получится точно как с Шанбаем. Он, бедняга, тоже учительствовал, потом увел у одного аулчанина жену, возник шум, и кончилось все тем, что его выгнали, а школу закрыли. Я так рисковать не могу.

Ай, бедная Алтынкуль... Смотришь на меня своими чистыми глазами с мольбой и надеждой...»

«25 июня.

Когда мы начали строить школу, баи и их прихвостни злорадно ухмылялись: «Голытьба за дело принялась. Вот потеха-то будет!»

А ведь действительно, где это до сих пор было видано, чтобы бедняки затевали дело без ведома и одобрения аульных воротил! И вот не оробели, взялись дружно и школу поставили. Не только баи, а и сами этому удивились. И весь народ тоже пораскрывал рты. А школа на славу получилась: просторная, светлая – три комнаты. Отдельно, все по совести. «Наша школа! Наши дети в ней учиться будут. Так постараемся же, бабы!» – сказала жена Тышканбая, Айшакуль, собрала всех молодых и десять дней штукатурила, мазала, белила. И вон какая она вышла белая! На солнышке так поблескивает, что глаз радуется. Прохожие и приезжие невольно оглядываются... А я так рад, что дома сидеть не могу, кусок ко рту спокойно поднести не могу, все меня тянет в новую школу. Вот приду, похожу по классам, – душа ликует, от восторга петь хочется. Да, кстати, в честь открытия школы надо вечер подготовить, концерт. Освободятся ребята от дел своих, сразу и приступлю...

Маленькую, но светлую, уютную комнатку при школе отвели учителю. Она вся сверкает, как хорошо протертое зеркало. Вошел я сегодня, встал у окна и увидел дом Алимбая напротив. Не дом – приземистое чудище какое-то. Когда-то он спесиво возвышался над всем аулом, горделиво выпячивался, дескать, вон я какой, что еще может со мной сравниться? А теперь и смотреть-то не на что, осел весь, одряхлел, вот-вот провалится. Верно сказано: «Не кичись ростом. Нарвешься на великана – глаза закаташь!» Видно, и Алимбай это почувствовал. Недаром так часто вздыхает в последнее время...».

1928 г.

В КОГТЯХ СМЕРТИ

Койшкары – могучий, черный, загорелый джигит – стоял на крыше землянки и пристально всматривался в черную точку, ползущую под его ногами в низине.

Точка эта то появлялась, то снова исчезала, и, наконец, на склоне перевала показался путник.

Вряд ли появился он тут случайно. С прошлого лета целые армии прошли через этот безлюдный край степи, и многое в это время тут случилось. Собственными глазами видел Койшкары и убийства, и погони, и панические бегства, и многое, многое другое.

В прошлом году он батрачил у Темира. И помнится, только привез из степи сено и стал складывать скирду, как в аул ворвались солдаты. Это был целый отряд, и остановился он возле дома Темира.

– Давай лошадей!

В ауле всполошились. Подхалимы и холуи Темира, готовые ради хозяина подставлять чужие спины под любой удар, бросились по дворам собирать лошадей. Отбирали, как водится, только бедняцких кляч – тощих и облезлых. Бедняки возмущались, а прихвостень бая – Тюебай – невозмутимо объяснял им:

– Все правильно! Байские лошади не годятся для езды. Они слишком справные. Отъелись на воле. В такую жару их с ходу запарят.

Старуха Бекена, обезумев от страха и горя, побежала за своей клячей, голося:

– Бога в вас нет! Я одинокая, беззащитная, вот вы и измываетесь! Загнали мою клячонку. Ведь в ней одни

мослы торчат. После работы еле домой приходит. Хоть на этот раз пощади-и-ите!..

Один из солдат (оказалось, он понимал по-казахски) неожиданно прислушался к воплям старухи и вдруг наставил ружье на Тюебая:

– Мы бедняцких лошадей не трогаем, – сказал он по-казахски. – Нам байских скакунов подавай! Понял? Ты, прихвостень, смотри у меня! Ну-ка, гони сюда весь байский табун! Сами будем выбирать!

И тут Тюебай так растерялся, что даже заикаться стал.

– Как вам угодно... Но мы ведь всегда так делали... Я... Я... Да как вам угодно будет.

И пригнал байский табун.

Строптивные, пугливые неукы, волоча арканы с петлей, бурей примчались в аул. Все исчезло в тучах пыли. Земля дрожала под цокотом копыт. Койшкары кружился посередине табуна, ловко закидывал аркан на одичавших лошадей, резко подтягивал его, и тогда самые сильные кони грузно оседали или даже падали наземь.

– А-а! Будь ты проклят, Койшкары! – дурным голосом кричал бай. В суматохе аркан Койшкары настиг байского любимца – мухортого иноходца. Темир в отчаянии даже глаза выкатил и ногами затопал, будто не иноходца, а его самого захлестнула петля.

– Чтоб тебя таким же арканом придушили! Чтоб ты сам на такую петлю нарвался, душегуб!! – вопила, изрыгая все проклятия на свете, толстая, как кадушка, байская байбише возле земляной печи.

Койшкары, услышав испуганный крик бая, подумал, что, пожалуй, он и в самом деле допустил оплошность, и даже уже чуточку отпустил было аркан, но тут завопила ненавистная байбише, и он от ярости даже привстал на стременах. А аркан натянул так, что мухортый иноходец захрипел, осел на задние ноги и задрожал тугим крупом.

– Молодец! Джигит!– восторженно воскликнул молодой боец в военной форме и накинул на иноходца узду.

Это был тот самый парень, который говорил по-казахски. Это он приказал отпустить всех бедняцких лошадей. Был он ловкий, легкий, подтянутый и весь обвешанный оружием.

– Подойди сюда! – крикнул он Койшкары. – Небось батрак?

– Так точно.

– Тогда давай лови самых лучших байских лошадей!

Было в молодце этом что-то притягательное и приятное. Он точно завораживал байского батрака.

Выбрав отборных иноходцев и скакунов из байского табуна, бойцы покинули аул. Темир стоял и храпел, словно загнанная лошадь. Казалось, он вот-вот лопнет от злобы. Проклиная всех подряд, как свирепый тарантул, металась по аулу байбише.

– Койшкары! Чтоб тебя земля проглотила! Где ты? – надрывался бай. – Вместе с Минайдаром быстро заверните лошадей!

Когда отряд удалился от аула, молодой боец, говоривший по-казахски, подъехал к Минайдару и Койшкары. Сидел он в седле ловко, прочно, совсем не так, как остальные русские.

– Ну, как, товарищи, не обижаетесь, что едете на байских лошадях? – ухмыльнулся он и представился:

– Андрей. С малых лет батрачил у бая в стороне Баганалы. Оттуда ушел на войну. Год провоевал. После революции вернулся домой. Про большевиков слыхали?.. Вот мы – большевики, – сказал он еще, дотянулся до Койшкары, схватил его за пояс и сильно потянул к себе. – Может, поджигитуем? – улыбнулся он. – Кто кого с лошади свалит, а?! – Потом вдруг вспомнил, что Койшкары струхнул, услышав зычный окрик бая, и коротко разъяснил, что отныне для кедея и батрака

настали новые времена. – Главное – не бойся, не робей! Твой час пробил! Теперь батраки – сила!

Так и уехал джигит вместе с отрядом.

Вечером отряд остановился в одном ауле, у излучины реки. Трава тут росла высокая, по самое стремя. Скотина ходила справная, жирная. Кое-кто недобро косился на Минайдара и Койшкары: это вы, мол, их сюда привели!

А едва наступили сумерки, отчаянно залаяли собаки и раздался топот копыт. Прогремел выстрел. Андрей и его бойцы кинулись к лошадям, но тут в аул ворвался большой вооруженный отряд. Началась стрельба. Плачь и вопли вспороли ночную тишь...

Это пришли белые. Андрея и его товарищей схватили. И хотя убивать не стали, но избили до полусмерти.

– Вы нанялись им в проводники! – рычал на Минайдара и Койшкары тощий и изворотливый, как стрекоза, вожак и, разъярившись, лупил камчой Койшкары по спине.

Он бил с такой силой, что гулкое эхо отзывалось на каждый удар. Казалось, в ночи выколачивали пыль из старой кошмы.

Наутро беяки ушли. Пленных большевиков, полураздетых, погнали пешими. Андрей был так истерзан, что еле волочил ноги. На прощанье он молча кивнул Минайдара и Койшкары головой.

– Убьют теперь бедных, – вздохнул Минайдар.

– Да... И мы не в силах им помочь, – удрученно проговорил Койшкары.

Беяки прихватили и байских лошадей. Койшкары умолял вернуть их, но его и слушать не стали, к тому же один из жителей аула, пронырливый черный малый, явно желая спасти своих лошадок, показывая на джигитов, крикнул:

– И этих тоже забирайте! Это красные лазутчики!

Темир чуть не задохнулся от досады и ярости, когда узнал о случившемся. Его желтый посох с медным наконечником так и плясал по головам понуро стоявших Минайдара и Койшкары. Улжан-байбише вне себя от ярости визжала:

– Убей! Убей этих собак! Они не стоят и одного иноходца!

Но Темир не удовлетворился одним избиением. Он передал табунщиков суду аульных старейшин. Аксакалы решили, что лошадей бай лишился по вине старухи Бекена и Койшкары. Старуха была зачинщицей: она первая подняла хай, а Койшкары собственноручно изловил иноходца и еще несколько байских скакунов. Если бы не эти смутьяны, отряд угнал бы заезженных кляч и спокойно уехал бы.

Тут же по решению мудрых аксакалов у старухи и табунщика отобрали все имущество для возмещения стоимости девяти байских лошадей. Койшкары Темир прогнал. Ты, мол, большевик. Наивные аульные бабы со страхом и любопытством глядели на джигита:

– Господи! Кто же ты на самом деле есть? Человек или оборотень?

Только один Кульбике и посочувствовал ему:

– Это настоящий джигит! – сказал он. – Хоть говорить о себе заставил!

Койшкары после этого случая подался в русские поселки. Работал там по найму, кормил себя и родителей.

Вскоре Койшкары разглядел путника. Это был солдат в серой шинели, бежал он к аулу. И через несколько минут Койшкары воскликнул:

– Ойбай! Это же Петра! – И бросился ему навстречу.

В самом деле это был Петр. Тот самый Петр, с которым Койшкары пять долгих лет батрачил у Темира.

– Откуда ты? Куда бежишь? Что с тобой? – начал было засыпать его вопросами Койшкар, когда они встретились, но Петр только сказал:

– Потом, потом! А пока меня спрячь куда-нибудь... Чтоб никто не видел. – И затравленно оглянулся по сторонам.

Койшкар похолодел. Выходит, Петр – беглец! А за укрытие беглеца полагается тяжкое наказание. Но ведь не может же он прогнать Петра! Пять лет они работали бок о бок. И не только работали, но и крепко подружились, да и жили, можно сказать, душа в душу. Когда Петра забрали в солдаты, Койшкар убивался так, как будто лишился родного брата. На прощание они обнялись.

«Присматривай за мамой. Не дай ей дойти до нищеты!» – просил его Петр, уезжая. И Койшкар обещал сделать все, что в его силах. И вот они вновь встретились.

– Э, Петра, что ли? Живой-здоровый вернулся, дорогой? – радостно приветила беглеца старуха Умут, мать Койшкар.

– Оу, Петра, сынок! Да ты, апырмай, большим джигитом стал, а? – улыбнулся бледный, низкорослый старичок.

Это был Етыкбай – отец Койшкар.

Умут и Етыкбай любили Петра, как родного. Когда они вместе с сыном батрачили у Темира, Умут и обстирывала и обшивала его. Бывало, любопытные бабы спрашивали:

– И за что ты его любишь, этого русского?

И Умут неизменно отвечала:

– А русского разве не бог создал? Он такой же, как мой Койшкар. Вместе работают, вместе живут. Друг за дружку заступаются. Почему же он должен быть нам чужим?

Петр тоже искренне привязался к Умут и звал ее так же, как и Койшкар, «аже».

– Здравствуй, аже! Живой-то я живой, и здоровый тоже. Однако такая мне опасность грозит! Спрячьте! Не выдайте!

Петр вздохнул. Умут испугалась. Морщинистое лицо ее побледнело.

– Как же так, сынок? Что случилось?– всполошился сразу и Етыкбай.

– Скажи честно, – не вытерпел Койшкары.– Ты кто?

– Большевик! – ответил Петр.

Хозяева вздрогнули и переглянулись. «Большевик»! После прошлогоднего угона байских лошадей старики слышали это слово не однажды. Как-то раз Етыкбай поинтересовался у аульного купчишки Каныша: «Что это за люди такие – большевики?» – «Грабители и кровопийцы, смутьяны и разбойники», – коротко объяснил купчишка.

И с тех пор, если кто-нибудь называл Койшкары большевиком, Етыкбай возмущался и оскорблялся: «Да вы что? Разве мой сын когда-нибудь занимался разбоем?»

О большевиках часто поговаривали в аулах. Сходятся где-нибудь двое-трое да и судачат про таинственных смутьянов. Никто толком не знал, кто они такие, поэтому все нелепое и жестокое приписывали именно им.

Минайдар и Койшкары после встречи с Андреем думали о большевиках иначе. Особенно много и часто ломал себе голову Койшкары. Неужели большевики лихоимцы? Вот Андрей назвал себя большевиком, а разве он лихоимец, грабитель? Разве станет разбойник толковать про волю? Заботиться о сирых и обездоленных? Ведь это он внушал нам: «Все сейчас в ваших руках! Если батраки объединятся, то от баев и мокрого места не останется». А кто против большевиков? Кто распространяет о них нелепые сплетни? Кто? Кто?

Этого Койшкары не знал. И теперь, услышав из уст Петра это страшное слово, совсем смешался. Все сомнения и страхи вдруг сразу всплыли в его мозгу.

– О, создатель! Да что же это значит? – испуганно воскликнула старуха Умут и посмотрела на сына.

– Не пугайся, аже. Кем же быть Петру, если не большевиком? Все батраки – большевики! И я тоже большевик! – сказал вдруг Койшкары.

– Руку, друг! – улыбнулся Петр и крепко сжал его ладонь.

Етыкбай и Умут с недоумением посмотрели друг на друга и вздохнули. Они были явно озадачены. Однако с этой минуты и они также стали считать себя большевиками...

Етыкбая отправили на улицу дозорным, а Петр и Койшкары остались наедине, чтобы отдохнуть, поговорить обо всем. Но старые друзья даже не успели нарадоваться друг другу, как ввалился перепуганный Етыкбай и в замешательстве прошептал;

– Едут!

За окном со скрипом пронеслись сани, запряженные парой лошадей. Мелькнули мохнатые папахи, серые шинели, на поясах наганы, на санях винтовки. Один из тех, кто соскочил с саней, был толст, черен и усат. Койшкары посмотрел в окно и побледнел:

– Нечестивец Ауесбай!

– А кто он? Казах? – спросила перепуганная Умут, беспомощно озираясь по сторонам. – Попробуй, поговори с ним...

Петр мрачно покачал головой:

– Не повезло. Кто-то уже донес. Ах, как же я промазал! Не надо было мне приходить сюда...

Держа винтовки наперевес, в землянку ворвались два солдата. Петр встал и поднял руки. Вошел Ауесбай и грозно насупился. В его руках был наган. Один солдат стал обыскивать Петра, другой стоял рядом.

– Дорогой, я вижу, ты сын казаха. Этот юнец с малых лет рос в нашем ауле, – начал было неуверенно Етыкбай, но Ауесбай наставил наган на хозяина и рявкнул:

– Заткнись, старый хрыч! Не то – зараз прикончу!

Етыкбай задрожал и даже со страху глаза рукой прикрыл.

– Что же ты, милоч, старого человека пугаешь? Не надо, – ласково сказала Умут, хватая Ауесбая за полы шинели, но тот с размаху так ткнул ее в грудь, что Умут, ойкнув, отлетела к порогу.

Ауесбай грозно натопоршил усы:

– Видишь, где он себе гнездышко свил?!

– Ошибаешься, я... – начал было Петр, но долговязый рыжий солдат ударил его прикладом, и он упал, как подкошенный.

Койшкар, оглушенный, потерянный, стоял и почти не соображал, что творилось вокруг него. Петр валялся без чувств весь в крови, а он, его закадычный друг, ничем не мог ему помочь. И стоит, дрожа от бессильной ярости. Нехорошо! Помнится, однажды Темир за какую-то провинность начал нещадно хлестать его камчой, и тогда Петр кинулся к нему и подставил свою спину под удары. Вот что значит настоящий друг...

И вспомнив это, Койшкар схватил долговязого за глотку.

– Ты что его бьешь, а?!

Началась свалка. Тявкнул раза два наган. Койшкар яростно вцепился в горло долговязого и стал душить его, но тут подскочил Ауесбай и, изловчившись, рукоятью нагана ударил джигита в висок. Потекла кровь. Койшкар разжал пальцы. Долговязый, вырвавшись, с бешенством обрушился на него...

Вокруг землянки Етыкбая толпился народ. Одни стояли с выкатившимися от страха глазами, другие что-

то кричали, спорили, строили разные предположения, и все вместе лезли вперед, толкаясь и сгорая от любопытства. Некоторые, уже узнав, в чем дело, не решались, однако, высказать свое отношение к случившемуся и колебались, принаравливаясь к настроению толпы.

– Пока этого мерзавца не уберут, не будет нам покоя! – распалялся Темир, неизвестно как тоже очутившийся тут.

– Правильно говоришь! Один овечий катышек целый бурдюк масла испортит. Один негодяй всю округу ославит! – поспешно поддержал бая мулла Омар.

Подростки же и джигиты, явно сочувствовавшие Минайдару и Койшкары, молча переминались с ноги на ногу...

Ауесбай заночевал у Темира. Петра и Койшкары привезли на санях и втолкнули в деревянный сарай бая. Улжан-байбише со злорадной усмешкой на холеном лице достала из кармана пышной лисьей шубы ключ и собственноручно заперла обоих джигитов.

– Знала я, что священная память иноходца и резвых скакунов покарает нечестивцев. И вот пришла расплата!..

По исконным казахским обычаям, бай и байбише обязаны были быть заступниками своих аулчан. Они должны оберегать аул от всякой внешней напасти. И то, что байбише сама заперла на ключ избитого в кровь Койшкары, оставило в душе сородичей неприятный осадок. Однако, и Темир, и Улжан были настолько ослеплены злобой, что ничего не замечали. Впрочем, у них мог быть и свой расчет.

Сторожить сарай поставили байского батрака – Минайдара. Ауесбай пронзил его взглядом, помахал наганом перед носом и прорычал:

– Эй, пучеглазый дурень, учти: упустишь их – прихлопну!

И Минайдар содрогнулся, побледнел.

Аул шумел, гудел, судачил. Женщины, ходившие за водой, выносившие золу, собиравшие кизяк, без конца обсуждали это событие. Каждый, конечно, на свой лад. Нашлись и такие, кто возносил Ауесбая до небес. Был он сыном городского купчишки – «шала-казаха» или «полуказах», как таких презрительно называли в аулах, и приходился дальним родственником многим жителям и этой округе. С Темиром у него давно шли всякие шуры-муры. В аулах об Ауесбае говорили так:

– Видно, сумел примазаться к властям. Говорят, скоро его в чин произведут.

Старики ставили его в пример молодым:

– Этот далеко пойдет! Этот выбьется!

А сегодня Ауесбай стал настоящим героем дня. Его имя было у всех на устах.

– Ауесбай привел сюда сотню солдат, – с важным видом сообщил кривоногий чумазый Габбас. – Он оставил ее где-то позади. Наверно, завтра нагрянет!..

И при этом он, хорохорясь, задирает голову, будто именно он и привел эту сотню. Известный пустобрех Джанибек, видно, тоже не желал отставать от Габбаса.

– Ауесбай в этом походе уложил сто большевиков, – говорил он.

Старик Етыкбай считался в этом ауле пришельцем. Его род тут владел всего тремя домами. Двое его родственников – Рахмет и Сугур – были тихие, скромные, среднего достатка люди. Правда, дома, возле своего очага, храбрее Рахмета и человека нет, но на людях он робок и даже просто труслив. А Сугур – вообще рохля, его режь – он слова не промолвит. Оба понятия не имеют о родственной чести и достоинстве. Правда, они охотно признавали Етыкбая своим сородичем, однако на этот раз отреклись от него в открытую. И не только не заступились за его

сына, но даже и близко не подходили к нему, боясь пересудов, а иногда вместе со всеми откровенно хаяли старика.

Темир угощал гостя по-городскому. Послал гонца за самогоном в соседний русский поселок, собрал всех именитых и почтенных людей аула, щедро накрыл дастархан. Улжан-байбише ходила радостная и торжественная, словно у нее внук родился. Она заложила в котел и казы – конское брюшное сало, и карта – конскую колбасу, и подгрибок – жал, и огузок – жая.

– Джигиты! Некоторые из вас, вероятно, в жизни еще арак не пробовали. Что ж... к такому напитку казахи пристрастия не питали. Но сегодня – пейте! Нынешние мои гости – особенные, дорогие. Они ради нашего покоя своей жизнью жертвуют. Бунтовщиков в чувство приводят. Надеюсь, вы понимаете, какая для нас это честь – сидеть с такими людьми за одним дастарханом!

И Темир покачал кесушку с самогоном так, словно это был кумыс. Чувствовалось, однако, что для большинства этот «напиток сатаны» был привычным делом. Все заерзали и заулыбались.

– В честь высокого гостя и выпить не грешно! – заметил Тыебай.

Из сундука извлекли большую заветную скатерть, расстелили посередине комнаты. Тыебай про себя отметил, что в последний раз эту полосатую скатерть расстилали по случаю возвращения отца Темира, благочестивого Турлыбая из Мекки. За дорогим дастарханом собравшийся тогда люд пил священную воду – «зеям-зям».

– За здоровье господина Ауесбая! – провозгласил Темир, подняв кесушку с самогоном.

– Апырмай, как бы не заболеть... В жизни ведь в рот не брал, – бормотали некоторые из несмелых.

– Ничего не поделаешь. Раз Темир сказал – пей, хоть умри!– настаивали другие, что посмелее.

Самогон понемногу развязал языки.

– Господин Ауесбай! Ваши братья жаждут услышать из ваших уст приятные вести. Будьте добры, поведайте нам, что делается на свете... Что слыхать про казахскую «Алаш-Орду»?– спросил потный, красный Темир.

– «Алаш-Орда» делает свое дело, – ответил Ауесбай важно. – Алихан отправился в Омск на переговоры с Колчаком.

– Ой, молодчина, ой, сарбаз!.. Покоя бедный не знает... Все о нас, казахах, днем и ночью печется,– заохали, заохали гости, крутя носами и закидывая головы.

Шумно стало в доме бая. Говорили все громче, все крикливее, перебивая друг друга, и вскоре никто никого уже не слушал.

Ночь стояла морозная. Днем снег подтаивал, а теперь застыл ледяным настом. Могильная темь окутала степь. Сквозь хмурые тучи, бродившие по стылому небу, кое-где тускло поблескивали одинокие звезды. Тяжкий, тревожный сон сковал аул. Недоброе предчувствие закралось в сердца бодрствующих.

На бревне у деревянного сарая сидел, вобрав голову в воротник заскорузлой шубы, похожий на пугало Минайдар. Сегодня он – охранник. Часами сидя в понурой позе, он мучительно размышлял: «Апырмай, в чем же их вина?» И Петр, и Койшкар – его старые приятели. Можно сказать, он породнился с ними. Породнился – потому что, кроме них, у него на целом свете никакой родни. Минайдар не знал, как и когда он здесь появился, откуда родом, чей он сын. С малых лет он помнит себя только батраком бая Темира. Теперь ему уже двадцать три. И ничего хорошего он еще не видел... Иногда его охватывала

неизбывная тоска, и тогда он приходил к Етыкбаю, ложился на подстилку, грустный, подавленный, и подолгу молчал.

– Здоров ли ты, шрагым? Чего лежишь, вздыхаешь? – спрашивала Умут. Какое ласковое это слово – «шрагым» – дорогой, зрачок мой, светоч мой! Одна только Умут и называла его, Минайдара, так. Больше никто на свете не говорил ему такие слова. Да и говорить-то было некому.

Вздыхал Минайдар, спрашивал старуху:

– Шешей, скажи, может, ты знаешь: были ли у меня вообще родители?

– А как же, дорогой?! Как же без родителей-то? – ласково отвечала Умут. – Отца твоего видеть мне не приходилось. Слышала только, что умер. А вот маму твою видела, помню. Круглолицая была, черноглазая, видная из себя. С рук тебя не спускала. «Минтай мой, душенька», – говорила... Любила тебя, как все матери.

По рассказам Умут Минайдар потом мысленно рисовал облик матери. Стоило ему только закрыть глаза, как перед ним появлялась круглолицая, черноглазая, миловидная женщина. Она прижимала его к груди, целовала и нежно приговаривала: «Минтай мой! Единственный!..» Как хорошо, когда есть мать!.. И вот она, его мама, по словам Умут, была продана. Когда? Зачем? Кто продал?! Когда Минайдар думал об этом, сердце его сжималось и начинало кровоточить. В этот момент он готов был задушить своими цепкими, узловатыми пальцами ненавистного врага, продавшего его родную мать...

Минайдар очнулся, вздрогнул:

– Кто здесь?

Скрючившись от холода и горя, стоял перед ним Етыкбай.

– Дорогой Минайдар, ты не узнавал: живы ли они хоть?

Старик плакал, губы его дрожали.

«Бедный, бедный отец!.. Душу готов отдать ради родного сына...»

– Худо нам, сынок...– Рукавом шубы Етыкбай вытер слезы.– Старуха, несчастная, никак в себя не приходит...

Да, так оно, конечно, и есть.

Ласковая, вечно всех жалеющая, добрая Умут теперь оглушена горем. Сын-то ведь у нее единственный. И этот тихий, никогда в жизни никого не обидевший старик тоже не находит себе места. Бродит по ночам, плачет. Кто им посочувствует? Кто их пожалеет? Кто поможет?

«Да никто! Нет такого человека!»– с тоской и обидой подумал Минайдар.

Близились полночь. В окнах погас подслеповатый отблеск ламп. Мороз становился злее, он теперь уже не пощипывал, а кусал. Громоздкая овчинная шуба уже не казалась Минайдару тяжелой. Странное состояние охватывало его. Бросало то в жар, то в холод. В ушах звенело, перед глазами плыли черные круги. Бесчисленными причудливыми тропинками разбегались мысли. Ему-то что? Ему хорошо. Он в шубе, он недавно поел горячее. А каково же этим бедолагам в сарае? Наверняка промерзли до костей. Наверняка проголодались. Они избиты. Кровь засохла на них. И никого это не беспокоит, не тревожит. За что же так глумятся над ними? Етыкбай подошел к сараю, заглянул в щели, походил вокруг, прислушался. Изредка старик жалобно взглядывал на Минайдара. Видно, не решался просить открыть дверь. А может, в самом деле попытаться?

Минайдар поднялся, направился к байскому дому.

– Мне-то ничего. Я битый... Все выдержу, все вынесу, – сказал Петр, осторожно щупая голову Койшкары. Пока еще было солнце, острый луч проникал в щель сарая, и друзья могли разглядывать друг друга. Оба были в крови. Кровь застыла, покрыла их бурой коростой. Кости ныли, тело казалось чужим.

– Что же с нами будет? – вздохнул Койшкары.

– Кто знает... Они, конечно, рады, что сцапали врага... А заступиться некому...

Это понимали оба. И оба отчетливо представляли, какая их ожидает участь, однако ни один не решался говорить об этом открыто другому. Притихшие, поникшие, они прижимались друг к другу, грели друг друга теплом и дыханием. Не утешали друг друга и ни в чем не раскаивались, а просто сидели на старом полушубке в темном сарае в забытии, в полудреме. Сердобольная душа, глядя на них со стороны, невольно уронила бы слезу.

«Бедные парни, – сказала бы эта сердобольная душа, – во цвете лет погибают!..»

...Скрипнула и отворилась дверь сарая. Кто-то вошел, пошарил вокруг, потом шепотом позвал:

– Койшкары!

Петр и Койшкары узнали голос Минайдара и разом вскочили. Ни тяжести, ни боли, ни усталости как и не было. Сердце гулко стучало, подкатывалось к горлу.

– Бегите! Спасайтесь! – растерянно бормотал Минайдар.

– Солдаты где?

– Пьяные они... дрыхнут вповалку.

Петр действовал решительно и энергично. В двух словах сказал он Минайдару, что надо делать. Минайдар должен пробраться в байский дом, собрать и вынести им оружие. Койшкары в это время запряжет

пару байских рысаков. У Петра была перебита рука, но он не обращал на это никакого внимания. Он знал – медлить нельзя, другого такого случая уже не представится.

Самой слухастой в доме бая была байбише, но и она в честь господина Ауесбая хлопнула целый стакан самогона и теперь лежала чуть не замертво.

Етыкбай вздрогнул, услышав за окном скрип саней.

– Апырмай, опять, что ли? – прошептала слабым голосом Умут.

Дом стоял темный и холодный, едва мерцала коптилка. Все было перевернуто вверх дном, как бывает только после похорон. И верно, теплое уютное жилье сегодня напоминало холодную могилу.

– Аже! – слышались торопливые голоса.

Вошли Петр и Койшкары. На обоих были байские полушубки и тулупы. На ремнях болтались винтовки и сабли.

Умут неуклюже, с трудом поднялась, обняла обоих, расцеловала. Горячие слезы ее капали им за воротник. Но джигиты не мешкали, им надо было бежать. Куда? Пока неясно. Ими двигало одно – сейчас вырваться из когтей смерти. Если им только удастся уйти от погони, все остальное решится само по себе.

– Агатай, оставайся хотя бы на одну ночь! – умоляла, плача, чернявая девчонка с черными пушистыми волосами.

Сестренку свою Койшкары ласково называл «Монтай» – Бусинка. Часто говорил: Бусинку выдам только за ее любимого. А теперь старший брат, единственная опора семьи, собрался неведомо куда. Он оставлял беспомощных стариков и любимую сестренку, зная, что им даже жить не на что. Кто присмотрит за стариками? Кто позаботится о юной Монтай? Или опять придется седобородому, подслеповатому, дряхлому отцу взять в руки белый

посох да тащиться за байской отарой? А больной, согбенной матери ходить по дворам, теревить шерсть, прясть пряжу и выносить помои? А что же им еще остается?

– Не могу, родненькая! Не обижайся на брата. Я сам на распутье. И ждет меня тяжкое испытание. Будешь тосковать. Изведешься вся... Но вытри слезы, прогони печаль, поддержи родителей. Не будь слабой девчонкой! Будь сыном! Вот о чем прошу тебя, милая. Подойди, расцелую на прощание.

Он долго целовал хрупкую сестренку. Умут и Етыкбай, растерянные, как во сне, стояли рядом.

– Значит, едешь, сынок?– спросила Умут.

– Еду! – ответил Койшкары.

– Да сопутствует тебе удача! Да откроется перед тобой дорога праведных! Худо нам будет без тебя. Но я не сетую. Я благодарна Всевышнему за то, что он дал мне тебя. Об одном прошу: где бы ни был, отца своего дряхлого помни, меня, неутешную, помни, нашу старость помни, что ты единственная наша опора, помни – что...

Умут не договорила. Слезы душили ее. Казалось, это вовсе не она говорила, а откуда-то со стороны доносилось доброе напутствие.

Когда созвездие Плеяды склонилось к горизонту, путники выехали из аула. Лошадьми правил Минайдар. Справные байские рысаки грызли удила, рвали поводья. Сани лихо неслись по гладкой, убитой дороге. На поворотах их заносило, из-под полозьев клубилась снежная пыль.

У развилки Минайдар натянул поводья.

– Ну, в какую сейчас сторону?

Одна из дорог вела в город, другая – в дремучий лес. Там, в лесу, спрятались поселки. Жизнь в них зимой замирает. По тем краям редко проезжает путник. И лишь по большой надобности жители лесных чащоб

покидают теплые дома. За долгие зимние месяцы они совершенно оторваны от мира. Сюда почти не просачиваются городские вести. Довольствуются слухами из поселков и аулов. Такая у них жизнь. Лесная, замкнутая...

Беглецы решили ехать лесом. Ехали весь день с одним коротким привалом. К вечеру добрались до поселка, затаившегося в глухой чащобе среди сугробов. Поселок был довольно большой. Несколько человек гнало скотину к озеру на краю поселка. Увидев путников, кто-то крикнул:

– Остановитесь!

Подошел мужик, по самые глаза заросший кудлатой бородой. На голову нахлобучил старую солдатскую шапку. Забуравил колючими глазками путников, расспросил обо всем.

– Езжайте дальше, – сказал он. – В поселке отряд белых. Несдобровать вам, если попадете им в лапы. – И, не договорив, отвернулся и пошел своей дорогой.

И тут же на вершину заснеженного холма выскочили трое верховых. Беляки! За их спинами торчали винтовки. Встреча с ними не предвещала ничего доброго.

– Живо! Заезжай в ворота! – приказал Петр и спрыгнул с саней.

Они заехали в незнакомый двор, огляделись. Спрятаться негде. На задворках стояла копна. Края ее были разрыхлены, солома пораскидана. Все трое, не мешкая, побежали к копне, зарылись, затаились...

Дозорные, объезжавшие поселок, заметили пару гнедых, запряженную в сани. Они ударили лошадей и помчались навстречу. По одежде они сразу догадались, что путники – казахи, и обрадовались легкой добыче. Лошади в теле. Усатый спешил, побежал в дом, выволок насмерть перепуганную бабу.

– Говори, сука, куда их упрятала?! – надрывался усач, хлеща бабу плеткой.

– Не знаю! Ей-богу, не знаю! – вопила та.

Тугая плетъ, сплетенная из восьми сыромятных ремешков, обожгла толстую спину бабы. Она завизжала.

Солдаты ворвались в дом, перетряхнули все, заглянули в сарай, в кладовку. Беглецов нигде не было.

– Ну, значит, они здесь, в соломе, – сказал один. – Бери вилы и пощекочи-ка их как следует!

Рыжий усач, тяжело дыша, начал размашисто тыкать вилами в солому.

– Все! Погибли! – прошептал Койшкар.

– Врешь! Не возьмешь! – страшным голосом прокричал Петр и, вскочив, трижды выстрелил из нагана. Все трое дозорных шмякнулись оземь. Их кони, всхрапнув, умчались прочь.

– К саням! – приказал Петр. – Заворачивай! Винтовки есть, патронов достаточно. Не сдадимся!

Они быстро сняли оружие с убитых, бросились в сани и пустили во всю прыть лошадей. Погони пока не было. Где-то в центре поселка раздались выстрелы. Потом на сугробах появилось несколько верховых.

Сумерки сгущались. Поднялся ветер, замела поземка. Тучи клубились над головой. Снег валил и валил. Кони вскоре выдохлись, начали пофыркивать, почихивать. Начинался буран. Еще немного погода все завертелось, закружилось в вое бури, в ледяном ветре. Снег залеплял глаза, забивал ноздри. В двух шагах ничего нельзя было различить.

– Апырмай! Кажется, с дороги сбились. Не дай бог, заблудимся! – прокричал Койшкар.

Лошади, утопая по брюхо в сугробах, остановились. А ведь только что шли по дороге. Она была где-то совсем рядом, но только где? Слева или справа? Койшкар слез с саней, пошел искать ее. Ветер тут же

яростно набросился на него и отшвырнул на несколько шагов в сторону. Спотыкаясь, падая, он вдруг нащупал под собою твердый грунт и подумал, что влез на пригорок. Потом догадался: дорога! Оглянулся и ничего не увидел, кроме могильной темени. Он повертелся на месте и подумал, что потерял ориентир. Не было видно ни места, где должны были стоять сани и лошади, ни даже снега под ногами.

Он стал кричать. Ответа не было. Он заблудился! Остался один в ночной буранной степи. Без оружия. Без ничего. Пока он еще чувствовал под ногами дорогу, он шел и шел по ней, то по ветру, то против бури, и кричал, кричал, кричал – надрываясь, задыхаясь от хрипоты и изнеможения. Время от времени на него с дикой злобой налетал шквал, норовя сдуть и отшвырнуть с дороги. Ветер трепал просторную шубу, лез за воротник, за пазуху, за полы и рукава, пробирался к телу, щипал, кусал, обжигал холодом. Вскоре Койшкар промерз до костей. «Эдак не мудрено и совсем замерзнуть», – подумал он, и его охватило отчаяние и гнев. Он кусал губы и выкрикивал проклятия. Уже не в силах противостоять упругому ветру, он все шел и шел, вобрав голову в плечи, засунув озябшие руки в рукава шубы, нащупывая ногами твердый грунт. Шел и шел, подталкиваемый ветром... Да так и затерялся в снежной круговерти.

1929 г.

ШКОЛА БЕКБЕРГЕНА

Этот совершенно новый деревянный дом на бугре сразу бросается в глаза, как ты только зайдешь в аул. Стоит он как раз посередине поселка. В нем четыре окна и нет ни сараюшек, ни других пристроек – двор чисто выметен и прибран. В нем много малышей. Поинтересуешься:

– Что это за строение?

И член аулсовета Кали тебе гордо ответит:

– Школа Бекбергена.

И если теперь ты в сопровождении того же Кали войдешь в эту школу, тебя сразу же обступят ребята. Они будут смотреть тебе в глаза, ловить каждое слово, чтобы только узнать, откуда ты и с чем пришел.

И глядя на их живые веселые лица, сверкающие глазенки, ты оттаешь, обмякнешь и сам начнешь улыбаться.

– Здравствуйте, ребята! – крикнешь им ты. – Да будет с вами вечная радость!

А если зайдешь в класс, то увидишь и другое: парты, стол для учителя и на стене большая черная доска. А напротив нее, против двери – портрет Ленина. Немного ниже, рядом с азбукой другой портрет – вернее, простая фотография. И глядит с этой фотографии самый обыкновенный казах – в малахае, овчинном полушубке и несокрушимых сапогах, и сколько ты это фото ни рассматривай, ничего больше в нем не увидишь – обыкновенный аульный казах, и все. Повернешься к Кали и поинтересуешься:

– Кто же это?

И с той же неизменной гордостью Кали ответит тебе – наш почтенный Бекберген. Немного поодаль от школы находится крутой яр. Посмотришь с него и все увидишь, как на ладони: степь в талых сугробах, полую воду. Темные холмы – снег с них уже стаял, путника, пробирающегося по снежным островкам, скот, бродящий по степи; дети высыпали на лужок и играют в асыки, молодки судачат у водопоя, гуляки по двое, по трое, что шатаются по аулу, – все-все пройдет перед твоими глазами.

У яра понемногу собираются аулчане. Первый разговор у них о погоде.

– Снежок-то как тает, видишь?– спрашивает Абиш. – Уже все ложбинки затопило.

– Ну, от полой воды толку немного,– отвечают ему. – Вот дождь бы аллах послал – это другое дело.

– Да, весна как будто дружная,– подтверждают другие.– Будем, пожалуй, и с сеном, и с хлебом.

– Это-то наверняка!– восклицает Каирбек.

– Вот, вот!– ты всегда здорово предсказывал. Нагадай нам и сейчас урожай! Или ты бросил это дело, – подзадорил его приятель.

– А что ему теперь делать?– подхватил другой.– Мулла от аллаха, баксы¹ от шайтана – все от всего отрекаются. Помните, как его в прошлом году перепугали,– милиция нагрянула за Шонбаем-баксы, а у Каирбека сразу душа ушла – побежал к Жибек.

Все дружно захохотали.

– Неужто так было, Каирбек?

– Уай, оставьте! Болтаете черт-те что. Баксы я не был. Не гадал и не шаманил, и муллой тоже не был. Жертвоприношений не принимал и не приносил, как Шопбай, вместо лекарства отравы никому не давал. Баб в могилу ни чужих, ни своих не загонял, так что до меня милиции?.. Чем эдак попусту языками трепать и

¹ Шаман.

напрасно время тратить, лучше бы о хозяйстве поговорили. У этого товарища новости поспрошал, он ведь из центра приехал – солидно заметил Каирбек.

И потекла степенная, серьезная беседа. Заговорили о делах аульных. В иных местах надо бы открыть артель, создать коллектив. Но как?

– Был бы жив Бекберген, давно бы во всей округе были и коллективы, и артели, – вздохнул кто-то.

Вот опять это имя. Ну кто же он, этот загадочный Бекберген? Просто уже не терпится узнать об этом.

– Да, кто он – этот Бекберген?

На тебя смотрят с недоумением и даже с явным упреком: «Да что это за человек такой, который даже нашего Бекбергена не знает?» Кали придвигается в круг, усаживается поудобней. Теревит, оглаживает бороду, вскидывает голову, спокойным голосом начинает рассказывать.

– Вы ведь издалека приехали и, конечно, можете не знать. Был у нас такой почтенный человек...

– Ясно, что не знает, – поддакивает кто-то. – Товарищ в наших краях впервые.

– Звали его Бекберген, – продолжает Кали. – Он наш земляк. Из этого вот аула. Одной мы с ним крови. Был он бедняком, но таким живым, бывалым. Чего он только не пережил, не перевидел?! Прозябал батраком. Глаза у него открылись при Советской власти. Постепенно привлекли его к делу. Сначала выбрали в сельсовет. Потом – в заемопомощь. Потом – он стал аулнаем, заместителем председателя волостного Совета. Стал ездить на уездные и губернские съезды. Со временем пообтерся, узнал жизнь, стал деятельным. И старался все новое насаждать в аулах...

Вначале мы не очень его одобряли. «Ради корысти своей старается», – поговаривали иные. Однако от всех своих хлопот Бекберген и крохи выгоды не извлек и ни на волосок не обогател. Я это говорю не потому,

что он умер, а потому, что оно взаправду так и было. Днем и ночью он был в разъездах, в хлопотах, но никогда ни у кого и мотка ниток за то не попросил. Все за свой счет мотался. Простодушный был, добрый. Не раз говорил: «Хуже бывало, а я и тогда не горевал. А теперь и лошадка есть, и корова есть. Так что мне еще надо? Отныне все силы и труды свои посвящу на благо земляков...»

Года три тому назад, это было, съездил он в губернию. Тогда еще работал в волостном Совете. Пристал, значит, собрал всех нас, вот здесь сидящих, да и давай уговаривать: «Вступайте в артель, создавайте коллектив, надо построить школу!» Никто возражать не стал, и артель организовалась. Теперь она – «Каинды-сай» – первая во всем уезде. Вот грамоту недавно получили...

Школа эта тоже носит имя Бекбергена. Фотографию его вы сейчас сами видели. Без него школы и в помине не было бы.

К четвертому аулсовету относилось десять аулов из четырех родов. Но не все эти роды были равные. Пятью аулами владел род Тансык – самый богатый и уважаемый. Что он хотел, то и творил. Все волостные и аулнаи происходили оттуда. Грамотеи тоже. Так что их слова всегда были законом. Однако Советская власть пришла, и новым ветром подуло. Начали бедняки поднимать голову. Раньше мы даже не осмеливались близко подходить к этим аулам с подветренной стороны, а сейчас свободно сидим среди них. Даже на почетное место иногда лезем. Вот как! Раньше все дела решали аулы Тансыка, а сейчас все решается сообща.

Но не даром это нам досталось, нет, не даром. Люди этого рода во всех конторах сидели, и так ловко обдeldывали они свои дела, что у многих руки опускались.

Вот тут-то и показал себя Бекберген. Он смело выступал против этих богачей. Они и так, и сяк

старались его обойти, а он ни в какую. Он их перед всем народом разоблачал, все воровские замыслы распутывал, и под его руководством бедняки принимали нужные решения. А власти их всегда поддерживали.

В четвертом аулсовете самый бедный был наш аул. Он испокон веков не вылезал из нищеты. И в поисках пропитания, бывало, разбредались его бедняки кто куда, бросая родные места. И если аул все же не вымер, а мы теперь живем по-людски, то только благодаря новой власти.

В то время аулнаем был некий Жакен. Сын бедняка, он, получив власть в руки, забыл про все и мигом переметнулся на сторону богачей. Всюду он старался потакать роду Тансык. Поступала какая-нибудь помощь от государства, – аулнай спешил облагодетельствовать прежде всего байские аулы, а беднякам не доставалось ничего. Часто он даже ни с кем и не советовался, и делал что хотел. Так получилось и со школой. Власти разрешили открыть школу в четвертом аулсовете. А Жакен-аулнай состряпал такую бумагу, что школа открылась в ауле Турсуна. А Турсун – самый первый богач в роду Тансык. Нынче мы конфисковали его имущество и самого выслали подальше. Так вот этот Турсун отдал под школу прихожую и еще стал брать ежемесячную плату.

Об открытии школы мы узнали поздно. Спыхватились: «Как же так получилось? Раз власть бедняцкая, значит, и школа должна быть для бедняков. Почему ее открыли в доме бая Турсуна? Или считают, что нашим детям и грамота не нужна?» Поворчали между собой, возмутились, а в открытую никто ничего так и не сказал. Услышали, что начинается учеба, ну и повели ребятишек в байский аул...

Был такой – Тобакабыл. Тоже из рода Тансык. Девять лет ходил в биях. Сын его, Салим, выучился на муллу.

В их ауле была мечеть. В ней Салим и служил. И вдруг в новую школу учителем назначили этого муллу! Мы опешили, когда узнали об этом. Даже засомневались: «Какая же это школа? Наверно, священные книги долбить будут?» Походили, порасспросили. Нет, говорят, самая настоящая школа...

Вы заметили при входе в школу круглорожего чернявого мальчика? Это мой сын. Нынче ему двенадцать стукнуло. Только что окончил начальную школу. Его-то я тогда и привел к Салиму-учителю. Некий Ибрай согласился взять мальчика к себе в дом. Осталось устроить его в школу. Пришли в школу, а класс битком набит. И малыши сидят на коленях. Ну точь-в-точь, как мы когда-то перед муллой сидели. И опять я подумал: «Да, что ж это за школа, если в ней все по старинке?..»

– Дорогой Салим, – начал я. – Вот я привел к вам своего мальчика... – Должно быть, он меня не знал или просто не узнал. Насупился и уставился в окно.

– Видите: полный набор. Никого больше принимать не можем.

Я испугался. Растерянно оглянулся. Ничего не понимаю. Школа открыта в четвертом аулсовете. Значит, в ней в первую очередь должны учиться дети ближайших аулов. Так где им и учиться, если не у себя?

– Как же так, дорогой, – говорю. – Мы ведь соседи. Кого же принимать будете в школу, как не наших детей?

– Э, почтенный, оставь свои законы, – отрезал мулла-учитель. – Я ж тебе сказал. Неужели непонятно?

По природе я вспыльчив и так рассердился, что еле еле овладел собой. Хотелось схватить Салима за шкирку, выволочь на улицу и отдубасить от души...

Вернулся я с сыном домой, а в аул как раз приехал Бекберген. Прибежал я к нему и начал кричать:

– Ты вот заседаешь в Советах, хвалишься, что у тебя власть, а что хорошего сделал? Скажи! Даже школу для наших детей открыть не можешь!..

Покладист, терпелив был покойный. Я кричал, а он посмеивался. Потом же, когда я немного успокоился, сказал:

– Ты ведь сам замечаешь, Кали, что в наших учреждениях еще всякой нечисти хватает. Всюду сидят прохвосты, ставленники разномастных богачей... Однако с каждым днем мы набираем силы. Безобразие, о котором сейчас ты говоришь, – проделка одного из таких негодяев. Ничего! Завтра соберем народ, поговорим, потолкуем.

На другой день действительно собрались аулчане. Начали говорить о школе, о том, что ее открыли в неудобном месте, да и учитель явно не тот. Поднялся шум. Нас ведь называют классом бедняков. А бедняки могут иногда плести черт знает что. Так случилось и на этом собрании. И общий глас народа был такой:

– Школа стоит на верном месте. Больше нигде ее не откроешь. Нет у нас подходящего дома.

Бекберген вскипел от досады:

– Ну, и бестолковые же вы люди! Пользы своей не понимаете. Неужели мы без бая не проживем? Неужели мы без бая не люди?... Чепуха! Если дом нужен – мой возьмите. Безвозмездно отдаю! Берите, переводите школу!

Однако школу в наш аул так и не перевели. Бекберген куда-то ездил, хлопотал, все молча, и однажды ранней весной приехал в наш аул, собрал всех и спрашивает:

– Нужна вам школа?

– Нужна! – отвечаем в один голос.

– Ну, если нужна, – говорит Бекберген, – будем открывать в вашем ауле. Я добился, чтобы Салима сняли. А власть выделяет нам средства на строительство школы.

Апырмай, и радовались же мы тогда! Весь аул взбудоражили... Принялись за работу. Начали подвозить лес к бугру. Всем аулом целый год копошились и все-таки поставили вот это здание. Вон она и стоит теперь – наша школа!

Кали, закончив свой рассказ, умолк. Все задумчиво молчали. Кто-то вздохнул:

– А ведь в том же году и нашу ячейку образовали...

– Верно. В тот же самый год... За неделю до открытия школы состоялось первое собрание ячейки, на котором Бекбергена избрали секретарем...

Люди оживились, стали рассказывать о школе, об артели, о партийной и комсомольской работе, о делах и заботах аула и аулсовета. Многие из собравшихся были членами партии. Ученики Бекбергена. Бекбергена теперь нет, но как память о нем осталась школа. Школа его имени.

Аул обновился. Он переступил порог новой жизни. Вот эти люди в заскорузлых шубах, поярковых тымаках-треухах и есть ядро нового аула, убежденные приверженцы и строители нового уклада. Они с честью прошли через множество испытаний, одолели немало преград и теперь с уверенностью закаленных бойцов стремились к новым свершениям...

1929 г.

КОММУНИСТКА РАУШАН

I

Взглянешь снаружи на прокопченную, сплошь в заплатках юртчонку, и невольно почудится: там что-то горит. Дым, клубясь, валит из всех щелей.

Посередине юрты чернеет огромный казан; под ним потрескивает яркий огонь. В казане, бурля и пенясь, варится мыло. Плотной обмотав голову жаулыком, морща мокрый от пота лоб, жена Айнабая Зейнеп длинной лопаточкой размешивает упругое месиво.

Осенний ветер с такой яростью обрушивается на юрту, словно хочет ее разнести. Он воет, врывается в щели, сбивает пламя, и густой, едкий дым разъедает глаза.

Пятеро женщин расселись вокруг огня; не отрываясь, смотрят они в казан. Как только мыло сварится, они все получают по кусочку, – так велит обычай, – и разойдутся по юртам. Но мыло все еще варится и варится, и ни ничего не остается, как сидеть, изнывая, в этом адском дыму.

Старуха Улжан вытерла краешком жаулыка слезы и, покосившись на шанрак – потолочный круг, сказала:

– Конец света, что ли настал? И дни ветреные, и ночи ветреные, и все никак не распогодится...

– Э, шешей, нынче все не так, как раньше, – подхватила слова старухи Кульзипа. – Помнится, когда мы были молодухами, такого и в помине не бывало... Веселые были времена. И дни стояли ясные, светлые, и жилось лучше... Помню осеннее урочище, где стоял наш аул. Однажды мы – а с нами была еще маленькая

шешей, сноха черного Кузеля, – отправились в колок у Кос-Утер собирать хворост...

– Э, кажется, это было тогда... – перебила Кульзипу старуха, – когда как раз приезжал растяпа-жених Меруерт.

– Да, да... Ойбай-ау, а расчудесное ведь было время! Шрайлим¹ была в самом расцвете... джигиты заглядывались на нее, облизывались. Кажется, и ты тогда с нами была, шешей? Взяли мы у жениха законную плату и решили показать ему ночью Шрайлим... Бой-бой, как она, бедная, расплакалась! Застыла вся, одеревенела. Не пойду, кричит, хоть убейте, а не выйду за такого противного! И нас, и родной матери не послушалась. Пришлось вмешаться самому Бий-аге². Боже, как он тогда рассердился! Затрясся весь. «Попробуй не пойти! – кричит. – Попробуй осрами меня! Я тебя собственными руками прирежу!» Испугались мы, выскочили из юрты... Потом пришла байбише и велела нам отвести Шрайлым к жениху. Вывели мы ее, а она ни жива, ни мертва... Повисла на наших руках, еле ноги волочит...

Улжан пошуровала огонь, поворошила тлеющий хворост и, как бы подытоживая рассказ Кульзипы, заключила:

– Думаешь, хорошо это? Плохая это примета, когда молоденькая девушка противится родителям, отказывается от их благословения. Потому и кончила так печально Меруерт. Замужем захворала, зачахла, да и померла. Конечно, разве можно тревожить дух предков?.. Тогда люди еще как-то боялись гнева всеблагого. Тогда проклятие что-то стоило. А теперь?..

¹ Замужние женщины по обычаю не называли девушек из аула мужа по именам, а давали им ласковые прозвища. Поэтому Кульзипа называет Меруерт – «Шрайлим», что означает «миловидная».

² Женщины не называли старших мужчин по имени, а тоже давали им прозвища, соответственно их положению.

Ничего этого нет. Чуть ли не каждый божий день убегают девки к своим возлюбленным. А на слезы родителей и смотреть не хотят. И никакая кара им не страшна. Бывает, еще живут припеваючи, детьми обзаводятся...

– И почему так, шешей? Неужели в наше время родительское проклятие всю силу свою потеряло?

– Когда наступает конец света, говорят старики, мусульмане лишаются благоволения аллаха. Видно, это правда. Сейчас сколько ни проклинай – толку нет.

Снова что-то пришло на память Кульзипе, и она не могла удержаться, чтобы не поделиться этим с подругами.

– А ведь верно говоришь, шешей, – пылко говорила она, вороша угли. – Верно. Нынче не пристают к человеку проклятья. Да разве мы, когда были молодыми, осмеливались перечить мужчине?! Чтобы без разрешения мужа из дома сунуться... Да что ты? Самым страшным грехом было послушание. А теперь?.. Теперь молодые снохи сами кого угодно из юрты вытурят... Заглянула я, перед тем как сюда прийти, к Мырза-аге и вижу: сидит Раушан-келин надутая, жилые нитки сучит, а муженек сапоги чинит... Ну и начал он мне жаловаться: «Образумьте свою сноху! Житья не стало. Слушать меня не желает». Говорю ей: «Ну что ты величаешься? Жагпар нарочно уговорил простаков, чтоб выбрали тебя куда-то. А ты и поверила. Неужто думаешь, в аулах, кроме тебя, и выбирать было некого? Ты что, умнее всех, что ли?» Я вижу, старик чуть не плачет, и говорю келин: «Ты слушай мужа, дорогая сношенька....» Как она – срам-то, срам-то какой – на меня налетит! «Ни в чьих советах не нуждаюсь! – кричит. – Сказала – поеду!» Так я даже растерялась. Только и нашла что сказать: «Ойбай, уймись! Такая бешеная у меня дома своя есть. Поезжай, куда хочешь. Хоть крестись – мне-то что?!» И бросилась вон...

– Ну, уж эта нечестивица скажет... Она скажет... – с угрозой и злобой проговорила Улжан.

Зейнеп тоже сердита на Раушан. Вчера, готовясь варить мыло, она послала за ней сноху, чтоб та помогла носить воду, но Раушан не пришла, сказала, что занята. Теперь, узнав, что и Кульзипа на нее в обиде, Зейнеп разозлилась еще больше.

– И во всем виноват ее муж – мямля паршивый! – крикнула она. – На людях черт-те кого из себя корчит, горло дерет, а с собственной бабой справиться не может!.. Он же купил ее! Скот за нее отдал, значит, он хозяин ее! Ну и драл бы сколько влезет!

Зейнеп с такой яростью заскребла совком в казане, будто намеревалась пробить его насквозь.

Затевая этот разговор, Кульзипа не была уверена, что женщины ее поддержат. Теперь, видя, с каким гневом обрушились на Раушан и Улжан, и Зейнеп, она осмелела. На эту молодку она точила зубы издавна. Как-то Бакентай привез из города Раушан материю на платье. Кульзипа тогда и попросила: «Если останется клочок, дай мне. Сошью ребенку рубашонку». А Раушан ответила: «Вы же богачи, как не стыдно вам у бедняков попрошайничать?» И вот сегодняшний случай. Нет, Кульзипа в долгу не останется! Все припомнит! Она так распалилась, что уже даже не замечала, как дым разъедает ей глаза. Ей хотелось еще больше унижить, оскорбить эту зазнайку. К тому же она надеялась, что Зейнеп за ее слова отвалит ей кусок мыла повесомей...

– Ой, шешей, – начала Кульзипа, – если все рассказывать, конца не будет. Мир-то свихнулся. Чего только не увидишь, не услышишь... Вчера Даукара и ваш деверек вместе с другими джигитами собрались у нас. Там такое пели, что душа мертвеет! Не приведи аллах! Говорят, коммунисты съезд созывают. Всех, кто поедет на их съезд, запишут в коммунисты. А ведь тому,

кто стал коммунистом, не увидать на том свете лика божьего. Святой Дыргинбай-хальфе сказал: «За умерших коммунистов грех молиться. Их даже омыwać и то нельзя, их просто надо свалить в яму». Вот как он сказал. А такие, как он, в этом знают толк!

Улжан поспешила поддержать Кульзипу:

– А ты, келин, знаешь Карима из Кдырбая?

– Э, этот, который шкурками торгует? Слыхала! В прошлом году с нашей буренки один какой-то Карим шкуру забрал...

– Вот-вот, это он и есть. Он самый. Дочь его была засватана в род Сары-кыз. Подросла она, невестой стала, а тут жених взял да и помер. Ну, помолвили ее с деверем. И вот в прошлом году познакомилась она с одним «торе»¹ из города. Познакомились, значит, снюхались, уговорились пожениться. Родители якобы ничего не знали, а братья – те догадывались. Однажды и прикатил «торе» за девкой. Да не один – с милиционером!..

– Ай, неверные!.. Ай, безбожники!.. Ну, ну, дальше рассказывай. Что же мать?

– А что мать? Кричала, вопила, в дочку вцепилась. А та ей: «Отстань! Ты мне не нужна. Я уезжаю с любимым». И сама залезла на бричку к милиционеру...

– Астапыралла! Помилуй бог! Какой ужас, какой позор!..

– Нынче, рассказывают, эта девка в родной аул приезжала. Так там от удивления все за ворот ухватились.

Всю прежнюю одежду сбросила. Вырядилась, как ненормальная. Обтянулась со всех сторон. Ну ни дать ни взять – остриженная кобылица. Видать, коммунистическая одежда-то. Поговаривали, будто даже крест надела...

¹ Чиновник. В данном случае советский работник.

– Что ты говоришь, шешей?! Неужто правда? Почему же не прогнали бесстыдницу, срамницу этакую?

– Как же! Прогонишь ее! Только тронь – она заявит своему коммунисту! А тот мигом запрет в темницу... Вон пучеглазый Бий-ага заикнулся было против, так его за шиворот и в каталажку. Сидит теперь...

– Ну и ну! Правду говоришь, шешей. Смутные времена настали. Все опоганилось... В наши молодые годы на Бий-агу и взглянуть-то не осмеливались, не то что в тюрьгу посадить... Да мы ни разу не переступали порог его дома. Стеснялись показываться ему на глаза. Так робели, что за все лето ни разу не пили в его юрте кумыс. Да как можно?! Эх, какое славное времечко было!..

– А говорят, будто он был замешан в воровстве, – осторожно заметила молодуха Ряш, присевшая на корточки у входа.

Пожилые бабы, сидевшие на корточках вокруг огня, все разом обернулись к ней. А Зейнеп, впившись в нее взглядом, прицыкнула:

– Ты чего, бесстыжая, на корточках сидишь? Ишь, выставилась! Это с чего ты так, попрошайка, осмелела, а?

– Нынешняя молодежь до сплетен падка, – ухмыльнулась Кульзипа.

– Благодарение аллаху, что до русских это не доходит. А то вот такие, – Зейнеп еще раз ошпарила взглядом молодку и принялась неистово мешать месиво в котле, – мигом к ним переметнутся.

Ряш вспыхнула, задохнулась от гнева, и на глаза ее навернулись слезы.

– Ну и что? И пошла бы! Разве те, кто пошел к русским, хуже меня?!

Она вскочила и выбежала из юрты.

Старухи презрительно зацокали. Зейнеп еще яростней заскрежетала совком по дну казана.

– У, поганая! Подожди, приедет муж, я уж научу его, как из твоей шкуры тесьму вырезать! Не будь я Зейнеп, если не научу!

– Астапыралла! Как она смеет дерзить, негодница!

– Что ж... Видно, в самом деле конец света близок... Старухи удрученно покачали головами.

Наступил час слепополуденной молитвы. Старухи, завернув в подола теплые куски мыла, разошлись по юртам.

II

По черной караванной дороге в сторону верховья ехал на бричке путник. Это был Бакен. Рядом с ним сидела жена в белом жаулыке – Раушан.

«Торе», приезжавший вчера к аульному правителю, приказал Бакену доставить жену в волисполком, где должно было состояться большое собрание женщин. Но чтобы муж разъезжал на бричке со своей бабой – такого еще не видывали в ауле. Так полагал Бакен. Другое дело, если поминки или надо навестить родителей жены, но чтобы баба просто так, по своей или чужой прихоти, выходила куда-то из дому – где это видано? Вот жена Тмакбая, хворающая, уже два года лежащая. Сам Тмакбай – шалопут. Никаких обычаев не признает. Узнав, что городские лекари такие болезни лечат, он возит ее каждый день в город. Так потешаются над ним все аулчане: «Смотрите, – говорят они, – как бедняга прикипел к своей бабе! Боится ее! Ослушаться не смеет!»

Среди тех, кто охотно зубоскалил над Тмакбаем, был и Бакен. Не раз, бывало, он говаривал:

– Несчастный! Он думает, если эта жена умрет, он другую бабу себе не найдет? Постыдился бы людей, а то возит ее взад и вперед на показ...

И вот теперь сам везет свою жену на виду у всего аула. И не куда-нибудь, а прямо в волость. И, конечно,

кто поручится, что и над ним люди не потешаются: «Что, этот бедняга на пир, что ли, собрался? Как ему только не совестно эдак с бабой разъезжать? Гляди: как она раскорячилась!» Всякое начнут плести. Еще из аула не успел выехать, а сплетни уже дошли до его слуха. Кульзипа по всему аулу растрезвонила: «Ну, попутал черт Мырза-агу! Испугался, что баба расскандалится! Собирается везти ее в город...» А когда он запрягал лошадь, приперлась жена Каирбая и понесла: «Да перепадет и нам что-нибудь от добычи твоей жены!» Вот какая ехидна! Неужто она думает, что он едет в волость за товаром. Эти времена отошли давно. Людям лишь бы языком трепать...

Самолюбивый, вспыльчивый Бакен бушевал от обиды и негодования. Зло подумал он и о злосчастном «торе», приезжавшем вчера к аулу. Апырмай, что он, с ума сошел?! Зачем ему понадобилось баб смущать? Ну, соберет он их, а что скажет?

Для Бакена нет ничего дороже спокойствия. Встанешь утром, сенцо скотине кинешь, по хозяйству похлопочешь; потом притомись малость, зайдешь в дом, привалишься к бедру женушки, чай не торопясь попьешь, пока тебя всего потом не прошибет, а в сумерках спать завалишься, выспишься всласть, от души... О лучшей доле на этом свете Бакен и не мечтает.

Бакен всегда был домоседом. Таких, как он, казахи называют домашней собачкой. Он не разъезжал, как другие мужчины, по аулам, никогда ни о чем не спорил и никакими аульными новостями не интересовался. На сходки, выборы, собрания тоже не ходил. А на вопрос: «Ты что дома отсиживаешься?» – только отмахивался. «Э, чего я там не видал?.. Нам все равно никто слова не даст...» Даже на собрание аулсовета, где составляли списки по сельхозналогу, Бакен и то не пошел. Так разве легко такому человеку, ни на шаг не ступившему дальше своего двора, вдруг сразу отправляться в

«дальнюю» дорогу, да не одному, а с бабой в белом жаулыке, себе на позор и добрым людям на посмеяние?

Всю дорогу думал об этом Бакен с досадой и горечью. Мысли его путались. Лоб покрылся испариной. Он чувствовал себя так, словно участвовал в чем-то очень постыдном, гадком. И при виде встречающих – даже если это были совершенно незнакомые люди – опускал голову...

По осеннему небу плыли пестрые курчавые тучки. Игривое солнце то скрывалось за ними, как красотка под цветным одеялом, то выглядывало вновь. Оно словно дразнило Бакена. Уже обессиленное и потускневшее, оно, однако, припекало так, что Бакен, одетый тепло и плотно, был весь в поту. Впрочем, кто его знает: от солнышка ли он взопрел, от конфуза ли, или от тяжелой заскорузлой овчины, в которую впору рядиться только зимой.

Выехав за курган Батыра, он остановил лошадь, слез с арбы. От самого аула ехал он надутый, хмурый, будто с женой поссорился. И ни разу даже не оглянулся. Теперь глаза его неожиданно встретились с ее глазами, Раушан улыбалась.

– А оказывается, это хорошее дело – так ездить-то! – сказала она. – Сколько я всего увидела! Сколько путников нам встретилось! А когда мы проезжали мимо поселка, я глаз не могла оторвать. Апырмай! Он совсем не похож на наш аул, тот в навозе утонул, а тут все так чисто, опрятно. И дома белые вытянулись... точно гуси. До чего хорошо! – Раушан вздохнула. – Да-а... Несчастнее женщины, наверное, нет никого на свете. Вечно в хлопотах. Всю жизнь просидит у треноги, возле закопченного казана, да так ничего хорошего и не увидит. Вот мужчинам жаловаться на судьбу нечего. Все видят, повсюду бывают...

Она сняла пуховый платок и подставила лицо ветру. Мягкая улыбка ее развеяла хмурь Бакена.

Раушан снова вздохнула. Печальные думы о женской доле не выходили из головы. Почему женщины не равны с мужчинами? Почему женщинам не позволено бывать там, где бывают мужчины? Кто может устранить эту несправедливость? Раушан вовсе не считала зазорным ехать, белея жаулыком, в бричке вместе с мужем. И его смущение было ей неприятно.

Бакен стоял возле лошади, расчесывая пятерней ее гриву, похлопывая по крупу и искоса поглядывая на жену. Ее розовое лицо, улыбающиеся глаза, ровная, разумная речь были ему понятны и приятны. И раньше, как бы он ни гневался, достаточно бывало жене улыбнуться, посмотреть ему в глаза, как он тут же оттаивал и сам начинал смеяться.

Так случилось и на этот раз. И хотя его всю дорогу угнетали думы о старых обычаях, об аульных пересудах, о сплетнях, которые отныне будут их преследовать, но достаточно было ласково поглядеть на него, как он тотчас, забыв про все свои недовольства и обиды, был готов исполнить любую ее прихоть. И теперь он был совсем не против того, чтобы сидеть с ней рядом на бричке и вместе глядеть на белый свет.

– Жена! – весело сказал Бакен. – Может быть, для других ты и строптива, и нехороша, а для меня дороже и милее тебя нет. Пусть сплетничают сколько угодно, а мы с тобой будем смеяться... К тому же ты ведь не одна едешь. Из других аулов тоже, говорят, баб собирают. Так что нечего горевать. А куда не надо, ты ведь и сама не пойдешь. Верно ведь?

От кургана ехали они уже веселые. Бакен сидел теперь рядом с женой, а она улыбалась...

III

Волисполком находился в деревянном доме под голубой крышей. Возле дома стояли три или четыре арбы. Вокруг сидели закутавшиеся в пуховые шали

пожилые женщины. Тут же томились несколько мужчин. Как это обычно бывает, все разом уставились на них – на Бакена и Раушан, и Бакен прочел в их глазах не то сочувствие, не то злорадство: «И ты, бедняга, значит, привез сюда свою бабу».

Беззубая, с ввалившимися губами старуха презрительно, в упор взглянула на Раушан, слезавшую с брички, потом поморщилась и начала шептаться с сидящей рядом серолицей, рябой женщиной. О чем они могли говорить? Наверно, «мы-то люди старые, мы свое отжили, и нам теперь все равно. Но вот чего эта молодка разъезжает?» Раушан никакого внимания на старух не обратила, но Бакен подумал, что именно так они сейчас и говорят, и ему опять стало стыдно.

Кряжистый, как бычок, козлобородый, пучеглазый мужичонка спросил Бакена:

– Из какого аула будешь, дорогой?

– Из аула Тасыбая.

– Э, значит, женушку, говоришь, привез на собрание?.. Да-а... что бы там ни говорили, а Советская власть здорово мирволит бабам. Теперь-то уж они развернутся... Теперь только держись.

Он насмешливо посмотрел на свою рябую, похожую на жабу, старуху.

– Ойбай, куда, – заверещала старуха, как бы оправдываясь. – Да я разве по своей воле сюда приехала? Я ведь ради нашей родненькой Даметкен... Записали-то ее! А как можно молоденькую девушку привезти на собрание? Она и на чужой порог еще не ступала! Вот я и...

– Заткнись, собака! – оборвал ее муж. – Я тебя как учил? Ты должна сказать, что Даметкен захворала, вот я и приехала вместо нее. Поняла?!

Старуха виновато заморгала. Она поняла, что проговорилась.

– Да свои ведь... небось не скажут никому, – пролепетала она. – А волостной спросит, я так и скажу...

Черного, пучеглазого мужика звали Ермак. В свое время он был аульным правителем и бием – судьей. Богатства особенного не нажил, но весом пользовался и вершил все дела аула. Все это теперь осталось в прошлом. Теперь он был робким и пугливым. Новая власть никак ему не нравилась. Потому он не упускает случая посмеяться исподтишка над ее порядками.

Рассказывая о неблагоприятных, по его мнению, делах и поступках теперешних руководителей аулов, бий помянул, конечно, и о старых добрых временах.

– Боже милостивый, золотое времечко было, невозвратное!.. Бывало, я, Бокбасар, – говорил он, – и Кордабай торжественно отправлялись в путь. В первый день непременно ночевали у почтенного Жапеке. Как же?! Навестить большого человека – святой долг! Бикасап-байбише, жена Жапеке, ох и мастерица была угостить!.. Помню, в тот год, когда были выборы, прислал за нами волостной. Ну, поехали мы с Бокбасаром. Осенью это было. Аул Жапеке стоял тогда еще в овраге. Приехали в сумерки. Боже, как обрадовались нам! Все мясо, что было в доме, байбише заложила в котел... Ну и поставили перед нами, представляете, громадное блюдо с дымящимся жирным мясом. Пах, пах целая гора!.. Разговариваем и едим. Едим и разговариваем. Пришли взять блюдо, а там всего несколько кусочков осталось... Все слопали! Каково?

Ермак, вспоминая прошлое, облизнулся, лицом обмяк, но тут вернулся к настоящему и сразу нахмурился, скривился, скосоротился:

– А сейчас разве живут? Мучаются! Все пошло прахом! Вот сколько времени торчим мы здесь, будто привязанные к арбам, а ведь ни одна скотина не пригласит даже на чай. Ужас, до чего бесстыдный народ

пошел! Апырмай, неужели больше делать нечего, кроме как баб возить на собрания?! Ну вот, привезли мы их, а толку что? Где это слыхано, чтоб бабские сборища проводились? Должно быть, и впрямь конец света приближается...

Ермак сразу приуныл, вздохнул тяжело, принялся теревить козлиную бороду.

Рябая старуха покорно кивала головой:

– Самое обидное, что приказали везти на собрание нашу дочь. Так и сказали: «Вези!» Это, конечно, аулнай распорядился, чтоб он погорел! Назло нам подстроил, ее записал!..

Ермак грозно выкатил глаза на старую жену, как бы говоря: «Заткнулась бы лучше!»

Вышел сутулый, тощий, светлолицый молодой человек – секретарь волисполкома – и пригасил всех в канцелярию.

Ермак отвел свою старуху в сторону.

– Смотри, – сказал он грозно, – спросит волостной, говори: «Даметкен приболела, чтобы не навлечь вашего гнева, я сама приехала вместе со стариком. Помни!»

В просторной комнате волисполкома была разостлана кошма. Женщины робко расселись полукругом. Раушан и Бакен опустились возле порога. Последним вошел Ермак со своей старухой, постоял, – он все еще надеялся, что его пригласят на почетное место, и, видя, что никто и не шелохнулся, присел около дверей.

Приехали более тридцати женщин и десять мужчин. У всех женщин на лице было выражено одно: худо ли, хорошо ли, а мы свой век прожили, так что теперь нам все равно. Раушан была самой молодой.

Здесь же, в углу просторной комнаты, стоял длинный стол. За ним сидели председатель волисполкома, секретарь и красивая смуглая казашка, одетая по-

городскому. Она сидела рядом с председателем и перебирала какие-то бумаги. Раушан, не отрываясь, только за ней и следила. Все в ней и поражало, и нравилось: и то, как она держалась, и то, как читала, и то, как ловко держала в своих нежных пальцах ручку, и то, как писала ею.

Молодой человек, председатель, рослый, рыжеватый, вышел из-за стола за дверь, выплюнул насыбай – жевательный табак, потом пошептался о чем-то с молодой смуглянкой и, обращаясь ко всем, сказал:

– Объявляю волостную конференцию женщин Бостандыкской волости открытой. Для руководства нашим собранием необходимо избрать президиум.

Женщины переглянулись. Никто ничего не понял. А некоторые даже и не услышали его, потому что были заняты своими разговорами. С левого угла вдруг послышался возмущенный голос:

– Да аллах упаси, чтобы я у кого-либо взяла хоть бы моток нитки! Эта черная шестей напраслину на меня городит!

Женщина обиженно надула губы и собралась было еще что-то сказать, но ее прервал председатель волисполкома:

– Прошу посторонние разговоры оставить!

Женщины сразу умолкли и встревоженно покоились на строгого молодого человека.

– Так вот, товарищи женщины, выбирайте двоих для руководства собранием.

Смуглая молодка, сидевшая за столом, внимательно оглядела всех собравшихся. Взгляд ее остановился на Раушан.

– Как зовут эту женщину?

«Боже! Неужели опять ее куда-нибудь выберут?!» – с тревогой подумал Бакен и, похолодев, заерзал, быстро-быстро заморгал.

– Госпожа, пожалей нас. Мы люди бедные. У нас даже подводы нет; чтобы сюда приехать, у Тмакбая еле лошадь выпросили...– поспешно заговорил он.

И молодка за столом, и председатель волисполкома, глядя на растерянного Бакена, рассмеялись.

– Да мы никого никуда насильно не выбираем. Нам нужно для ведения собрания два человека. Понятно? Вот сами и выберите,– еще раз пояснила молодка.

Ермак почему-то усмехнулся и показал на Раушан.

– Вот эта келин, по-моему, подойдет. Предлагаю избрать ее...

Этот коварный поступок старого хитреца (он оставил дома дочь и вместо нее привез дряхлую жену) возмутил и Бакена, и Раушан.

Раушан собралась было уже отказаться, но не решилась. Смуглая молодка ей понравилась с первого взгляда.

Как вас зовут?– ласково спросила смуглянка.

– Раушан.

– Не будет ли возражений против избрания Раушан в президиум? – спросил собравшихся председатель волисполкома.

Кто понял, кто не понял, о чем идет речь, однако все согласно закивали.

Раушан попыталась остаться на своем месте у порога, но ее настойчиво пригласили к столу и усадили рядом со смуглой молодкой. От волнения Раушан вся дрожала, руки-ноги у нее словно одеревенели, она вся пылала, лоб покрылся испариной...

Молодку в городской одежде звали Марьям. Она была заведующей уездным женотделом и специально приехала сюда для проведения волостной женской конференции.

Никого больше в президиум затащить не удалось, и тогда председатель волисполкома сел за секретаря конференции, а председательствовала сама Марьям.

Она объявила повестку дня и приступила к докладу. Марьям живо рассказала о беспросветной жизни казашки в дореволюционном ауле, сказала, что ею помыкали, как рабыней, а обращались, как со скотиной, выдавали замуж насильно за нелюбимого, но Советская власть, – сказала она далее, – покончила с бесправием женщины, уравнила ее полностью с мужчинами, запретила специальным декретом калым, многоженство, принудительное замужество. Вначале, казалось, женщины ничего толком не понимали, но постепенно взволнованная речь докладчицы начала доходить до них. Некоторые даже сочувственно и проникновенно цокали языками.

– Но равенство само по себе не придет, – продолжала Марьям. – Угнетенные должны сами бороться за свою свободу. Советская власть из всех сил старается утвердить равноправие. Но одного старания власти мало. Женщины должны на деле сами доказать, что они действительно равны с мужчинами, что не уступают им ни по уму, ни в труде. Во всех аулах имеются органы Советской власти. Однако есть ли в этих органах женщины? Очень, очень мало. Встречаются, конечно, грамотные одиночки, но большинство по-прежнему привязаны к очагу. Многие не переступают порог своей юрты, не ходят на собрания, не участвуют в общественной жизни. Стыдятся, робеют... В этом виноваты и мужья, и родители. Они мешают женам и дочерям, не пускают их, стараются держать их дома, взаперти, на привязи. Пора решительно кончать с этим злом! Раз женщины равны с мужчинами, значит, они должны наравне с мужчинами активно участвовать в общественной работе!

Окончив доклад, Марьям спросила, не желает ли кто-нибудь задать ей вопрос, но никто из женщин не раскрыл рта. Тогда подал голос Ермак.

– Скажите, после собрания мы повезем своих старух домой или прикажете их еще куда-нибудь везти?

Марьям засмеялась:

– Не бойтесь... всех повезете обратно.

Марьям заметно удручало то, что ни одна женщина не просила слова. Стало ясно, что от старух ничего не добьешься. Казалось, им нужна была одна свобода – скорее вернуться домой, где можно было бы опять теревить шерсть, прясть пряжу и в положенное время молиться аллаху.

Огорченная, смущенная Марьям посмотрела на Раушан, улыбнулась:

– Может, вы что-нибудь скажете?

Раушан обмерла. Она только сейчас немного справилась со своим смущением. И вдруг ее просят выступить здесь перед всеми. Снова робость сковала ее, даже больше, чем тогда, когда шла к столу. Однако она уже понимала, что что-то сказать надо. С какой-то обреченностью подумала она в этот миг, что уж коли посадили ее за стол, значит, речь произнести она обязана. Видно, так уж тут положено. Охваченная дрожью, растерянная, поднялась она со своего места. Губы ее вздрагивали. Во рту пересохло. Похолодел и Бакен, поняв вдруг, что жена его будет говорить. О, аллах, как бы не осрамилась...

– Что я могу сказать? – начала Раушан. – Ну, раз просят, значит, может, и скажу что-нибудь... Все, что сейчас рассказала эта женщина, – истинная правда... Недавно в нашем ауле выдали замуж молоденькую дочь кривоногого бий-ага. Жениху шестьдесят лет. Убивалась Еркежан, плакала, не хотела идти за него. Так ее силком посадили в бричку и повезли... Все это происходило на глазах у аульная... Мой-то тоже собрался было поехать на свадьбу, но я его удержала, сказала: постыдись девичьих слез... А у Еркежан был любимый джигит. Все это знали. Но он – бедняк, и бий-ага не захотел за него отдать дочь. На скотину позарился. Но ведь женщине не скот нужен, а муж. Избранник. Вот

сидит мой недотепа, невзрачный, но мы нравимся друг другу и живем дружно, весело...

Все в комнате рассмеялись. Улыбнулась и Марьям, однако призвала к порядку

– Что-то вроде хотела сказать... Да вот забыла, – сконфузилась Раушан. – Да, вот что: женщина всю жизнь из дома не выходит. И кроме своего аула ничего не видит и не знает. А я вот пока ехала сюда, многое повидала. Даже свой поселок, о котором и знать ничего не знала, увидела по дороге. Раньше я думала, что председатель волости недосыгаем, как звезда на небе, а сегодня сижу с ним рядом за одним столом. Значит, если поездить, походить, на мир поглядеть, то и женщины настоящими людьми станут. Почему бы нет? Небось у них такие же мозги, как у мужчины. Ведь не напрасно же в старину наши деды говаривали: «Хорошая жена и плохого мужа сделает человеком!» Выходит, имели основания так говорить... Да-а... и еще я вот что хотела сказать. Когда мы приехали сюда, вот этот человек, – Раушан показала на Ермака, – сидел возле своей телеги и хвастался, что дочь, избранную на женское собрание, оставил дома, а вместо нее приезз свою старуху...

– Ойбай, милая, что ты?! Наша Даметкенжан серьезно заболела, – в один голос завопили Ермак и его жена.

– Ах, негодница! Молода, молода, а болтать горазда! – заворчали старухи. – Какое ей, сороке, дело до других?!

Затем опять выступила Марьям. Речь Раушан ей очень понравилась, и она похвалила ее.

– В аулах немало таких женщин, как Раушан, – сказала Марьям. – Они могут всюду работать наравне с мужчинами. Их следует привлекать к советской работе, научить делу. И тогда они никому ни в чем не уступят. Раушан может стать предводительницей бесправных аульных женщин. Я приветствую ее выступление!

Марьям захлопала в ладоши. Вместе с ней зааплодировали председатель волисполкома и несколько мужчин. Бакен, видя, как все хвалят и приветствуют его жену, почувствовал, что он вырос чуть ли не до небес.

Раушан избрали делегаткой на уездную конференцию, надо было избрать еще одну женщину, однако все были старухи, и тогда председатель волисполкома предложил избрать дочь Ермака. Старик расстроился, расшумелся. Начал уговаривать собрание вместо дочери послать его самого, но никто не стал его слушать. Таким образом, дочь Ермака – Даметкен должна была вместе с Раушан поехать на конференцию в уезд.

IV

Город. Двухэтажные и трехэтажные дома. По узким, прямым улицам спешит, носится взад и вперед народ. Как только въехали в город, Раушан почудилось, что она попала в совершенно другой мир.

Ехали на двух подводах: на передней Марьям, на второй Бакен, Раушан и Даметкен.

Даметкен и Раушан сидели рядом. Они удивленно озирались по сторонам и переговаривались, делились впечатлениями:

– Смотри, Даметкен, смотри! Ойбай, ну и чучело! Волосы остригла, что ли?!

– А платье-то, глянь...

– Маскара! Какой стыд!

– А голоногая-то, голоногая-то как семенит!.. Умора!..

– Тьфу, сгинь, шайтан!

Что-то рядом затрещало, прогрохотало. Бакен толкнул Раушан в плечо:

– Вон, вон! Арба без лошади!

– О, аллах... Это какое-то колдовство...

Посередине улицы шли гуськом пять верблюдов. Мимо них, гудя, пронесся автомобиль. Верблюды в испуге шарахнулись в стороны. Вздогнули Раушан и Даметкен. Автомобиль промчался так быстро, что Раушан даже не разглядела в нем людей. Только и заметила женщину с крашеными губами...

Лошади остановились.

– Здесь моя квартира. Идемте ко мне, – сказала, улыбаясь, Марьям.

От долгого сидения у Раушан затекли ноги, и она с трудом передвигала их.

Мимо них прошли под руку мужчина и женщина и удивленно покосились на странных путников. Раушан тоже поразились. Женщина была поджарая, длинная, как журавль, с горбатым носом, с белесыми, как соль, глазами. Лицо бледное, точно мукой посыпано, губы кроваво-красные, накрашенные. Раушан не выдержала, рассмеялась.

– Ну и разрисовал господь ряшку бедняжке!..

Марьям жила в одной из крайних комнат длинного кирпичного дома. Все убранство ее состояло из железной кровати в углу, стола и нескольких стульев. На столе возвышалась стопка книг, рядом лежала книга фотографий.

Марьям забегала, захлопотала. Принесла ведро воды, чтобы гости могли умыться после дороги. Быстро сготовила чай, накрыла стол, расставила тарелочки с конфетами и другими сладостями.

В это время вошла в комнату черная, рябая, с большими овечьими глазами женщина и, едва поздоровавшись с Марьям, заговорила. Говорила она быстро, горячо, не останавливаясь. Из ее уст вылетали такие непонятные, неслыханные слова, как «газета», «спектакль», «вечер». Болтливость черной женщины очень удивила Раушан.

– Значит, сегодня будет спектакль? – еще раз спросила Марьям.

– Ну как же? Конечно! А после спектакля – концерт! И я в нем участвую. А Батсаи будет читать стихи «Свободная женщина».

И снова полились бесконечные городские новости. Но вдруг черная загадочно улыбнулась и сказала:

– А ты слышала – он ведь приехал...

– Кто?

– Абиль! И между прочим, о тебе уже спрашивал. Я сказала, что ты скоро вернешься... Придешь сегодня на спектакль – обязательно его увидишь.

Марьям зарделась, смутилась и замолчала, и чай пили уже молча.

После ужина усталые и разморенные Раушан и Даметкен собрались спать, но Марьям решительно запротестовала:

– Что вы?! Раз приехали в город, надо посмотреть спектакль.

Бакен уже разделся и лег. Раушан знала, что муж обидится, если она уйдет, но она не устояла перед просьбой пылкой Даметкен. Марьям позвала и Бакена пойти в театр, но тот только отмахнулся:

– Да ну его... Устал я...

Точно звезды, горели фонари. Толпами шли люди, словно льдины в половодье. С любопытством, озираясь по сторонам, Раушан и Даметкен шли по улице и без конца натыкались на прохожих. Один раз Раушан споткнулась и даже упала.

А у магазина с яркими витринами Раушан остановилась и стояла так, не в силах оторваться.

– Апырмай, почему же эту материю не везут в аулы?

И Даметкен подошла к витрине, уставилась, ошеломленная:

– Глянь... такой же красный сатин, как на платье у келин Наушабая.

– Байская ведь сноха. Специально, видно, сюда ездили...

– А плюш-то како-ой!

– Да, дорогие все вещи...

– А тут, боже милосердный, какие каблуки на ботинках. Высоченные! Как их только носят?!

Даметкен тревожно оглянулась.

– Ой, Раушан, что делать? Марьям-то где? Мы ее упустили.

– Чего ты говоришь, ойбай?

Забыв про магазины и все товары, кинулись они искать Марьям и вконец растерялись.

– Даметкен, милая, ты хоть знаешь, откуда мы шли?

– Вон с той стороны, – показала девушка.

– Нет, что ты?! Вот отсюда же мы шли...

Женщины потоптались, посмотрели туда-сюда и поняли, что безнадежно заблудились.

Из-за угла стремительно вышел молодой человек, одетый по-городскому. Раушан с надеждой посмотрела на него. Но он только мельком покосился на них и пронесся мимо.

– Даметкен, а ведь он, кажется, казах. Может, спросим, как нам пройти?

Молодой человек обернулся:

– А куда вам нужно?

Убедившись, что он действительно казах, женщины бросились к нему. У него были маленькие, «мушкой» усы, толстые губы. А сам он был серолицым, сутуловатым.

Раушан, с трудом переводя дыхание, сказала:

– Мы только сегодня сюда приехали из аула. Нас Марьям привезла на собрание женщин... Мы шли на спектакль, загляделись на товары в магазине и потеряли Марьям. Теперь не знаем, как быть...

Джигит снисходительно улыбнулся. Явно рисуясь, он достал из кармана пачку папирос и предложил женщинам:

– Закуривайте... не бойтесь. Если уж вам понадобилась Марьям, я ее сейчас же найду.

От этих слов Раушан сразу же настолько успокоилась, что для того, чтобы не обидеть вежливого джигита, взяла из пачки папиросу и неловко закусила ее. Другую она протянула Даметкен. Девушка замотала головой, даже отпрянула, но Раушан сунула папиросу ей в руку.

– Неудобно отказываться, – заметила она, – когда молодой человек, твой сверстник, что-нибудь предлагает...

Незнакомец весь расцвел, заулыбался и заговорил легко и развязно.

– Ах, как верно сказано, дженгей! Ну, прямо в точку попали! Один дает, другой берет – ведь в этом прелесть молодости. Не так ли, дженгей?

Он еще больше приблизился к Раушан, и она в смущении отстранилась, однако, тут же сообразив, что без него им не найти Марьям, смирилась, приняла покорный вид. Джигит что-то бойко рассказывал, смеялся, шутил, а сам незаметно все теснее прижимался к Раушан и, наконец, внезапно взял ее за руку. Раушан вздрогнула, вырвалась, отшатнулась.

– Вы что?! Зачем руки... распускаете?! – возмутилась она.

Джигит засмеялся:

– А чего испугалась, дженгей? У нас принято ходить под руку. А то – позор!

– А почему бы не идти по-казахски?

– Я же говорю – позор! Пойми, дженгей, люди смеяться будут. Скажут: «Смотрите-ка на них, плетутся, как пришибленные».

Раушан не знала, что ответить, и с недоумением посмотрела на Даметкен. Теперь они шли по тускло освещенной улице, и лица девушек нельзя было разглядеть. Раушан про себя решила, что Даметкен, еще незамужней, конечно, более пристало идти с джигитом.

– В таком случае идите лучше с этой девушкой под руку, – сказала она...

На углу улицы стояло двухэтажное белое здание. Вокруг ярко горели фонари. У входа толпился народ. Одни входили, другие выходили. Даметкен, Раушан и незнакомец подошли к дверям.

– Вот в этом доме мы и найдем вашу Марьям, – сказал джигит и первый скользнул в толпу. За ним протиснулись и Раушан с Даметкен.

Они вошли в просторный зал, битком набитый народом. Все ходили под руку по два и по три по кругу, словно в шумной игре «Хан Кубелек». Все, что приходилось видеть Раушан до сих пор, было ничто по сравнению с тем, что она увидела тут. Заметила она здесь и немало казахов.

– Марьям куда-то вышла, скоро, говорят, придет. А мы покамест посидим в буфете, – предложил незнакомец и уверенно взял Даметкен под руку. Девушка упиралась, как строптивый верблюжонок, и, однако же, поведение серолицего теперь уже не казалось Раушан ни недостойным, ни даже странным – ведь все в зале ходили под руку. Значит, решила она, и в самом деле в городе так принято...

Перед ними открылась большая квадратная комната. Окна – в рост человека, зеркала до потолка. Посередине в горшках и кадках цветы. Когда они вошли, Раушан с удивлением увидела, как один джигит, словно на поводу, тащил за собой тугощеку, очень смуглую девушку-казашку, а за ними плелась, разинув рот, выпучив глаза, какая-то женщина в измятом, нелепо торчащем на голове жаулыке. «Э, значит, и эти бабы притащились на спектакль», – подумала Раушан про себя и, приблизившись, вдруг увидела свое отражение в зеркале и невольно рассмеялась.

Джигит усадил их за столик, и тут к ним подбежал юркий, длинноусый русский в белом фартуке. Серо-

лицей пробормотал ему что-то непонятное, и тот очень скоро принес шесть черных, узкогорлых бутылок и три граненых стакана.

Раушан и Даметкен от удивления переглянулись.

Джигит, казалось, был страшно доволен и горд тем, что по обе стороны его сидели молодые женщины. Он вскинул голову, взял бутылку и, улыбаясь, принялся разливать по стаканам что-то золотистое, пенящееся.

– Что это еще такое, дорогой? – вырвалось у Раушан.

– Не беспокойтесь, дженгей. Это... городской кумыс. Давайте выпьем...

Джигит засмеялся, стукнул своим стаканом о стаканы женщин и выпил все сразу.

Раушан давно хотела пить, а тут еще слово «кумыс» возбудило жажду. Она притронулась губами к стакану и сразу почувствовала горький, незнакомый привкус.

– Ойбай! Я эту гадость пить не стану!..

Но молодой человек начал настойчиво уговаривать женщин и едва ли не силком заставил-таки их выпить по два стакана пива. Сам он зараз опустошил три бутылки, повеселел, раскраснелся и говорил, говорил без умолку и сразу обо всем. Он казался добродушным, милым малым, и обе женщины доверчиво слушали его, раскрыв рты.

Вдруг он спохватился и неожиданно сказал:

– А вы ведь не знаете, кто я такой! Ну, конечно... Так знайте: я инструктор уездного финотдела. Каждый месяц получаю сто пятьдесят рублей. И зовут меня – Абдиш...

В представлении Раушан сто пятьдесят рублей были огромными деньгами. «Видно, большой начальник», – решила она про себя. Но поражало, что такой важный начальник столько времени провозился с ними и снисходил до разговоров с аульными бабами.

– А эта голубка, – он показал на Даметкен, – уже просватана или еще свободна?

– Просватана, – ответила Раушан.

– И, конечно же, за нелюбимого?..

Раушан не знала, кто жених Даметкен. Да и девушка вряд ли сама знала, хорош ли ее суженый или плох. К тому же она покраснела и промолчала. Абдиш, не дождавшись ответа, продолжал:

– А теперь ведь равноправие! Такое вот настало время. Нечего женщинам замыкаться, стесняться. Кто нравится, с тем и веселись, с тем и гуляй. Прошло проклятое время, когда выдавали замуж за нежеланного. Отныне женщинам – полная свобода!

Он придвинул стул, наклонился к Даметкен. Потом накрыл своей ладонью ее руку, начал разглядывать и передвигать кольца, густо нанизанные на ее пальцы.

– Ойбай, больно мне, – сконфуженно улыбнулась девушка, пытаясь отдернуть руку.

– Ну что вы, что вы, голубушка, пока я еще ничего такого вам не сделал, чтобы было больно... – усмехнулся Абдиш и сильнее сжал кисть девушки.

– Ах, вот вы где, оказывается! – слышался за спиной голос Марьям.

Раушан вскочила со стула. Абдиш поспешно отодвинулся от Даметкен.

– Где только я не искала вас! – сказала Марьям. – Даже домой забегала. Ну, думала, заблудились мои гости...

– Да, если бы не я, – заметил Абдиш и начал длинно рассказывать, как он спас гостей Марьям.

Все вместе вошли они в зрительный зал. Гремела музыка. Плотнo – ряд к ряду – сидели люди.

Раушан, Даметкен, Марьям и Абдиш уселись посередине. Раушан повеселела и все время улыбалась. Теперь, сидя подле Марьям, она чувствовала себя очень уверенно.

Смолкла музыка. Погас свет. Распахнулся занавес. Перед глазами зрителей возник густой лес. Вдали, у горизонта, в мареве вставали горы. Ярko синело озеро. Вокруг паслись стада...

Раушан, забыв про все, зачарованно смотрела на сцену...

V

Уездная конференция женщин открылась на третий день после приезда Раушан и Даметкен. Зал театра был полон. Большинство собравшихся составляли женщины средних лет. Девушек и молодок собралось немного. Но встречались изредка и дряхлые старухи.

Когда выбирали президиум, снова было названо имя Раушан. Как и тогда, в волости, пришлось ей сесть за длинный стол вместе с руководителями конференции. Однако, по сравнению с волостным собранием, здесь было немало нового: женщин собралось значительно больше, а в президиуме не оказалось ни одного мужчины.

Первой выступила русская женщина. Вслед за ней вышел на трибуну молодой казах с кожаной сумкой под мышкой. Раушан вся превратилась в слух. Ей было интересно узнать, что скажет этот джигит, однако она ничего не поняла, к тому же вся речь его, как показалось Раушан, состояла из одного слова «значит».

По рядам прошла какая-то женщина с кипой бумаг и начала раздавать их присутствующим. Большой сложенный вчетверо лист с большими печатными буквами достался и Раушан. Что с ним делать? Она покосилась на соседей. Женщины в президиуме развернули листы и склонились над ними. Тогда и она развернула лист и сразу же увидела посередине какой-то снимок. Господи, кто это? Какая-то старуха беззубая, что ли?.. Раушан сперва и не узнала себя.

Вчера в женотделе встретил ее какой-то сотрудник газеты и записал ее имя и фамилию. Имя она назвала, а фамилию произнести не осмелилась. Тогда на помощь ей пришел Бакен, сказав, что фамилия жены – Шокпарбаева.

Тогда же длинноволосый русский усадил ее на стул и долго суетился вокруг нее, говоря, что это он ее фотографирует. И вот сегодня действительно ее фотография появилась в газете.

Еще одна женщина сделала доклад по-казахски. Говорила она очень просто, понятно, и ее слова о том, что «казахская женщина, которую продавали, как скот, должна обрести истинную свободу», запали в душу Раушан, как заповедь пророка. Многие в зале тоже слушали оратора с волнением. Но были и недовольные. Они перешептывались, озирались вокруг или – в знак умиления – привычно щипали себя за щеки. Раушан, сидя в президиуме на сцене, видела все, что происходит в зале. Взгляд ее упал на молодую, просто, но опрятно одетую женщину. Раушан понравилось ее круглое миловидное румяное лицо. На голове женщины была свободно накинута шелковая шаль. Она слушала и изредка что-то записывала.

Раушан неотрывно наблюдала за ней.

После докладов председательница собрания спросила, нет ли у делегатов вопросов, и снова, как и тогда, в волости, никто не откликнулся. Только одна – та, в шелковой шали – поднялась с места и, заглядывая в свои записи, стала задавать вопрос за вопросом...

Вечером, после заседания на квартире у Марьям пили чай. Потом хозяйка куда-то ушла по своим делам. Бакен отправился поить и кормить лошадь.

Раушан и Даметкен стало скучно в комнате, они вышли на улицу и уселись на лавочке у ворот. Стали вспоминать все, что увидели и пережили за последние три дня.

– Оказывается, до сих пор мы жили, как в потемках. О белом свете и представления не имели. Только сейчас я увидела, как интересно жить на свете, – сказала, вздохнув Раушан.

По улице шли два человека. Проходя мимо лавочки, они вдруг круто повернули и подошли к Раушан и Даметкен.

– Здравствуйте, женгей!

Оказалось – Абдиш. Рядом с ним был незнакомый коренастый джигит.

– А ну, голубушка, позвольте пожать вашу милую ручку, – сказал Абдиш, усаживаясь рядом с Даметкен.

Женщины теперь заговорили с ним, как со старым знакомым.

В это время, управившись с делами, вышел за ворота Бакен. Раушан окликнула мужа, познакомила его с Абдишем, сказала, что это он помог им в тот первый вечер, когда они заблудились в незнакомом городе.

– Так что же мы сидим? – спросил Абдиш. – Не лучше ли прогуляться? Может, и вы, почтенный, – он кивнул Бакену, – с нами пойдете?..

Возражать не стали. Ведь в городе всегда столько соблазнов.

Абдиш взял Даметкен под руку и пошел впереди. Коренастый джигит засеменил было позади, но вскоре поравнялся с ними и тоже прицепился к девушке с другой стороны.

Тогда Раушан подхватила под руку Бакена. Тот было заартачился, отстранился, но Раушан сказала мужу: ничего, мол, не поделаешь, в городе уж такой порядок. По пути она расхваливала Абдиша: дескать, и приятный, и молодой, и к тому же сам делает деньги.

Возле двухэтажного кирпичного дома на углу Абдиш остановился.

– А не завернуть ли нам, уважаемый, сюда и выпить немного пива? – предложил он.

Бакен был польщен: «человек, делающий деньги», по всему видать, важный начальник, почтительно назвал его, Бакена, уважаемым, да еще и пиво пить пригласил. Ему впервые посчастливилось испро-

бовать этот напиток на тое у Мураша, когда того избрали волостным, и с тех сор только от одного слова «пиво» у него становилось хорошо на душе.

Они поднялись на второй этаж и вошли в длинную угловую комнату. Тускло горела электрическая лампочка. В красноватом отблеске ее комната казалась сумрачной.

Они разместились за круглым столиком. Абдиш постучал, тотчас подбежала к ним взлохмаченная рыжая девушка в белом фартучке.

– Пива полдюжины! – бросил Абдиш.

– Да провались оно! – поморщилась Раушан. – Не будем его пить.

Коренастый подтолкнул Абдиша:

– Для женщин чего-нибудь сладенького.

– Вот сладенькое можно, – улыбнулась Раушан.

– Да, женгей! Ради вас из-под земли достану любую сладость! – И Абдиш с размаху швырнул фуражку на стол.

Вскоре на столе выстроились в ряд шесть бутылок пива и две бутылки портвейна. Женщинам налили вина, а мужчины принялись за пиво. После того как раза два-три осушили бокалы, все оживились, и разговор становился все веселее. Раушан то и дело все громче и громче перебивала мужчин, и Бакен понес такую околесицу, что молчаливая, серьезная Даметкен вдруг повеселела и начала улыбаться, точно солнышко из-за туч. Абдиш как бы невзначай подвигался к ней все ближе и ближе, брал за руку, а раз попытался даже обнять ее.

Коренастый подсел к Раушан. Каждый раз, подавая стакан, подливая вина, он ласково называл ее «женгей» – «тетушка», будто нечаянно касался ее рук. Когда же после долгих уговоров был выпит и последний стакан вина, коренастый поймал под столом руку Раушан и пожал. И она, разгоряченная

вином, скопсилась на джигита, рассмеялась и тоже стиснула ему руку.

– Почтенный, а не выпить ли нам беленького? – спросил коренастый Бакена.

– Э, дорогой, воля ваша, – ответил, смеясь, Бакен. – Поводья нынче ведь в ваших руках...

Бакен явно захмелел, однако смело выпил подряд три рюмки водки. Тут его развезло, захотелось выйти на улицу, он с трудом встал, пошатнулся, хотел устоять, но ударился об стенку, рухнул на пол и, уже лежа на полу, расхохотался на всю комнату. Он еще пытался что-то пробормотать, что-то объяснить, но уже еле ворочал языком...

Раушан все это время чувствовала себя прекрасно, но тут ее вдруг затошнило, помутилось в глазах, закружилась голова...

Она не помнила, сколько продолжалось это хмельное забытие. Открыв глаза, она увидела, что Абдиш обнимает и целует Даметкен.

– Ты что это, бесстыдник, делаешь? – закричала она. – Не лапай чужую девушку! Не твоя невеста! А ну, отцепись!

Она хотела подняться, броситься на помощь девушке, но тут кто-то крепко обнял ее сзади.

– Оставьте их, женгей! – жарко зашептал ей в лицо коренастый. – Пусть они веселятся! А мы тоже позабавимся!

Он прижался к ней, тяжело засопел и полез к ней мокрыми губами. Раушан вздрогнула от отвращения. Хмель миготом вылетела из головы, она сильно толкнула в грудь коренастого. Этого он никак не ожидал, покачнулся и упал на стол. Бутылки и стаканы со звоном и грохотом полетели на пол.

– Что это за безобразие? Что тут происходит? – раздался сзади строгий голос.

Раушан оглянулась и увидела милиционера-казаха.

Коренастый поднялся и, пьяно выкатив глаза, вновь попытался обнять Раушан. Милиционер остановил его.

Раушан окончательно пришла в себя. Она уцепилась за рукав милиционера и заплакала.

– Защити нас, дорогой! Спаси от этих... ублюдков!..

VI

Раушан проснулась и подняла голову. Некоторое время она удивленно озиралась, не в силах что-либо понять, протерла глаза и опять огляделась. Рядом, в постели, в верхней одежде спал, согнувшись, Бакен. Да, да, такой же, как всегда, обычный муж ее Бакен. И шрам под глазом, и черная родинка на носу, и жесткие щетинистые, но очень редкие усы, которые всегда топорщились, – все это было очень знакомо Раушан.

Она повернулась на другую сторону и увидела Даметкен. Девушка, растрепанная и тоже в верхней одежде, безмятежно посапывала. Под ней было стеганое одеяло, под головой подушка...

В левом углу комнаты стояла кровать Марьям. На стене над кроватью рядом с фотографией Марьям висела еще одна карточка, с которой нежно смотрел на хозяйку изящно одетый мужчина с коротко подстриженными усами. Эти фотографии Раушан заметила еще в первый день приезда. Однако тогда она взглянула на них лишь мельком. А теперь не могла оторваться. И чем больше она смотрела, тем яснее становились мысли, заметнее рассеивался туман в голове, и все отчетливее вспоминались события прошлой ночи. Раушан передернуло. Да что же было?.. Смутные видения проплыли перед глазами: вот они идут под руку, вот пивная, стол, заставленный бутылками, Абдиш, закидывая назад длинные волосы, фальшиво смеется, чокается, предлагает поднять стакан... Чем больше вспоминала Раушан, тем сильнее ею овладевал гнев. Вдруг, сама не зная почему, она вскочила и

бросилась к висевшей на стене фотографии. Она уже протянула к ней трясущиеся руки, но тут взгляд ее упал на другой фотоснимок, на котором весело улыбалась Марьям. Раушан опомнилась. Еще мгновение – и она в ключья изорвала бы фотографию незнакомого джигита! «Бесстыдник! Видать, такой же прощелыга, как Абдиш. Тоже, видать, хочет обольстить чистую, невинную девушку! Совести у них нет, у этих образованных!» – с яростью думала она. Ей казалось, что, изорвав карточку этого хлыща, она и Марьям спасет, и хлыща покарает. Но тут пришла ей в голову другая мысль: ведь Марьям – это совершенно необыкновенная, какая-то особенная женщина. Никто не посмеет проделать над ней то, что два этих хлыща проделали над ними. Значит, и фотографию рвать нечего. Да и мужчина этот, может быть, близкий родственник ее, может, даже дядя или брат. Как она объяснит потом свой поступок Марьям?

И, опустив голову, Раушан вернулась в постель. Она чувствовала непривычную тяжесть во всем теле, голова болела, в висках стучало. Дрожали руки и ноги, будто после изнурительной болезни. Она улеглась рядом с мужем и стала думать. И разные случаи из ее прошлого представились ей тогда.

Вот она еще совсем молоденькая девушка, и к ней, шутя и посмеиваясь, подбегает дженге-тетушка и требует от нее суюнши – подарок за радостную весть. Оказалось, приехал жених. Надо радоваться. Девушка, за которую сватаются, должна быть веселой. И она заставляет себя казаться веселой и послушной, исполняет все наставления шумливых тетушек... Женихом оказывается Бакен. При первой же встрече он говорит, что страстно любит Раушан и обещает «по гроб жизни» ее холить и не обижать. Прошло пять лет, и Бакен и в самом деле ни разу не изменил своему слову. Любил и никогда ни в чем не отказывал. И одна беда

была у них: не посылал аллах им детей. Узнав, что какой-то баксы-шаман знает средство от бесплодия, Раушан надумала обратиться к нему, и когда осторожно заговорила об этом с мужем, тот без лишних слов взял у Алимбая займы денег, обещав отдать осенью единственного теленка, и свез жену к лекарю-чудодею. Да что о том говорить... И теперь, вот в эти дни, какой бы другой мужчина повез свою молодую жену на конференцию? А разве ему легко было? Чего только не болтали в ауле, когда Раушан избрали на волостное собрание? Иные нашептывали Бакену, что, гляди, мол, разведут вас коммунисты. И Бакен, серьезно встревоженный, даже слышать ничего не желал о собрании. Пытался отговорить и жену. «Зачем нам все это, дорогая? – робко говорил он. – Не лучше ли сидеть дома?» Однако Раушан решила ехать, и Бакен не осмелился ей перечить. Ради жены он был готов на все. Непонятно только, за что он ее так любит? Что такое он в ней нашел?

О городе Раушан приходилось раньше только слышать. И вот наконец она все увидела собственными глазами. Вернется в аул – разговоров и рассказов хватит на целый год! Все ей тут казалось удивительно интересным и хорошим. Казалось... Вчерашняя ночь будто разом смыла все радостное и хорошее. Неужели, сотворив такое чудо, как город, человек не смог забыть свои пакости и мерзости? Почему в нем живут такие, как этот проклятый Абдиш?.. Ну хорошо... допустим, с образованием, большой начальник, сам деньги делает. Так ведь он должен украшать город, заботиться о нем, а он ведет себя как мерзавец, как же так? А может, все образованные такие?

Раушан запуталась в своих мыслях, потому что никак не могла понять, как образование и зло могут существовать вместе. Все было туманно, зыбко, и пока она сделала для себя только один вывод – «все обра-

зованные мужчины – негодяи». Но почему так, и действительно ли это так? Этого понять она была не в силах. Окончательно потеряв нить своих размышлений, пригладила ладонью волосы и повернулась к Бакену. Он спал. Она долго всматривалась в его лицо и вдруг крепко прижалась к нему и горячо поцеловала в обе щеки.

VII

Когда Раушан и Даметкен пришли на конференцию, был как раз перерыв, и все делегатки и гости толпились в передней комнате. Большинство женщин, как и Раушан, приехали из аулов. За одной молодой понуро плелся, точь-в-точь так же, как Бакен, рослый, неуклюжий мужчина. Две пожилые тетки всполошенно искали кого-то и наталкивались на всех подряд. Одна из них, проходя мимо, в упор поглядела на Раушан.

– Э, явились, значит!

Кто-то схватил Раушан за локоть. Она вздрогнула, как испуганная лошадь, и отпрянула, но увидела Марьям и густо покраснела, опустив глаза. Однако Марьям и виду не показала, а сразу же заговорила о последних новостях. Один казах, оказывается, расскандалился и хотел увезти сразу же жену обратно, не дождавшись конца конференции. Хорошо говорила Мусралиева – тема была все та же; тяжелое положение женщины в ауле.

– Ты могла бы выступить не хуже нее, – сказала Марьям. – Может, выступишь, как тогда на волостном собрании? Я тогда же рассказала про твою речь Абилю. Он очень обрадовался и заметил, что среди казахских женщин таких немало, их нужно только правильно воспитать и привлечь к работе. Да, кстати, ты, кажется, еще не знаешь Абиля? Он где-то здесь. Пойдем, познакомлю.

И, все так же держа Раушан за локоть, она повела ее куда-то. Возле закрытых дверей Раушан остановилась, высвободила руку:

– Марьям!

Марьям удивленно обернулась:

– Хочешь что-то сказать?

– Да.

– Ну, говори!

Раушан замялась.

– Да говори, говори, не стесняйся. Ты не должна ничего таить от меня. Мы же подруги...

«Говорить или нет?» – подумала Раушан. А вдруг Марьям обидится? Она ведь тоже образованная. А как говорится, у всех, кто в шапках, и честь одна. Да и все ли образованные такие же, как эти двое? Если ученых не считать людьми, то кто же тогда человек? Невежественный Рыспай, что ли? Имеет в ауле двух жен и содержит их, как рабынь? И вообще, что такое «человечность»? Если такие толстобрюхие, как Рыспай, человечны, то чего хорошего вообще ждать от жизни?

Как все непонятно. Ей самой во всем этом никак не разобраться. Значит, нужно спросить Марьям: у ней душа честная и чистая. Она все поймет и не станет лгать.

– Да стыдно даже говорить, – смущенно сказала Раушан.

Марьям взглянула на нее, увидела в ее лице смущение и страх и одобрительно улыбнулась:

– Ничего не стыдно. Говори!..

– А ты не обидишься, нет? Тогда... тогда вот что: я не хочу знакомиться... с этим джигитом...

– Почему?!

– Боюсь... Образованных мужчин я боюсь... У них ни стыда, ни совести нет. Не верю я им...

Теперь уж Марьям задумалась.

– Что ж... Я понимаю, что ты так можешь думать. Очень возможно, что все образованные мужчины представляются сейчас тебе именно такими. Но это не так. Хорошего товарища, верного друга, любящее сердце можно найти как раз среди образованных мужчин. Тебя, конечно, здорово задел вчерашний случай. Знаю. Я не стала об этом говорить, потому что боялась тебя обидеть. А если по правде, то я всем этим больше тебя возмущена. Ведь я привезла тебя сюда вовсе не для того, чтобы тебя мог обидеть какой-нибудь проходимец вроде Абдиша. Я хотела показать тебе наш очаг культуры – город, чтобы у тебя шире открылись глаза на мир. Ведь обо всем увиденном, хорошем ты расскажешь аульным женщинам, за тобой последуют другие... А по Абдишу нельзя судить обо всех образованных мужчинах. Эти двое просто подонки. Они хотели использовать свободу женщины в своих интересах. А на самом деле они и есть враги равноправия. Даже сама эта мысль им кажется дикой и оскорбительной. Это байское отребье, привыкшее угнетать не только женщин, но и всех бедных, слабых и на их поте наживать себе богатство. Таких, как Абдиш, в нашей среде, к сожалению, еще немало. Они проникли в советские учреждения, едят советский хлеб и исподволь пакостят. Но и Советская власть не дремлет, а постоянно разоблачает таких, как они, сдирает с них фальшивую шкуру, не дает им спокойного житья. А когда у простых людей откроются глаза, когда женщины наравне с мужчинами активно включатся в общественную жизнь, тогда этим проходимцам придет конец...

Марьям говорила долго и горячо, и Раушан жадно впитывала каждое ее слово. Кончив говорить, Марьям улыбнулась и сказала:

– А я ведь тоже сердилась на тебя, а потом подумала: сама во всем виновата, зачем оставила вас одних? Ну

ничего, ты получила хороший урок. В другой раз будешь осторожней. Ладно, пошли к Абилю.

И она решительно потянула Раушан за руку.

Абиль был невысокого роста, рыжеватый, узкоглазый и очень молодой мужчина. Марьям представила ему Раушан, и он приветливо улыбнулся, поклонился, протянул руку. Раушан учтиво поздоровалась.

– Вот, значит, та, о которой ты мне рассказывала...
– Абиль посмотрел на Марьям. – Из какого аула?

– Из Сабын-куля

– Из Сабын-куля? – переспросил Абиль. – Так ведь это тот аул, куда я еду на перевыборы. Вот здорово!.. А что, если проведем ее председателем аулсовета?

– Можно. Вполне! – сразу же поддержала Марьям.

Раушан запротестовала:

– Что вы? Куда мне?!

Абиль и Марьям засмеялись и стали ее уговаривать. В коридоре им встретился Бакен. Марьям познакомила его с Абилем и радостно сообщила:

– Не исключено, что ваша Раушан станет председателем аулсовета!

Бакен в изумлении разинул рот.

VIII

Первый чистый легкий снежок лег таким тоненьким слоем на землю, что даже не опушал носки кожаных галош. Медленно кружились снежные хлопья, укрывая все вокруг.

К воротам Бакена, скрипя на весь аул, подъехала арба. Конь был красивый, гнедой. С облучка слез дородный мужчина, снял лисий треух и стряхнул с него снег. Потом погладил и закрутил черные жесткие усы. Его маленькие глазки щурились, и нельзя было понять, то ли они смеются, то ли гnevаются. Бакен поспешил навстречу.

– Здравствуй! – поприветствовал он гостя.

Это был Демесин из соседнего аула. С тех пор как Раушан стала председателем аулсовета, он зачастил к ним. Однажды даже пригласил Бакена и Раушан к себе в гости. Многие в его ауле неодобрительно отнеслись к тому, что председателем аулсовета выбрали бабу, но Демесин всячески подчеркивал свое доброе отношение к Раушан.

– Келин ведь никому дороги не переступила. И зла никому не сделала, – поддержал он ее еще во время выборов. – Начальством ее ставит власть. Нынче такое время. А раз власть желает, то так тому и быть...

Демесин опустил на корточки, прислонился спиной к воротам, заложил за губу насыбай. Подробно расспросил Бакена о делах, о хозяйстве, о здоровье.

– Я и так собирался навестить вас, а тут как раз одно дельце подвернулось... – как бы между прочим обронил он.

– А что за дельце?

– Эх, Бакен, такой уж нынче народ пошел. Не могут без того, чтобы не пакостить друг другу... Дочь моя, как известно, не пошла за сына Итемгена. Что ж... и ребенок-сосунок знает, что женщинам сейчас свобода. Но итемгеновская родня – темные люди, старых казахских обычаев придерживаются, о законах новой власти понятия не имеют. Взяли и подали на меня заявление, будто продал я свою дочь за скот. Так вот хотел я у келин бумажку одну взять, что выдал дочь без всякого калыма, просто по ее доброй воле...

Это была откровенная ложь, и Бекен знал это хорошо. Даже этого статного гнедого коня Демесин получил от свата за «сут-акы» (плата «за материнское молоко»). И вся округа знала также то, что, помимо коня, Демесин взял за дочь еще сорок семь голов скота. Но если бы он заручился справкой о том, что никакого скота он не брал, то это казалось бы пустой сплетней. А для этого достаточно всего-навсего

бумажки с печатью Раушан. Что ж, если печать жены может быть полезна такому доброму человеку, как Демесин, то Бакен готов ему помочь. Во всех аулах нет для него, никого ближе и дороже этого Демесина. Пусть другие фыркают на него – пусть, все равно они недостойны даже стоять там, куда Демесин швыряет свои галоши!

– Если все дело в этом, я скажу жене, чтобы она поставила печать. Кому же еще услужить, как не вам!

Демесин довольно ухмыльнулся и еще раз погладил холеные усы.

– Зайдемте в дом, – предложил Бакен. – Я прикажу сварить мясо.

– Ладно, не беспокойся. Келин теперь – начальство. Небось целыми днями конторскими делами занимается. Некогда ей... А я не впервые у вас. Мы уже понемногу заготавливаем согум¹. Твоя женге наказывала передать: «Пусть деверек мой с келин доли своей отведают». Так что сами приезжайте в гости...

Бакен, польщенный, заулыбался, даже покрякал от удовольствия. Казалось, он только теперь осознал, каким он стал важным человеком. Почтенные люди и те жаждут его угостить.

Послышался звон ведер. Это Раушан вышла за водой. Увидела Демесина и остановилась.

– Здорова ли келин? Все ли благополучно в доме? – заулыбался Демесин.

– Благодарю... – ответила сухо Раушан. И, поправив платок, обратилась к мужу: – Иду за водой, надо телят поить. А ты, может, позовешь торе? Нужно кое-какие бумаги подписать...

Торе – так она называла Жаксылыка. Он был еще совсем мальчик; но во время выборов его назначили секретарем Раушан. Был он старателен, усидчив и дела вел неплохо. Но Бакен почему-то его сразу невзлюбил.

¹ Мясо, заготавливаемое на зиму.

Когда он приходит к ним, начинает разбирать бумаги и беседовать с Раушан, Бакен подозрительно прислушивается к их разговору и не отходит ни на шаг... Когда Раушан должна была объехать все аулы своего Совета, чтобы составить общий список жителей, он не решился отпустить ее с Жаксылыком и сам сопровождал жену всю дорогу...

– Ох, и надоел мне этот твой щенок! – пробурчал Бакен. – Что он, сам не может явиться без вызова?!

Раушан ничего не ответила и пошла.

– Эй, жена, подожди-ка! – Она остановилась. – У нашего гостя дело к тебе есть. Помогите ему.

– Что за дело, каин-ага? – спросила Раушан.

Демесин, поглаживая усы, обстоятельно объяснил все. При этом он все время заискивающе улыбался и почтительно взглядывал на Раушан.

– Назло мне все делают... Назло... – вздохнул он.

Держа коромысло на плече, другой рукой слегка раскачивая ведрами, Раушан задумалась. Нынче летом, когда они все жили на джайляу возле Кос-Томара, Демесин объявил, что выдает дочь за Керее, а вскоре после этого пригнал целый гурт скота... Это происходило на глазах всего аула, расположившегося у озера. Помнится, Раушан как раз ходила за водой и, стоя у колодца, собственными глазами видела, как Демесин прогонял мимо скот. Тогда еще женщины судачили между собой:

– Верно говорят: «Богатство к богачу само идет». Смотрите: целое состояние одним махом раздобыл Демесин!

Правда, в ту пору Раушан еще не была председателем аулсовета, однако недаром же говорится, не следует винить глаза за то, что они видят. А она ведь действительно видела все сама. Как же она может дать такую бумагу, будто никакого скота и в помине не было? Ведь Марьям строго-настрого внушала ей: «Смотри, не

ошибись, будешь прикладывать печать к ложным бумагам – загубишь свою голову». И Абиль, приезжавший на выборы, долго беседовал с ней наедине о том же. Легкие на язык бабы даже сплетничали тогда, что, дескать, Раушан уединяется с чужим мужчиной... «Будь осторожна! – предупреждал Абиль. – Не попадись в лапы проходимцев. Не ввязывайся в подозрительные дела». А тут даже не подозрительное дело, а просто явный обман. Она сама видела пеструю брюхастую корову. Люди говорят, что и этого гнедого коня он получил в калым. Нет, никак не может она приложить печать.

Раушан вздохнула, сильно раскачала ведро и спросила:

– Признайтесь, каин-ага, взяли же вы калым за дочь? Правда?

– А тебе что за дело до этого? – вскинулся Бакен.

– Видно, келин, ты не поняла меня, – усмехнулся Демесин.

– Ну почему же, каин-ага? Мне все даже очень понятно.

– Тогда чего спрашиваешь? – вмешался снова рассерженный Бакен. – Приложи печать, и делу конец.

Раушан нахмурилась, побледнела. Если не приложить печать – Бакен обидится смертельно. Человек он замкнутый, мнительный. Дуться и гневаться будет долго. С тех пор как Раушан избрали председателем аулсовета, Бакен вообще сильно изменился: стал раздражительным и подозрительным. Ссориться с мужем Раушан сейчас никак не хотела, но ради его спокойствия изменять долгу тоже не могла. Сегодня она смалодушничает, приложит печать к фальшивой бумаге, а завтра обман раскроется, и как тогда она будет глядеть людям в глаза? А что она скажет Марьям и Абилю, которые в нее так поверили? Даже представить себе это страшно. И, поправив на коромысле ведра, Раушан решительно отрезала:

– Простите, каин-ага, но печать я приложить не могу!

Бакен и Демесин от удивления даже глаза вытаращили. Уж чего-чего, а такого ответа они не ожидали.

Раушан отвернулась и, помахивая ведрами, направилась к колодцу. Дочь Айнабая сгребала снег у входа в дом. Проходя мимо, Раушан окликнула ее:

– Еркежан, пойдем вместе за водой!

Девушка бросила лопату, с радостью пошла было за Раушан, но мать ее подняла крик.

– Что ты с беспутной путаешься?! – кричала она. – Чтоб больше близко к ней не подходила! Слышишь?!

Вечером, когда зажгли лампу, пришел секретарь Жаксылык. Дастархан был разостлан, шумно кипел самовар. Бакен, свернувшись и укрыв голову шубой, лежал в углу. Раушан сидела у печки с казаном и подкладывала в огонь кизяк. Жаксылык по привычке достал из закутка за печкой ларец, вынул бумаги и принялся за дело. Бакен высунул из-под шубы голову, с ненавистью посмотрел на юношу и вдруг сказал:

– Если тебе нужно чиркать, то приходи днем. Нечего шлаться по ночам, людей тревожить. Собирай свои бумаги!

Жаксылык недоуменно поглядел на Бакена. Раушан поднялась с места.

– Не обращай внимания. Пиши!.. – сказала она.

– Не будет он писать! – Бакен приподнялся с места.
– Я сказал.

– Будет! Дел накопилось много. А меня не для того выбрали, чтобы бумаги под замком в ларе держать!

– Эй, прекратишь ты или нет?!

– Нет, не прекращу, тогда что? Бить будешь? Попробуй только! Мигом составлю протокол и отправлю куда надо!

Бакена затрясло. Он вскочил. Еще никогда он так не злился на жену. За всю жизнь он лишь однажды поднял

на Раушан руку, и то не ударил, а только сбил жаулык с головы... Сейчас лицо его было искажено от злобы. Раушан отступила за спину Жаксылыка... Бакен пошатнулся, натянул у порога сапоги и выскочил из дома, волоча за собой овчинную шубу.

Подслеповато мерцала маленькая лампа. От фитиля тоненькой струйкой вился дымок. Вокруг нависал полумрак. За стеной завывал буран. Ветер швырял снег в окошко, стучал в дверь, наметывал сугробы.

Жаксылык улегся на живот и принялся писать. Рядом на корточках устроилась Раушан. Она и сама не замечала, что слезы катились по ее щекам...

IX

Три дня Бакен не показывался домой. Все эти дни пропадал у Ермака. Кульзипа бегала из дома в дом, рассказывала сплетни.

– Я ведь вам говорила, что она записалась в коммунисты! Так оно и есть! Выгнала своего мужа, мырза-агу, из дому... Да еще пригрозила в каталажку засадить... О, боже, где это видано?!

– Да и муж ее недотепа, растяпа, так ему и следует, – отвечали ей. – Только и делал, что во всем ей потакал. А ведь говорили добрые люди, что надо было с самого начала ее зажать, взять в твердые руки. А не возить в город.

– А что он мог, бедняга? Заставила ведь, заставила! У ней ни совести, ни стыда! Не послушай он ее – она уйдет из дома, и все тут. Таковую не остановишь!..

Какая-то баба доверительно спросила:

– Шешей, ты все ведь знаешь. Скажи, это правда, что между ними... ну, между Раушан и этим мальчишкой... что-то такое есть?

– Ох, правда! – мгновенно согласилась Кульзипа. – Келин ведь беспутная. От нее что угодно можно ожидать.

А Бакен все не приходил домой, и Раушан с каждым днем становилось все тягостней и тоскливей. Она даже печку не топила, кусок не шел ей в горло. Боясь людских пересудов, она уж не подпускала секретаря даже близко к дому. Ночами напролет не смыкала глаз. А когда дрема все-таки смежала ей веки, Раушан вздрагивала от страха: мерещился Бакен, будто он наступает на нее, сжав кулаки, бледный, трясущийся от злости. Не верилось в эти мгновенья, что он когда-то ласкал ее, любил. Казалось, будь его воля, он, не задумываясь, тут же убил бы ее...

Измученная, поднялась Раушан утром, почистила скотный двор, задала корм и вышла за ворота. Стоял морозный ясный день. Снег лежал плотным, твердым пластом. Проехали сани. Две женщины шли от колодца с ведрами. Поравнявшись с Раушан, они обе отвернулись.

– Хахаля своего, видно, высматривает! – услышала Раушан и побледнела.

– Ты что мелешь, шешей?! – спросила она, подбегая. Баба вызывающе подняла голову.

– А ну ее! Не стоит с этой бесстыжей связываться... – буркнула одна, и другая тоже отвернулась, и пошла прочь.

Ярость овладела Раушан. Сейчас она ненавидела этих сплетниц больше, чем самого ангела смерти Азраила. И тут же она подумала: не только эти двое, все женщины аула сейчас против нее так настроены. Никто не разговаривает теперь с ней по душам, как бывало прежде, ни одна не делится своими тайнами и печальями. А встретишь – отворачиваются, кто молча, кто что-то бурча, словно она им лютый враг. Иные, разговаривая, откровенно насмеваются, издеваются, говорят гадости. Каждое ее слово извращают. А тут еще Бакен из дому ушел и будто масло в огонь подлил. По всему аулу теперь шушукались. В каких только грехах

ее не обвиняли! Всем сплетникам нашлась работа... Раушан понимала, что так продолжаться дальше не может. Нужно помириться с Бакеном, вернуть его домой.

И Раушан отправилась за мужем. Возле дома Каирбая стояло несколько мужчин. Они о чем-то беседовали, но увидев Раушан, умолкли и с любопытством уставились на нее. Каирбай с издевкой, вызывающе, нарочито громко заметил:

– Эх, куда, чего только не увидишь на этом свете!

– Распустил ее Бакен, ох, распустил! – поддержал другой. – Да разве другой мужчина допустил бы, чтобы его баба шаталась у всех на глазах! Да он бы отодрал ее как следует!..

Рыхлый, рыжий, вертлявый джигит как бы заступился за Бакена.

– Да что вы на него взъелись? Тут всякий испугается, если протоколом да тюрьмой грозят...

Каирбай возмущился:

– От этого протокола никто еще не умер. Да пусть хоть в Сибирь загонят, а будь она моей бабой, я бы исполосовал ей спину, и все тут! Муж вот никудышный, оттого она и бесится.

Раушан, проходя мимо, услышала эти слова. Рыжий подтолкнул Каирбая, мол, тише ты! Услышит! Но тот только голос повысил:

– Ну и пусть слышит! Подумаешь... Бабы я, что ли, испугался? Что хочу, то и говорю!

Стиснув зубы, вся дрожа от негодования и обиды, Раушан вошла в дом Ермака. Бакен был один. Лежал калачиком, уткнувшись лицом в шубу. Окна были заморожены, и солнце едва пробивалось через запорошенные стекла. В комнате стояли легкие летучие сумерки.

Когда Раушан увидела мужа, скрюченного, как сирота, в углу чужого дома, сердце ее сжалось, заныло.

На глаза навернулись горячие слезы. Она тихо подошла к нему, опустила на одно колено.

– Эй, вставай. Пойдем домой.

Голос ее дрожал. Она приподняла шубу, наклонилась, прильнула к лицу мужа. Слезы покатались на его щеку.

– Милый!.. Ну, хватит! Ты же обещал никогда не обижать меня. Не могу я так... одна. Что за жизнь?.. Тоска... Не смею глаз поднять. Ну, вставай... пойдем же домой...

Раушан прижималась к мужу, горячо целовала его, умоляла. Она была в таком отчаянии, что поклялась отныне никогда ни в чем ему не перечить. Но Бакен был неумолим. Он даже не шевельнулся. Серый, мрачный, с мокрыми от жалости к себе глазами, он стиснул зубы и смотрел куда-то мимо. Камень расплавился бы, но Бакен был нем.

Открылась дверь, и в морозном облаке влетела Кульзипа. Носки кожаных галош задрались. Подскочила она к печке, прислонилась боком. Раушан подняла голову, села. Кульзипа насмешливо сказала:

– Что, и здесь не можешь оставить беднягу в покое?! Или уж так истомилась?

Раушан даже в дрожь кинуло.

– Не твое дело!– крикнула она. – Муж – мой!

– Му-уж?! Твой? Много их у тебя, мужей-то... – язвительно заметила старуха.

– Замолчи, ворона! Чтоб язык себе откусила! Как ты смеешь зазря чернить человека?! Ты понимаешь, что плетешь?! Ты знаешь, что за клевету бывает?!

– Это ты откуси себе язык!– вконец взъядрилась Кульзипа.– Ты что, отец мне, что ли, чтоб в моем доме хайло на меня разевать?! Ты у себя ори, беспутная! А здесь ни-ни! У, глаза твои бесстыжие! У, тварь поганая...

От ярости Раушан даже расплакалась. С какой радостью вцепилась бы она сейчас в грязные космы

Кульзины! Но разве председатель аулсовета может вести себя так? Переборов свою злость, она снова затормошила мужа:

– Встань, пойдем домой... Дом не мой, а твой. Если сердишься, выгони меня... А сам живи...

Бакен медленно, нехотя приподнялся.

– Пойдем, говорю...

– Да заткнись! Никуда я не пойду!

– А я не выйду отсюда, пока ты не пойдешь со мной...

– Эй, отвали!.. Эй, отстань!..

– Ну, не отстану – бить будешь?.. Бей! Я ведь жена твоя, стерплю, противиться не стану... Хоть убей, но иди домой!..

– Да иди ты! – Бакен вдруг резко толкнул ее в грудь. Раушан отлетела и упала на спину. Кульзина мстительно усмехалась. Раушан поднялась, чувствуя, как в груди ее все пылает.

– Ладно... твоя воля. Бей! Но только иди домой, – снова кинулась она к мужу, но Бакен снова пнул ее с такой силой, что она рухнула на пол. Жаулык слетел с головы. Падая, она ударилась головой о порог, и в голове сразу зашумело, но боли она сгоряча почти не почувствовала. Она поправила растрепанные волосы, натянула жаулык и, дрожа, в последний раз обратилась к мужу:

– Идешь? Или нет?

Бакен, бледный, молчал.

Раушан вышла. Она и не заметила, как очутилась на улице. Каирбай с приятелями, беседуя, все еще стояли возле дома. Раушан выпрямилась и в пылу гнева в упор посмотрела на них.

– Ну как, Раушан, хорошо быть аульной правительницей? – ехидно осклабилась рыжий.

Раушан задохнулась от ненависти. Сердце, казалось, подскочило к самому горлу, губы точно одеревенели. Взглянув на Каирбая, она сказала глухо:

– Каин-ага, весь аул давно сдал налог. Даже Бака-ата, голоштаный бедняк, и тот все внес полностью. Как вам только не совестно, столько скота имеете и не платите своевременно?!

Каирбай изменился в лице:

– Не совести, келин. Мне ведь будет стыдно, не тебе!

– То-то же... про совесть вспомнила! – пробубнил кто-то из мужчин.

– Почему же? И мне будет стыдно. Ведь могут подумать, что я прикрываю богачей, выгораживаю их... К тому же вы, каин-ага, дали, кажется, неверные сведения о своем скоте. У вас сто пятьдесят коров, а по списку – лишь пятьдесят. Выходит, вы скрыли сто голов скота. И из-за вас приходится расплачиваться беднякам... Так что сегодня же внесите налог. Не то сообщу в волисполком, чтобы прислали человека описать ваш скот полностью!

Каирбай заметно струхнул. Остальные тоже переглянулись.

– Вижу, келин сегодня очень не в духе. И во всем, конечно, виноват этот глупец Бакен. Пойду-ка скажу псу, чтобы домой шел! – съязвил Каирбай.

– Нет, каин-ага, в посредники вас никто не приглашает, – холодно ответила Раушан. – Захотим помириться – сами помиримся. Как-нибудь без вас обойдемся. Лучше собой займитесь – сегодня же внесите налог. Не то – пеняйте на себя! – И пошла к своему дому.

– Бой-бой, какая строгая!.. В ней ярости, пожалуй, больше, чем у свирепого волостного Бейсенбая!.. Эдак она скоро заставит нас обе ноги в один сапог всунуть! – зашумели, закачали головами мужчины...

Дома, сидя у печки, Раушан задумалась. Сумрачная низенькая землянка, прежде такая теплая и уютная, теперь казалась холодной и чужой. Неприглядными казались ей и чумазая, облупленная печка, и черный

сундук с поломанным замком, и старая, вся в заплатах, кошма на земляном полу, и выщербленная большая чаша; и вся посуда на деревянной подставке возле порога. На все вокруг она смотрела угрюмо, с неприязнью. Еще вчера все это было привычное, свое, а сегодня опостытелo, ни к чему не лежала душа. «Ну, а в чем я виновата? Делила вместе и холод, и голод. Работала с ним наравне. Он может унижать меня как женщину, но труд мой – никак... Теперь меня выбрали председателем аулсовста. Может, в глазах людей и в самом деле кажется диким, что женщина занимает такой пост. Так ведь не напрашивалась, сами же выбрали. Когда Марьям впервые о том заговорила, Бакен находился рядом. Никто его не держал за язык, если бы хотел, он бы сказал, что, мол, нет, не хочу, чтобы моя жена была председателем аулсовета – и все. И потом, когда были выборы, и Таскара, Бияга и другие драли горло: «Предложение инструктора поддерживаем. До сих пор у нас аулными были мужчины, но проку от них было немного. Попробуем теперь выбрать женщину. Мы все с удовольствием проголосуем за нашу келин Раушан». И опять Бакен промолчал и ни слова не сказал. Наоборот, весь сиял. А теперь что же он хочет? Чего дуется? Сердится из-за Демесина? Разве я по молодости или по глупости когда-нибудь позорила его? Если виновата, почему не скажет прямо? Разве я давала повод для насмешек и злорадства сплетнице Кульзипе?» – с обидой думала Раушан.

Вошла какая-то женщина. Космы выбивались у нее из-под жаулыка, вся она была растрепанная, жалкая, ежилась, дрожала от холода. Правый глаз затек, лицо в синяках. Опустилась на пол, прислонилась спиной к печке и тяжело, со всхлипом вздрогнула.

– Сношенька, милая... Говорят, ты в коммунисты записалась, крест на шее носишь и... господи, что о тебе только не говорят! И я ведь поддалась этим сплетням, сторонилась тебя... А теперь вот пришла

поневоле. Байбише мне житья не дает. Мужа на меня науськивает, бить велит. Через день, считай, он меня, бедную, лупит почем зря. И сегодня избил меня ни за что... Не могу больше так!.. Кто они такие, эти коммунисты, я не знаю, но слышала, что они заступаются за женщин. Если это так, то пусть за меня заступятся. Пусть защитят от этого изверга, и я согласна на все, даже если заставят креститься.

Женщина приподняла подол платья и вытерла набегавшие на глаза слезы.

– Мочи моей нет... Забьет он меня насмерть... Помоги мне, келин, родненькая, спаси меня, если можешь...

Раушан молчала. Тут не то что другим помочь, в пору самой просить о помощи. Сердце ее горело от обиды и позора. Ведь Бакен пальцем в жизни ее не тронул, дурного слова не сказал. А сегодня ударил ногой. Пнул ее в грудь! После этого о какой близости, о какой любви может быть речь?! Кто знает, думал ли об этом Бакен, но она, Раушан, подумала об этом сразу. Переступая через порог дома Кульзины, едва сдержалась, чтобы не сказать: «Все! Больше я тебя и видеть не желаю!..»

– Бить жену ни у кого нет права, шешей, – ответила она. – Марьям мне много раз говорила, что за побои, за многоженство мужчин привлекают к ответу... Придет мой секретарь, я велю ему написать бумагу в суд.

– Делай, зрачок мой, как знаешь. Но умоляю, спаси меня, защити от беды этой... – проговорила, всхлипывая, женщина...

Х

После полудня прискакал рассыльный вол-исполкома с целой связкой бумаг. Удобно уселся, подбоченился и принялся расхваливать Раушан:

– На устах нашего председателя только одно ваше имя. Такие, как Раушан, говорит он, редкость. Ей

можно поручить любое дело, и она сделает все, как надо. Ну, я шутки ради и подзадориваю нашего начальника: «Наверное, приглянулась вам сама келин, потому и хвалите ее». А он серьезно отвечает: «Нет, Уали. Такие женщины среди казахов нечасто встречаются. Поверь, немногие мужчины могли бы справиться с тем, что делает она». Вот!

Словоохотливый рассыльный пересказывал с одной истории на другую. Взялся вдруг рассказывать, как по дороге его лошадь совсем запарилась, а в соседнем ауле ее не хотели сменить.

– Ну, тут я голос поднял. «Эй! – сказал я. – Открой свои зенки! Ты с кем разговариваешь? Я – власть! Я – председатель волости. Вот пожалуюсь волостному, так он все твоё пепелище по ветру развеет!» Испугался, бедняга, завертелся, мигом коня под уздцы подвел. Ну, Уаке – я, значит, – сел на свежего коня и примчался в аул Сайгеля. А у Ермака той, дочь он замуж выдает...

Раушан встрепенулась:

– Замуж? Какую дочь?

– Старшую. Ту самую, что вместе с вами на съезд ездила. Посмотрел я на жениха и про себя подумал: «Тебе, жуку навозному, видать, за пятьдесят...» Бороду подстриг, на висках седина. По тому случаю, что я угодил на той, сунул мне червонец. Взял я деньги и поехал дальше...

Новость встревожила Раушан. Когда они возвращались из города, Даметкен вдруг разговорила и поделилась с ней своим горем. «Несчастливая я! – горько плакала девушка. – Отец хочет меня выдать второй женой за старика». Раушан пожурела ее: «Что же ты раньше молчала? Почему не говорила в городе?» Договорились они тогда, что они будут поддерживать связь, и если ее, Даметкен, силком заставят выйти замуж, она сообщит об этом Раушан, а та немедленно обратится за помощью к Марьям... И вот теперь ее, горемычную, отдают за старика. Да еще во вторые

жены. Конечно, не по своей воле. Но согласия ее никто и не спрашивает.

В конце своей длинной речи рассыльный сообщил еще одну новость:

– Да, вам нужно завтра приехать в волисполком.

– Зачем это?

– Собрание будет. Всех председателей аулсоветов собирают.

Раушан отчего-то обрадовалась. Проводив гостя, сложила связку бумаг в ларец, схватила ведра, коромысло и поспешила за водой. Солнце, багрово-красное, нависло над закатом. Мороз пощипывал, поскрипывал. Над аулом струились из труб столбы дыма. Люди, спеша, гнали отощавший скот на водопой. Кто-то выносил золу, кто-то заносил кизяк. Навстречу Раушан шел самодовольный, развалкой, болтая длинными рукавами шубы, Каирбай. Поравнявшись, искоса взглянул на нее и остановился, наваливаясь грудью на посох:

– Кто это приезжал к тебе, келин, дорогая?

– Рассыльный из волисполкома.

– А что ему понадобилось, интересно?

Раушан вспыхнула:

– Приказ привез срочно собрать весь налог. На неплательщиков велено составить список и доставить его в волисполком. Завтра собираюсь как раз поехать со списком.

Раушан пошла к реке. Каирбай сделал шага два за ней.

– Келин! Оу, келин!.. – И остановился, покусывая губы, пробормотал с досады: – Ох, и наделала же ты дел!..

Среди тех, кто рубил прорубь, стоял и Бакен. Заметив жену, он резко повернулся и пошел к аулу.

– Эй, Эй! – окликнула его Раушан. Но Бакен не повернулся. Люди на реке, забыв про дела, с любопытством смотрели на супругов. Раушан в сердцах сбросила с плеча коромысло, и ведра покатались, грохоча, польду...

XI

Дикая злоба охватила Бакена совершенно неожиданно. Раушан ничего не предпринимала, не посоветовавшись заранее с мужем. И когда ее выбирали делегаткой в волисполком, или она ехала в город, или соглашалась быть председателем аулсовета, – все это делалось с согласия и ведома его, Бакена.

Когда прошли выборы, одни из приятелей завидовали Бакену,

– Теперь баба твоя – начальник, – говорили они. – Она тебе теперь все, что захочешь, сделает.

Другие сомневались:

– Ну, может, на первых порах так и будет, а потом, когда познает вкус власти, тогда вряд ли Бакен и близко к ней подойдет...

Разговоры дружков-приятелей не особенно волновали Бакена, но женские пересуды задевали прямо за сердце. Больше всех расшибалась Кульзипа, щедро обливавшая Раушан грязью.

Одним эта яга шептала:

– Говорят, в городе она снюхалась с большим торе. Потому и назначили...

Другим намекала:

– Видно, знают торе, где их спать положат, когда в аул к нам приезжают...

Конечно, ни Бакену, ни Раушан никто не говорит ничего подобного в глаза, но худая славушка быстро бежит по свету.

Вначале Бакен переживал, ходил сам не свой, но потом вдруг, то ли притерпевшись к глупой и пустой болтовне, то ли войдя во вкус того, что к ним все чаще стали заезжать почтенные, влиятельные люди, и обращались со своими делами они именно к нему, а не к жене, – повеселел, оживился, стал чувствовать себя весело и уверенно. Уверенность вскоре перешла в самоуверенность, а потом и в спесь. Раньше он как бы

советовался с женой, осторожно передавал ей чужие жалобы и просьбы, но потом стал распоряжаться, приказывать, не вникая в дело, не желая слушать возражений. Все чаще он небрежно бросал жене:

– Сделай все, о чем он просит!

Раушан беспокоилась, досадовала:

– Да пойми ты, несчастный, у меня ведь не две головы, а одна. Зачем же мне ею жертвовать ради чьих-то грязных делишек?!

– Что ты понимаешь в делах? Женский ум короток, – отрубал Бакен. – Делай, что говорят!

Перемена эта произошла в нем не сразу и неспроста. Вскоре после того, как Раушан выбрали председателем аулсовета, заправила рода Тасыбек собрались у Каирбая и, лакомясь мясом жирной ярочки, подробно обсуждали это событие. Пригласили и Бакена. Аксакал Ажибек с восторгом вспомнив о своих делах в доброе старое время, вдруг обратился к нему и даже присел на пятки.

– Дорогой Бакен... Твой отец, покойный Шокпарбай, каким бы ни был бедняком, благодаря родичам и аульцам с голоду не помер и во время кочевок от других не отставал. До сегодняшнего дня мы, потомки одного предка, жили в дружбе и единстве, как и подобает правоверным сынам... Ныне времена изменились. Все перевернулось. Как говорится, голова становится ногами, а ноги – головой. Пусть! Мы ничего не имеем против новых порядков. Однако до сих пор аулы сами распоряжались своей судьбой. Что нас впереди ожидает – одному аллаху ведомо...

Тут старик сделал паузу и тяжело вздохнул. Сразу раздалась голоса:

– Верно!

– Аксакал говорит правду!

И, повздыхав, покачав головой, старик продолжал:

– Слушай меня, дорогой Бакен. В старину говорили: «Жена смотрит на мужа, муж – себе под ноги».

И еще: «Народ, ведомый женщиной, пребудет во мраке». Пришли эти смутьяны и начали мутить народ, рушить вековые устои. Объявили: «Председателем аулсовета надо избрать бедняка». Ладно, никто не спорит. Но если им нужен кедей, то ты, скажем, разве не кедей?! Когда обошли тебя и назвали имя келин, нас это крепко задело. Некоторые джигиты хотели в город скакать, правду искать. Но я уговорил их, остановил. Сказал: «Не волнуйтесь. Потерпите. Поговорим сначала с Бакеном. Если это делается с его ведома и согласия, то нечего напрасно шум поднимать. Келин ведь – наша. И против своего мужа она не пойдет. Управлять народом – дело нелегкое. Тут нужно с народом советоваться, чтобы все по согласию было. Если Бакен всю заботу и ответственность возьмет на себя и келин будет только называться аулнаем, что нам больше надо?» И вот твои старшие братья, все почтенные люди, собравшись сегодня здесь, хотят получить от тебя ответ: будешь ли ты слоняться по углам, или мямлить, или, став, наконец, джигитом, мужчиной, управлять своей собственной бабой? Если народ отдал повод правления, то, конечно, не бабе, а тебе. Понял?! Ну, что на это скажешь?

И, поставив вопрос ребром, старик торжествующе оглянулся, как бы вопрошая: «Что, здорово я его зажал, а?!»

Присутствующие одобрительно загудели:

– Мудрый старик!

– Вот как говорят умные люди, управлявшие народом!

– Эх, и славные же мужи были раньше!

Редко приходилось Бакену бывать на таких собраниях. Да и мог ли он к тому же предположить, что именно он окажется в центре внимания?! От слов почтенного Ажибека пот прошиб его, как в бане, и он то и дело вытирал лицо подолом чапана.

А между тем Бакена тормозили, дергали со всех сторон:

– Оу, не томи людей, скажи же что-нибудь!

И тогда, не зная, что сказать, Бакен неуверенно пролепетал:

– Разных там ваших дел я не знаю. Но своему дому и своей бабе я – хозяин.

– Э-э! Да он, оказывается, джигит!

– Молодец-то какой! Так бы сразу и сказал! – загалдели все.

Демесин, покручивая холеные усы и шныряя лисьими глазами по сторонам, сказал:

– Ты, Бакен, говори ясней, И встрепенись, будь человеком! Хватит тебе в мямлях ходить. Что ты хозяин своей бабе, мы знаем. Но этого мало. Ты будь еще хозяином и ее печати! Чтобы келин без тебя не прикладывала печать ни к одной бумаге! Обещай это нашим аксакалам, и они благословят тебя!

Бакен, сбитый с толку, дал слово мужчины, и старик Ажибек его благословил...

С того дня Бакен переродился. Стал строг с женой. Повел себя так, будто отныне повод аульного Совета перешел в его руки.

Не узнать стало Бакена. Он, всю жизнь не вмешивавшийся ни в какие дела, теперь, когда жену выбрали председателем аулсовета, проявил неожиданную расторопность и активность и участвовал во всех аульных дразгах и скандалах. И довольно скоро привык к мысли, что он, Бакен, – вершитель судеб округи...

То, что Раушан отказалась приложить печать к бумаге Демесина, действовало на Бакена, как удар ножа. Он был готов просто-напросто отобрать печать и пристукнуть бумажку. Раза два Бакен до того так и делал. Но в последнее время Раушан что-то круто переменилась, все чаще и чаще стала заявлять: «В мои дела не вмешивайся! Я сама знаю, что делаю...»

– А кто ты такая? – даже возмутился однажды Бакен.

– Я – это я. Председатель Восьмого аулсовета. Здесь я представляю власть! – ответила гордо Раушан.

– А разве не жена ты моя?

– Жена. Ну так что? Раз я твоя жена, значит, ты должен и всеми делами управлять, что ли?! Работа эта мне поручена, не тебе.

Ох, и разбушевался тогда Бакен! Молчаливые, робкие люди бывают иногда страшны в гневе! Раз так, он уйдет! Уйдет и не вернется! Он не раз уже хотел было уйти из дома, но Раушан, ласковая, внимательная всегда, как-то развеивала его обиду, успокаивала, уговаривала.

На этот раз все вышло по-другому. Уходя из дому, Бакен очень надеялся, что Раушан снова побежит за ним, кинется на шею, начнет целовать, плакать, говорить, что впредь она беспрекословно исполнит все его приказания и желания.

Раушан этого не сделала. Более того, когда он вскочил, она вдруг спряталась за спиной Жаксылыка. Это вконец взорвало Бакена. Нашла, у кого защиту искать! Кто он ей, этот Жаксылык?!

В ярости, ничего не соображая, побежал он к Ермаку. А что он за человек, этот Ермак, всем известно: сидит целыми днями у очага, сплетни перебирает. И жена ему под стать. Там, где появляется эта подстрекательница Кульзипа, мгновенно вспыхивает шум и раздор. И теперь, очутившись в их руках, опутанный и задержанный их сплетнями и наветами, Бакен в отчаянии и злобе дошел до бешенства. Однажды он даже вскочил, крича: «Чем такой позор, я ее зараз придушу!» Только куда ему, робкому да трусливому! Как бы его ни науськивали Ермак и Кульзипа, на такое дело Бакен никогда не решится.

Когда приходила Раушан и умоляла вернуться домой, Бакен как раз лежал в припадке такого безудержного

гнева. Он как бы подстегивал свою ярость, давая самому себе зарок: «Больше никогда не назову ее женой и в лицо ей не посмотрю!» Ослепленный гневом, он не отозвался на мольбы Раушан. И даже пнул ее ногой, чего в жизни себе не позволял.

Но слабость и робость характера всегда дают о себе знать. Когда избитая им жена, в отчаянии и со слезами на глазах, направилась к двери, он растаял, обмяк, такую вдруг почувствовал жалость, что уже был готов вскочить и закричать ей вслед: «Жена! Пстой! погоди!» Возможно, он так бы и поступил, если бы не пригвоздил его насмешливый, пристальный взгляд Кульзины, стоявшей у печки...

Так и не откликнулся он на зов. Не вернулся домой. А почему? Неужели он хочет навсегда расстаться с Раушан? Боже упаси, ни за что на свете! Он даже в мыслях такого не допускал, даже тогда, когда клочкотала в нем злоба, когда ни за что ни про что он ударил ее, пришедшую мириться. Он уже казнил себя, досадовал, что поступил так низко и подло. Из-за кого он поссорился? Из-за Демесина! А кто такой этот Демесин? Бай! Аульный воротила! Бывший бий-судья, носивший на груди царский знак! Да что об этом говорить, считался ли когда-нибудь Демесин с Бакеном? Какое там считался! Палкой размахивал над его головой! Да, да, без малого десять лет батрачил у него Бакен. Если снять с его головы мерлушковую шапку, то и теперь еще можно увидеть следы той палки... Тогда, тогда... почему он так разбушевался? Зачем взялся хлопотать за него? Ох, глупец!.. Ох, бестолочь!..

Бакен все больше злился на себя. Как он мог так жестоко обидеть Раушан? Да еще на глазах этой дрянной Кульзины.

«Я виноват, дорогая, – говорил он мысленно жене. – Не сердись, сегодня же пойду домой. Успокою тебя, утешу...»

Он уже собирался было отправиться домой, как ввалилась взъерошенная Кульзипа с целым ворохом вестей:

– Маскара! Ужас! Жену-то твою, говорят, волостной вызывал... Говорят, будто соскучился он по ней... Поговорить, мол, надо... Наедине, говорит... Еще говорят...

Этим «говорят» у Кульзины нет конца, а за каждым «говорят» – сплошные сплетни, слухи, от которых многих воротит.

«Очень может быть, что вызвали в волисполком. Но не уедет же она, ничего не сказавши мне... Значит, она еще раз придет. Тогда и помиримся», – с надеждой подумал Бакен. Мысль эта ему понравилась, и он, не отрываясь, смотрел на дверь и с нетерпением ждал прихода жены.

Наступил вечер. Зажгли лампу. Начали шляться из дома в дом гуляки, бездельники. Один приходил, другой уходил... А Раушан все не было и не было...

На другой день поутру Бакен взобрался на крышу ермаковского хлева и стоял озирался вокруг, словно высматривая кого-то, вдруг увидел, как в санях, запряженных гнедым мерином, которым правил Жаксылык, закутавшись в пуховую шаль, выезжала на дорогу за околицей Раушан. У Бакена похолодело сердце.

– Ах, ты... – невольно и как-то даже досадливо вырвалось у него.

Чувствуя страшную опустошенность, он побрел домой.

XII

Волисполком не так уж далеко. Сегодня поехала, завтра вернется. Дело не в этом. Бакена тяготило и встревожило то, что собственный дом показался ему сразу же чужим и незнакомым. Все пожитки были

собраны, уложены, перевязаны. Словно перед откочевкой. Что это значит? Почему, уезжая, она не сказала ни слова? Или?..

Как потерянный, слонялся Бакен весь день вокруг своего дома. Ни с кем не разговаривал, ни к кому не заходил. Аулчане проходили мимо, о чем-то говорили, посмеивались, и Бакену чудилось, что все смеются над ним. «Ну подождите, вот я вас! – грозил Бакен неизвестно кому. – Пусть жена только приедет...»

Весь день смотрел Бакен на дорогу. Замирал, когда замечал вдали какого-нибудь путника. Наконец перед наступлением сумерек показался гнедой мерин. Обрадовавшись, Бакен направился в дом и вдруг похолодел. На санях сидел один только Жаксылык.

– Оу, оу, где жена?

– В Оренбург уехала... учиться поехала...

В глазах Бакена помутилось. Он, шатаясь, подошел к саням. Потом двинулся к Жаксылыку. Секретарь что-то лопотал, объяснял, но Бакен сейчас ничего не слышал. Он будто оглох... Жаксылык, испугавшись, отшатнулся, отступил, а Бакен, рассвирепев, налетел на него и стал бить, бить, бить. Куда он бьет, зачем он бьет, даже кого он бьет – скотину, человека ли, собаку ли, – ничего этого он уже не разбирал. Кто-то хватал его за руки. Кто-то оттягивал за ремень. Шум, плач, ругань – все слилось...

Очнулся он еще до зари. Пошарил рукой со стороны печки: никого рядом не было. Один! Тут он начал вспоминать, что произошло вчера. «Оренбург», «Учеба», «Привет» – только эти три слова отчетливо всплыли в памяти. Но и их было достаточно, чтобы понять, что вдруг случилось. Бакен заплакал, как ребенок...

Первой пришла навестить и пожалеть его, конечно, Кульзипа. Точно мулла над больным, села она у изголовья и стала нудно твердить об испорченности Раушан, о том, что наступили дурные времена и что,

несмотря на это, в аулах еще не пошатнулся остов благочестия.

– Не горюй. Ты еще не старик. Такую патлатую бабу где угодно раздобудешь, – утешала Кульзипа. – Наоборот, благодари аллаха, что так получилось... Хорошо, что сама умоталась. Не то мы уговорили бы тебя бросить ее...

Потом начали толпами ходить старухи, молодухи, подростки, дети. И все смотрели на Бакена с жалостью, с сочувствием. Одна из женщин прибирала в доме, подметала пол, другая растапливала печь, носила воду, готовила чай, третья принялась за стирку. Все только и делали, что усердно проявляли заботу и внимание. Никогда еще не приходилось Бакену в этом ауле испытать столько сочувствия и доброжелательности. Он глядел и диву давался.

Потом пришли и «почтенные люди» аула – Ажибек, Демесин, Каирбай со всеми прихвостнями. У всех один разговор: «Как испортилась молодежь!», «Какие жуткие наступили времена!»

Ну, эти-то, конечно, неспроста явились. Была у них своя забота на уме.

Узнав о том, что Раушан уехала на учебу, «почтенные» начали подумывать о новом председателе аулсовета. Заместителем Раушан был назначен батрак Саду. Всю жизнь, лето и зиму, батрачил он у русских кулаков. Абиль очень настойчиво поддерживал его кандидатуру на выборах и не один раз советовал Раушан: «Смотри, не работай в одиночку, как старые аулнаи. Помни, что он твой заместитель. Вместе работай, учи его». Раушан запомнила этот совет и не раз пыталась привлечь к работе Саду, но Бакен решительно возражал! «Этого крещеного и близко к дому не подпущу!» Вот так Саду и оставался как-то в стороне. Теперь по закону дела аулсовета должны были перейти к нему. Белобородые и чернобородые всполошились: «Как это можно отдать печать в руки

Саду? Нет, надо все хорошенько обдумать, не то беды не оберешься». Но, конечно, все это был только предлог, потому что надумали «почтенные люди» выбрать председателем аулсовета вместо Раушан самого Бакена. Почему бы и нет, если он – член Совета?

– Благо пришло в твой дом. По глупости жена твоя его не оценила. Но из-за этого мы не хотим отнимать его у тебя. Пусть эта должность останется за тобой. Мы собрались тут, чтобы закрепить тебя аулнаем и благословить на добрую работу, – заявили старики.

Бакен не обрадовался и не огорчился. Ему уже было все безразлично. Ажибек произнес благословение. Все остальные благоговейно провели ладонями по лицам. Жаксылыка «почтенные» посчитали ненадежным и выбрали секретарем аулсовета муллу Искендира. Тут же составили протокол от имени всех жителей Восьмого аула и поручили самым настойчивым и пробивным аткаминерам-дельцам Демесину и Жусупу повезти протокол в волисполком на утверждение.

Таким образом, Бакен стал председателем аулсовета. Мулла Искендир, облизывая кончик карандаша, принялся за работу. Все дела аулсовета оказались в руках кучки ловкачей и грамотеев. Бумаги и списки, составленные при Раушан, тут же подверглись пересмотру. Обнаружилось, конечно, что списки неправильны, что скота записано якобы больше, чем на самом деле. В угоду аульным пройдохам и богачам составили эти списки заново и отправили за подписью нового председателя в волисполком... Все делалось руками «почтенных людей», «истинно пекущихся о благе народа». О большинстве бумаг Бакен зачастую и представления не имел. Ведь он даже расписываться не умел. Все бумаги подписывал юркий мулла Искендир. Печать лежала в мешочке, а мешочек хранился у того же Искендира...

Три месяца ходил Бакен в председателях. Все это время для таких, как Демесин, в ауле царил тишь да

гладь, и опять «на баранах жаворонки гнездились». Но для Бакена эта «тишь да гладь» обернулась вдруг большой бедой. Злоупотреблений было много, и Бакена привлекли к суду, отправили в тюрьму и приговорили к трем годам заключения...

XIII

В редакцию губернской газеты вошел чернолицый, худощавый мужчина с густой черной бородой. Постоял, потоптался, озираясь по сторонам, потом подошел к юноше, сидевшему с края, спросил:

– Это и есть редакция?

– Да, она самая.

– Тогда... я вот заметку для газеты хотел подать... Как бы это сделать?..

– Очень просто. Сядьте и напишите.

– Да у меня почерк неважный. И писать быстро не умею. Я ведь, дорогой... из тюрьмы. И писать-то в тюрьме только научился...

Юноша – сотрудник редакции – внимательно, с любопытством посмотрел на странного посетителя и придвинул ему стул.

– Садитесь и рассказывайте. Я запишу...

Бородач сел, вытер крупные капли пота со лба.

– Значит, так... Я ни в чем не виноват. Эти жулики – Каирбай, Демесин, Жусуп – воспользовались моей темнотой, толкнули, меня в огонь. Я ведь не понимал, где лево, где право, а честного человека, который мог бы направить меня на верный путь, рядом не было. Была у меня жена, Раушан, так эти злодеи разлучили нас. Ушла она... Пишите все по порядку, я все расскажу, все их грязные проделки открою.

За столом редактора сидела, склонившись над бумагами, женщина. Она прислушалась, насто-рожилась и вдруг подняла голову.

– Почтенный, оглянитесь, пожалуйста. – Бородач обернулся. – Как вас зовут?

– Бакен мое имя, милая. Я сын Шокпарбая. Отец всю жизнь был чабаном у баев...

Как изменился за эти годы Бакен! Прежний Бакен почти всегда молчал, сидел надувшись и насупившись, будто говорил: «Догадайся-ка, что у меня на душе!» А этот – уже кое-что повидал, испытал, перенес и разговаривал бегло, легко. Так и сыпал словечками: «классовый враг», «класс пролетариата», значит, научился чему-то, стал другим человеком.

Женщина долго вглядывалась в лицо Бакена, а потом спросила:

– Узнаете меня?

Бакен посмотрел пристальней, что-то припоминая.

– Я ведь Марьям. – Она улыбнулась. – Разве забыли?

Бакен даже соскочил с места, растерявшись, кинулся к Марьям, робко протянул руку.

– Простите, дорогая, – проговорил он виновато.

– За что, почтенный!?

– Прости... Если ты простишь, может, и Раушан простит. Я сильно обидел ее, свою Раушанжан. Не смог быть ей другом. Мне и стыдно, и больно... Сам виноват.

Голос его дрогнул.

– Сядьте, пожалуйста.

Марьям усадила его за стол, выслушала, спросила кое о чем и сделала какие-то заметки. Потом, когда он умолк, спросила:

– Знаете ли вы, где Раушан?

– Знаю, что поехала учиться. Еще слышал, что замуж вышла... за русского. Пусть... я не виню ее. Сам во всем виноват. Обидел ее очень...

– Ну, тогда, выходит, не все знаете. Как раз сегодня Раушан приезжает в наш город.

Бакен опешил, едва со стула не свалился. На глаза его навернулись слезы.

– Как?! Марьям, свет мой, пусть это будет последней моей просьбой. Помоги мне увидеть ее хоть еще разок...

Поезд прибыл вечером, уже зажглись огни. На перроне толпилось много встречающих. Среди них Бакен и Марьям. Бакен не находил себе места, пока не остановился поезд и из вагонов стали выходить пассажиры... И вдруг в окне вагона мелькнуло лицо молодой смуглой женщины, одетой по городской моде: в руке у нее был красный сафьяновый чемодан.

– Вот! Она! – крикнул Бакен и заметался по перрону, с трудом сдерживая слезы.

Марьям и Раушан обнялись и поцеловались.

– Поздоровайся же и с этим человеком, – сказала Марьям.

Раушан оглянулась, увидела Бакена, и лицо ее побледнело, стало вдруг грустным. Она опустила голову, протянула руку, тихо сказала:

– Здравствуй...

Тот тискал ее руку, задыхаясь, все твердил:

– Дорогая... Раушан... Прости...

Марьям повела их к себе домой. Бакен всю дорогу не отрываясь смотрел на Раушан.

Раушан! Она ли?.. Три года назад она была простая, неприметная аульная женщина. Одна из многих. Теперь... Между той и нынешней Раушан расстояние, как от земли до неба. Эта Раушан многому научилась, многое узнала, усвоила учение Маркса и Ленина, стала настоящей коммунисткой.

Раушан ни о чем не расспрашивала Бакена: то ли не забыла старой обиды, то ли какая другая причина была. Лишь изредка мельком взглядывала на него.

На ночь Бакену постелили в отдельной комнате. Он сидел долго один, в глубокой задумчивости, будто не понимая, наяву ли все это происходит или во сне.

Потом вдруг скрипнула дверь, и вошла Раушан. Бакен растерянно вскочил, но она тут же усадила его, опустив на плечо руку.

– Как ты похудел... – заметила она, обняла его за шею и прижалась щекой к его щеке. – Теперь-то ты знаешь, кто твой враг и кто друг?.. Все ли понял?

– Понял, родная... Знаю... Познал и настоящую правду. Я искуплю свою вину перед нашей властью... И я знаю, что мне нужно делать... – бормотал счастливый Бакен.

1929 г.

НА КОЛХОЗНОМ ДВОРЕ

С образованием артели «Новая жизнь» никаких перемен в жизни аула не произошло. Просто кто-то, назвавшийся уполномоченным, примчался из района, собрал всех аулчан и сделал доклад, а потом сказал: «Кто желает вступить в колхоз – сейчас же запишитесь. Меня прислали организовать людей».

На собрание пришел весь аул, даже женщины и те не поленились прийти. Потому что дело было важное и всех волновал один и тот же вопрос: «Что же теперь будет с нами?» Возражать, однако, уполномоченному никто не решался, и за колхоз проголосовали единодушно. Председателем избрали Калкая, секретарем – Кудебека.

Уполномоченный запихал в портфель постановление собрания, список новых членов и умчался восвояси.

Было это в ноябре. А вскоре началась пора согумов – заготовка мяса на зиму. В каждом доме булькали казаны, и в них варилась убоина. Пошло повальное обжорство, гульба, гостеванья. Кое-кто сватовство затеял, кое-кто даже дочь замуж выдал. Жизнь аула текла по привычному руслу.

Но однажды почтенный Кадырберген с тревогой сообщил:

– Снова приехал какой-то. Из района, говорит. Уполномоченный, говорит. Калкая спрашивает. Подайте, говорит, мне председателя колхоза. А Калкай-то укатил пировать в аул Данас.

Тревога аксакала передалась и другим.

– Э, если он из района, да еще уполномоченный, то так просто не уедет. Наклепает, настрочит на Калкая аршинный протокол.

Опасения эти, однако, не оправдались. Уполномоченный, улыбаясь, просто побеседовал с людьми, поговорил о делах, о колхозе, об обязанностях колхозного правления.

– Хорошо, дорогой, – ласково сказал Кадырберген, провожая его. – Все твои наставления до слова передадим председателю и секретарю правления. А сейчас они по одному делу разъезжают по аулам.

Узнав о приезде уполномоченного, Калкай задумался; был он сообразительным и неглупым джигитом. Одно плохо: грамоту не знал. Из сорока своих лет он более десяти лет пробатрачил на бая. Вот только в последние два-три года человеком себя почувствовал, начал понимать, что хорошо, а что плохо. К тому же в том ауле, куда он приехал гостевать, был также организован колхоз, и председатель его оказался давнишним знакомым Калкая. Ну и, как водится, пригласил он гостя домой, ознакомил со всеми делами, показал правление. Ничего не скажешь: это была вполне приличная контора!

– Вот так живем. А как у вас? – спросил в конце председатель.

И Калкай промолчал, ибо делиться ему было, собственно, нечем.

...Вернувшись, Калкай созвал общее собрание. В Карачоке проживало тридцать пять семей, из них только трое не являлись членами колхоза. Остальные записались в колхоз от мала до велика. Точнее, даже не записались они, а просто подняли руки, как того хотел уполномоченный. Помнится, некоторых он тогда же и записал, но список забрал с собой, а у Калкая ничего не осталось. Только он и знал, что на том собрании его избрали председателем правления. И еще – что колхоз называли «Новая жизнь». А тверже

всего он знал то, что Кудебек является его секретарем. Вот и все. Больше и уцепиться ему было не за что.

Народ битком набился в доме. Двое джигитов Жаке и Сартай вольно развалились на почетном месте. А чего стесняться, на кого оглядываться? Посторонних нет, уполномоченного нет, и собрание тоже проводят свои же.

– Ну, давайте! Какие у вас там дела!– начал Жаке. Гул и разговоры сразу прекратились.

– Прежде чем о деле говорить, я хочу вот что спросить,– сказал Ержан и опустил на свои же колени.– Почему так – как собрание, так обязательно в моем доме? Что, других домов нет, что ли?

– О доме, Ержан, лучше помалкивай. Послушаем сначала, что колхоз скажет,– заметил, злорадно усмехаясь, Жусуп.– Видно, что-то важное нам сообщить желают. А времена, когда можно было говорить о своем доме, прошли. Если колхоз потребует, не то что свой дом, а бабу свою отдашь!

Люди насторожились. Жаке, лежавший на боку, приподнялся и спросил:

– А что ты хочешь этим сказать?!

– Вот то, что слышал! Те, что в колхоз вступили, теперь горькие слезы льют.

Люди недоуменно переглянулись: «Как это?» Черная старуха, устроившаяся возле печки, испуганно зашептала: «Астапыралла!», «Упаси, аллах!»

– Спокойствие! Кто науськивает Жусупа, мы хорошо знаем,– сказал председатель.– Только напрасно он старается сбить нас с пути. Раз мы решили стать колхозом, то слово наше нерушимо! Так?

– Так ты, может, и решил. Как же? Начальник!– не унимался Жусуп. – А вот, кроме тебя, вряд ли кому в колхоз хочется.

– Ты, Жусуп, народ не мути! Люди сами скажут. Говорите, голосовали мы за колхоз? – спросил председатель.

– Да было это... Тянули мы руки.

Голоса были неохотные, и было их не много – два-три человека, не больше.

Но постепенно люди расшевелились, заговорили, даже начали галдеть. Некоторые уже побывали в аулах, в которых был создан колхоз, другие видели кое-что собственными глазами, однако никто ничего страшного о колхозе сказать не мог. И Жусупа уже не хотели слушать. Тогда Калкай вновь спросил: быть или не быть колхозу?

– Быть! – решительно сказал Жаке.

– А как же иначе? – поддержал его Арыстан. – Куда еще бедняку податься, как не в колхоз?

– Валяй, валяй! – крикнул Жусуп из-за угла. – Сразу в нем разбогатеешь!

Когда Калкай созвал собрание, он еще не ясно представлял, что он скажет, какую наметит работу, а теперь вдруг все вопросы решились как бы сами по себе. Слушая выкрики Жусупа, он то краснел, то белел, а под конец не выдержал.

– Жусуп, прикуси язык! – крикнул он. – Не то выгоню с собрания.

Жусуп так и вцепился в него:

– Эй! Осторожней, милоч!

– А что мне осторожничать. Байских прихвостней еще нам не хватало! Или сиди тихо, или мотай!

– А кто дал тебе такое право?

– А что мы – правление, ты понимаешь? Что мы можем составить на тебя протокол и даже под суд отдать, понимаешь?! – задыхаясь от злости, заметил секретарь Кудебек. Он был не силен в законах, но что в его руках теперь есть кое-какая власть, он знал.

Теперь все воодушевились. Вспомнили все грехи Жусупа. И отца его тоже помянули. Оценили их всех по справедливости. И подлость Жусупа каждый раз перетягивала чашу весов. Оказалось, что и сам он из

баев и биев. И теперь еще с баями шуры-муры крутит. Пришлось Жусупу поневоле заткнуться.

Пошумели, погалдели и в конце решили:

– «Новая жизнь» станет настоящим колхозом! Пусть у колхоза будет стоящее правление – разместить его в доме Алима!

О том, что решение собрания следует записать, Калкай вспомнил, когда уже начали расходиться. Пришлось почтенным старикам вернуться с полдороги. Достали бумагу, отыскиали карандаш. Кудебек сочинил постановление. В конце его каждый нацарапал свою подпись. Ержеке в жизни ни одной буквы не знал, поэтому он провел большим пальцем по чумазому казану, приложил к постановлению и сам залюбовался широким, грязным, но точным оттиском своего большого пальца. На другой день в доме Алима устроили контору колхозного правления. Аульные джигиты притащили из дома Ажигерея большущий стол, раздобыли доску и прибили к ней ножки. Получилась скамья. Калкай и Кудебек позаботились о бумаге, чернилах, ручке. У кого-то нашлись старые газеты «Энбекши казах». Из них вырезали портреты вождей и тут же развесили по стенам. Не успели оглянуться, как дом Алима превратился в контору. Разбросанные здесь и там чашки, подносы, миски, ведра – все расставили в углу возле двери.

– А ну, Калкай, садись-ка сюда, как подобает начальству! – сказал Хасен, усадив председателя за стол посередине. Сбоку пристроился Кудебек.

– Что же дальше будем делать?

– Это уж вам видней, – вздохнул Хасен.

– Раз есть контора, значит, нужно писать. Я так полагаю, – заметил Абиш.

– Пиши! И первым запиши меня! – придвинулся к столу, Ержеке...

Так начался первый трудовой день колхоза «Новая жизнь». История колхоза началась с того, что первым в список записался Ержеке.

...С улицы донесся скрип саней, людской говор.

– Это еще кто?

Вошел уполномоченный.

– Апырмай, да вы, я вижу, молодцы! Вот так и должны поступать настоящие джигиты! – обрадовался уполномоченный.

С того времени дом Алима никогда не пустовал. Здесь постоянно толпились люди, составлялись какие-то бумаги, кипела работа. Подводу, конскую упряжь, сельхозинвентарь – все взяли на учет. И никто не пугался, не возражал, ничего не утаивал. Все было отныне и свое, и общее. И на учет брал не кто-то чужой, а свое же правление.

Но раз подошел Хасен и сунул в руку Калкая какую-то бумажку. Калкай недоуменно посмотрел то на бумагу, то на хмурого Хасена. Бумага была помятая, с какими-то непонятными карандашными каракулями.

– Что это? Объясни толком! – потребовал Калкай.

– Заявление это. Баба разводиться хочет. Жусуп ее подговорил. Хочу Жусупа отдать под суд.

Кругленькая, рыжеватая бабенка с зареванными глазами и бледным от злости лицом решительно шагнула к столу.

– Немедля верните моего мужика! – сказала она.

– Э, а кто на него покушается?

– Никто не покушается, но отдайте его мне просто назад. Исключите из вашего вертепа. Я не согласна стать общей бабой.

И заплакала.

И все поняли, откуда подул ветер. Калкай принялся было спокойно ей растолковывать, как и что, но женщина еще больше разревелась. Тут взорвался и разобиженный муж.

– Да она бестолковая! Ничего в башку ей не лезет! – кричал Хасен.

– С ней я разведусь, а из колхоза не уйду. Жусупа подлого под суд все равно отдам!

Беда случилась ночью, когда весь аул уже спал. Вдруг жгучие отблески заплясали по темным окнам хат. И кто-то закричал: «Пожар! Контора горит!» Мгновенно собрались все аулчане. Загремели ведра. Лопатами швыряли снег в огонь. Пламя скоро сбили, огонь сник, но долго еще шипели головешки, плыл черный дым и стоял чад. Сгорели только сенцы.

– У какого злодея только руки поднялись на это?! – гневно спросила старуха Зибя. – Чтобы дом его сгорел!

– Все равно не уйти ему от кары. Сполна ответит! – пообещал Ержеке. Он все еще не мог отдышаться.

Стояли люди и глядели на весеннее небо. На небе клубились, густея, черные тучи, и Ержеке говорил улыбаясь:

– Ах, весна, весна-красна! Душу радует!

– Весенний дождь – благодать, – поддержал его Жаке.

– Он как золото!

На колхозном дворе было многолюдно. Готовилось общее собрание. Стояли в ряд новые плуги, цепочкой выстроились сеялки.

– Детки, что это за штука? Первый раз такое вижу, – улыбаясь, спрашивал Жаке и трогал посохом новый плуг с двумя лемехами. Все члены колхоза толпились тут же. Среди них была и жена Хасена. Еще недавно она ревела при одном только слове «колхоз», а сейчас улыбалась до ушей.

– Объявляю общее собрание колхоза «Новая жизнь» открытым, – сказал Калкай.

Все чинно расселись. Председателем собрания выбрали Ержеке. Кудебек посчитал собравшихся и крупными буквами вывел «Протокол N14».

Докладчиком был Калкай. А первым пунктом повестки дня значилось – посевной план.

– Район установил засеять нам сто пятьдесят гектаров. Мы же решили засеять двести. Семена есть, тягловой силы хватает?.. – спросил он.

– Очень хорошо!

– Если хватит силенок, можно и еще больше! – раздались одобрительные голоса.

– Второй вопрос: разбивка колхозников по звеньям. Первое звено – восемь человек. Звеньевой – Хасен. Второе звено – шесть человек. Звеньевой – Абиш...

– Третий вопрос – рапорт.

– А это что такое?

– Рапорт – это наше обещание району. Удостоверение о нашей готовности к посевной.

Председатель поднялся и громко сказал: «Так вот я считаю...» – и все теперь уставились на него. Казалось, некоторые женщины впервые увидели это серое, в пятнах, лицо, эти косые глаза и огромный сомий рот секретаря правления. Кое-кто про себя, наверно, подумал: «Ну и видик у этого молодца!»

А молодец читал: «Мы, члены колхоза «Новая жизнь», рапортуем райисполкому: записавшись в колхоз, мы объединили сельхозинвентарь и тягло; очистили и протравили семена. К настоящему времени у нас:

1. отремонтированы и подготовлены пять плугов, четыре бороны, двадцать пять сбруй;

2. отобрано для посевной двадцать пять пар быков и лошадей;

3. создано пять звеньев, и назначены звеньевые;

4. сверх плана обязуемся засеять еще пятьдесят гектаров.

Это будет наш подарок к десятилетию Казахстана...».

Ержеке не дождался конца рапорта, крикнул:

– Здорово! Хорошо придумали: «Наш подарок к десятилетию Казахстана!» Кудебек, дорогой, запиши еще в свою бумажку: наш почтенный Ержеке, – да, да, таки напиши! – несмотря на то, что ему перевалило за шестьдесят – обязательно это укажи, – для укрепления колхоза вступает... э... добровольно в эту самую... артель!

Сверху из-за туч раздался первый весенний грохот. Собрание на колхозном дворе разгорелось. То и дело гулко хлопали в ладоши.

А на небе гром гремел уже вовсю. Ему вторил восторженный гул на колхозном дворе. Гул и грохот порой сливались. Казалось, они состязались в мощи.

– Значит, принимаем такое решение? – спросил Калкай.

– Да! Да!

– Тогда завтра же выезжаем с плугами на поле!

И в эту минуту первый весенний благодатный ливень обрушился на землю.

1930 г.

НАЧАЛО РАЗДОРА – КОРОВА ДАЙРАБАЯ

Председатель колхозного правления Кульзайра – женщина замкнутая. За столом она обычно сидит, наглухо укутавшись в черную пуховую шаль. Говорит редко, но резким, властным голосом.

– Я хотела спросить у вас... – начинает Кульзайра.

– О чем же?

– Зачем вы нас, баб, беспокоите? Ведь наше дело у очага шебуршиться, по дому хлопотать. На что мы еще способны?

– Э, не говорите так. Теперь у нас равноправие. А оно должно быть не только на бумаге, но и на деле. Таких женщин, как вы, обязательно следует привлекать к общественной работе.

– Оставили бы нас в покое, другого равенства нам и не надо, – упрямо твердит она. – Испокон веков кормили-одевали нас мужчины, а теперь не в силах, что ли?

Разговоры о женском равноправии почему-то не воодушевляют Кульзайру. «В чем дело?» – недоумевают некоторые. И аулчане отвечают: «Женщина ведь. Думаешь, легко ей народом управлять? Каждый на свой лад орет, со своими заботами лезет – вот и заморочили ей голову. Со зла она так и говорит».

И в самом деле: одна лишь склока вокруг сивой коровы Дайрабая способна кого угодно из себя вывести. Однажды из-за этой коровы вышел великий раздор.

...Всех членов артели «Алгабас» оповестили, что сегодня в школе состоится собрание. Приходили

поодиночке, по двое. В артели объединились шестьдесят восемь семей, но жили все разбросанно, от одного аула до другого – верст восемь–десять.

– Подвод мало. Скот отощал, приходится пешком топать. Вот и задерживается народишко, – говорят.

Собрания артели проводятся если не каждый день, то уж через день – наверняка. А когда из района наезжают уполномоченные, то бывает и в день по два собрания. И все равно народ стекается на них и за десять верст.

Сегодняшнее собрание – особенное. Будут обсуждать новый устав артели, вернее, дополнения к нему. Нововведений и дополнений довольно много, и все они, как будто, дельные. На всех, однако, не угодишь. Некоторым все чудится, что их ущемляют.

– Там ведь ясно сказано: добровольно. Значит, можно и не вступать в эту артель?! – бурчит, нахорлившись, черный детина с корявым лицом.

Верно: добровольно, но это вовсе не значит, что нужно непременно выходить из артели. Свое желание порвать с артелью иные объясняют так:

– Ну, жили артелью, а чего добились? Ни своим скотом, ни собой не распорядились!

Да! Это верно, перестаралось районное начальство, обобществило личный скот, превратило артель в коммуну. А председатель артели пошел еще дальше, проложил, так сказать, собственную борозду в светлое будущее. Не спросясь, забрал у одного телку, у второго – бычка, у третьего – стригунка, начал продавать, резать, транжирить чужой скот налево-направо. Так лишился Ахмет красной телки по третьему году, которую, по его же словам, любил больше родных детей. Так Дайрабай потерял свою сивую корову, которая за один раз давала полное ведро молока... Люди насторожились, ожесточились, потеряли всякий интерес к артельной жизни. И поэтому

обрадовались, и, сразу же по-своему истолковали новое положение о том, что и вступление в артель, и выход из нее осуществляются исключительно на вольных началах.

Пришел возбужденный Жасыбай.

– Слышали, что подлый Садвокас вытворяет? Собирает у себя дома бедняков и подстрекает их выходить из артели!

Садвокас – из бывших аткаминеров. Одно время сами бедняки изгнали его из своей среды, дескать, не место среди них Садвокасу. А теперь этот самый Садвокас стал заступником и наставником бедноты!

Возле осевшей и до половины выщипанной скотиной скирды сидят и разговаривают трое. Один из них – бедняк, двое – середняки, люди прижимистые и ловкие. Интересно, о чем речь ведут?

– Гляньте, – сказал Вали. – Эти стервецы с двух сторон обрабатывают Дутбая. Видно, против собрания науськивают.

– Нет такого закона, чтобы люди не разговаривали, – отвечают ему. – Пусть балабонят, сколько им вздумается. Конечно, если против большинства козни строят – это подло, а так пусть себе...

Наконец собрались все. Битком набили класс, иные – кому не хватило места – взгромоздились на парты. Хозяин, сдавший дом под школу, забеспокоился:

– Нет, нет, слезьте, слезьте с парт. Вы что?! Сломаете, раздавите!

– А тебе какая забота? – возмутились одни. – Сломаем – так не тебе же платить.

– Неправильно говорите, – урезонивали их другие. – Школа – наша, государственная. И нечего зазря имущество ломать.

Собрание началось. Стали выбирать председателя.

– Пусть Ырысты председателем будет. Он ближе к столу сидит. А секретарь – Абиш!

Ырысты упрашивать не нужно. Сел посередке, заулыбался.

– Объявите повестку дня, – напомнил уполномоченный.

– Да чего тут?.. Сами объявляйте, – еще щедрее улыбнулся Ырысты.

Народ расшумелся. Попробуй уйми его, успокой...

– Эй, горлопаны-трепачи! Хватит же вам наконец! – сказал Ырысты – теперь председатель собрания. – Вон человек слово просит.

Доклад тянулся целый час. Оратор говорил о значении сельскохозяйственной артели, о том, как она создается и какие дополнения и изменения включены в устав.

Дали слово для высказываний и вопросов.

– У меня вопрос! – сразу же вскочил насупленный черный мужичонка. Сорвал с головы мерлушковый треух, шмякнул его на парту. Это был Дайрабай.

Все развеселились.

– Ну, начинается сказ про сивую корову!

– Не будет ему конца.

– Как только не надоест ему об одном и том же?

– Ты – человек большой, издалека приехал, если позволишь, хочу поведать свою жалобу, – торжественно начал Дайрабай, обращаясь к уполномоченному.

– Эй, эй, подожди, – заволновались люди. – Дай сначала с вопросами покончить. Куда прешь?

– Не одергивай, товарищ! Ты что, рот мне заткнуть хочешь? Я про горе свое рассказать хочу. И имею право горем своим поделиться. О чем вот эта газета говорит, знаешь?.. Так вот, почитай! – Дайрабай вытащил из кармана тщательно сложенную газету.

Пришлось Дайрабаю вне очереди дать слово. Попробуй скажи ему, что он порядок нарушает, что прениям положено быть после вопросов, Дайрабай брыкаться начнет, как необъезженная лошадь. «Горе

сивой коровы» тяжелым камнем лежит на сердце Дайрабай.

– Товарищ! Люди посмеиваются. Опять, дескать, заладил сказ про сивую корову. Что ж... Кому смешно, пусть смеется. А мне совсем не до смеха. Я не промолчу, когда творится беззаконие. Я говорю и буду говорить об этом открыто, честно, невзирая на лица. Вот!

– Только покороче! – хмуро попросил кто-то.

– Апырмай, и что вы, в самом деле? Дайте же сказать... Где она, свобода слова? Товарищ уполномоченный, скажи этим: пусть не перебивают, – еще больше распалился Дайрабай.

Люди умолкли.

– Товарищ! Я бедняк. Еще точнее – батрак. Девять лет босой-голодный пас овец Семенова. Если вру, пусть сидящие здесь меня поправят... Очухался я малость, когда пришла Советская власть. Кое-какой скотиной обзавелся, крышу над головой поставил. Зажил, как все бедняки. Не хуже, не лучше. А в начале, кажется, двадцать девятого года наш Жасыбай с дружками клич бросили: «Давай организуем калауну!» (тракторная колонна). Ну что ж, давай так давай. Согласились, значит, калауну создали. Получили пяток тракторов. А кто их раньше видывал, трактора-то? Жеребята в дыбки, с привязи срываются. Коровы хвосты торчком, баб пинают, подошники опрокидывают. А мелкая скотина и вовсе врассыпную в степь драпает... Посмеялись мы промеж собой, дескать, новое со старым еще не уживается... В калауне сорок дворов, в артели – шестьдесят восемь, а земля одна, общая. Нам для пахоты нужен цельный надел, чтобы развернуться было где. Решили пустить трактора с Каратомара. А аул Жакена – против. «Мы, – говорят, – сами бедные и никому родную землю не уступим». Тогда, говорим мы, вступайте в калауну. И слушать не хотят, фыркают... В этом ауле живет пройдоха Садвокас, видно, он народ

и взбаламутил. Пригнали мы все-таки трактора к Каратомару, а эти бедняки на нас идут с шестами, дубинами. Среди нас, однако, охотников драться не нашлось, и тогда эти люди распластались на земле перед тракторами: «Не дадим пахать землю, и все!» Пришлось кое-кого оттащить волоком в сторону. Если не верите, вот сидит Жасыбай спросите его. Он коммунист, врать не станет... Дней двадцать тарахтели трактора, распахали десятин двести. От казны получили недостающие семена. Засеяли, значит, и в усы ухмыляемся. Если пшеничка вырастет, до отвала хлеба наедемся. А она на славу уродилась, пшеничка-то. Созрела. Скосили ее сообща, намолотили, посчитали. Бог ты мой, семь тысяч пудов получилось! Хоть верь, хоть нет... Разве бедняку когда-нибудь снилось такое богатство! Но, как говорится, глаза видели его, а в руки не попало. А почему – сейчас вам объясню, товарищ. Из семи тысяч пудов две с половиной тысячи отсыпали, значит, на семена. Тридцать пять процентов забрала калауна. И все равно, когда остаток разделили, пришлось по двенадцать пудов на каждого. Но тут сообщили нам, что в Казахстане существует якобы особый закон. По нему член артели не имеет право получить более семи пудов в год. Что ж... Против закона не попрешь. Пшеницу продали, а деньги послали красноармейцам-дальневосточникам. Это был наш дар от чистого сердца. Искренне обрадовались, что от нашего скромного труда вдруг столько пользы. Ладно... Еще новость – заем. Опять не пожадничали – дали. Тут и кончилась пшеничка. А купить – на что? Ничего, утешали себя, главное – семена есть в запасе. А сами и на молоке как-нибудь продержимся. В эту самую пору стало что-то непонятное твориться с нашей артелью. Когда мы вступали в калауну, Жасыбай уверял, что общими будет только тягло и наш труд. Вдруг приезжает

из района курчавоголовый уполномоченный (его даже вроде «чрезвычайным» или «особым» называли) и говорит: «Никаких разговоров! Отныне и скот, и люди, и дом – все общее!» Так в один момент и телка, и бычок, и корова не моими стали... Ну, обобществили скот весь – ладно. Но с нас еще и семена потребовали. «Да как же так?! – народ ропщет. – Мы ведь еще осенью семена заготовили». А уполномоченный еще пуще прежнего распаляется: «Давай семена!» Получается вовсе интересно. У меня, товарищ, семья – я да жена. Ну, раз малосемейный, да еще скот держишь, да десятину-другую земли имеешь, с тебя, оказывается, еще и налог причитается. Один рубль семьдесят копеек. Ладно... Стали делить семенной налог, и на мою долю, как малосемейного, досталось больше всех – двадцать один пуд! А ну, выкручивайся теперь, Дайрабай! Покажи-ка свою прыть! Докажи-ка, что ты активист! Денег – ни копейки, скот – записан на коллектив, к нему теперь не подступишься. Осталось приданое жены – старый, потертый ковер. Думаю продать его, так жена дурным голосом вопит. Что делать?

– Апырмай, куда же подевались семена? Мы ведь сами засыпали в закрома две с половиной тысячи пудов очищенного, отборного зерна, – говорю.

– А это тебя не касается, – мне отвечают. – Это пошло в счет заготовки. Так решил район.

Приуныл я. Ну как же? Хочешь быть честным бедняком – достань двадцать один пуд зерна. Да разве я – враг Советской власти? Разве я не желаю ей добра? Разве не отдал ей последнее?..

Так извелся – дома не могу сидеть. Душа содрогается от одной мысли, что я несчастный бедняк. Походил туда-сюда, пытался во что бы то ни стало доказать свою честность, но и занять ничего ни у кого невозможно. Убитый, притащился я домой ни с чем. Тут баба на меня

шумит. Жрать, говорит, дома нечего, а ты без толку слоняешься... Вот-те раз! Я хожу – семена ищу, а бабе самой есть захотелось.

– Поменяй лошадь на убойную скотину, – говорит она. – Лучше уж пешим остаться, чем с голоду подыхать.

Нет уж... Пока я жив, с темно-рыжим своим не расстанусь...

Наутро притащился Сеит. Я как раз злой, мрачный сидел.

– Забираем сивую корову на контрактацию, – заявляет он.

– Я ведь твоего отца вроде бы не убивал! – вспылil я. – Что ты на сивую корову мою позарился?!

– Попридержи язык, товарищ! – грозитя Сеит. – Если начнешь артачиться, мигом под суд отдам, как врага мясозаготовки.

– А еще куда отдашь? – спрашиваю.

Вместо ответа Сеит достал бумагу и начал строчить. А после суда, известное дело, – тюрьма. А что такое тюрьма, я уже однажды изведal. Меня туда Есмаганбет упек еще в двадцать пятом году, обвинив в конокрадстве. Будто я жеребца его угнал... Втолкнули меня в эту самую тюрьму, а там знаменитый вор Койшигул сидит, скучает. «А, – говорит, – ты ведь из тех, кто на меня капал, указывал, что я вор. Теперь, паскуда, сам попался мне в руки!» Ну, и давай колотить меня кулачищами. Как вспомню ту тюрьму и те побои, во мне злoба вскипает, и удержать себя уже не могу.

– Раз ты хочешь меня под суд отдать, то уж постараюсь, чтобы было за что!

И я подмял Сеита и от души отдубасил.

На другой день за телесное оскорбление представителя власти баскарма¹ пешком погнал меня в район... Было холодно, мела поземка. Ветер так и хлещет в лицо... Я пешком, а Кусебай на тощей мухортой кляче.

¹ Председатель правления.

Скрючился весь, дрожит... Вот он тут сидит, рябой, невидный... Это он тогда гнал меня в район. Промерз я насквозь, ну и говорю Кусебаю:

– Заедем в ближний аул, согреемся.

А на этого упрямца иногда находит.

– Нет, – говорит, – приказано срочно тебя доставить.

Оглянулся я: сидит Кусебай, согнулся, кроме плетки, в руке ничего нет. Набросился я на него, стянул с седла, сам вскочил на мухортого и айда во весь скок...

Так и приехал в район. «Где тюрьма?» – спрашиваю у каждого встречного-поперечного. Все смотрят на меня, выпучив глаза, и в сторону шарахаются. Поехал я по улице, думаю, попадется же кто-нибудь из тех, кто в учреждениях торчит. И вдруг впереди меня громадный рыжий детина маячит. В руке папка. Я его раньше не видел, но чую: какой-нибудь начальник.

– Дорогой! – окликнул я его. – Где находится ваша тюрьма?

Он оглянулся.

– А зачем она вам?

Я ответил, что приехал сесть в тюрьму.

– А что за причина? Из богачей, что ли? Почему без сопровождения?

– Какой богач?! – говорю. – Самый бедняк. Бывший рьяный активист Дайрабай из аула номер три. Избил члена правления. А по пути конвоира с лошади стянул. Потому и приехал один.

Он так пристально посмотрел на меня и говорит:

– Пойдемте ко мне, поговорим.

Привел меня в райком, усадил к столу, сам сел напротив:

– Расскажите обо всем сначала.

Я и давай рассказывать. А он слушает, слушает. Да слова мои записывает. «И чего он все выпрашивает? – думаю. – Может, следователь?..» Но следователи, я

знаю, иначе допрашивают. Те с ходу с предков начинают.

– Вас не за что сажать в тюрьму. Я сам все проверю. Возвращайтесь домой, – сказал в конце рыжий.

От радости я заулыбался, осмелел. Интересуюсь: кто он? Оказывается, новый секретарь райкома. Тогда я решил выложить ему все начистоту.

– Дорогой, – говорю. – Двадцать один пуд зерна меня днем и ночью преследуют. Говорят, если я не сдам налог, то прослышу вредным, нечестным типом. А нельзя ли меня все же оставить в числе честных бедняков?

– Если есть у вас излишек, – сдавайте. А коли нечего сдавать, то и спроса нет. Вот и вся честность.

Я ушам своим не поверил. Сижу, глазами хлопаю. Тогда он встал, нашел газету и протянул ее мне.

– Если кто-либо без оснований станет от вас требовать семена, покажите ему эту газету. Здесь напечатано постановление Центрального Комитета партии, – сказал рыжий секретарь.

– Вот она, эта газета! – Дайрабай, шурша страницами, развернул газету «Советский аул». – Сам я в грамоте не смыслю. Но где-то здесь должно быть то, что он мне говорил.

Едва Дайрабай кончил свой длинный рассказ, все зашумели.

– Товарищ уполномоченный! Вы приехали сюда Даирабая слушать или собрание проводить? – возмутился кто-то.

– Подобные байки каждый из нас рассказать может – пробурчал второй.

– Я предлагаю прекратить всякие жалобы и перейти к собранию. А то уже поздно. Дома за скотиной присмотреть некому. Скотина голодная, дохлая, за ней нужен глаз да глаз. Не то, пока мы здесь глотки дерем, последняя околеет, – крикнул третий.

Дайрабай разбушевался было, но большинству все же удалось его перекричать. Вернулись к вопросам.

– А можно выйти из артели? – спросил кто-то.

– Можно.

– Тогда я выхожу.

– Причина?

– А причина такая. – Задавший вопрос выступил вперед. – Злоключения Дайрабая и мне знакомы. Что это за порядки такие, когда на собственное имущество прав нет?! Сшил я себе в этом году шубу, а носить ее так и не привелось. Попросил ее как-то Кайранбай – есть у нас такой. Дай, говорит, в район съезжу. Напялил он мою шубу, и с концом! «Ты почему мою шубу не возвращаешь?» – спрашиваю. А он меня же облаял: «Молчи! Или не знаешь, что отныне все имущество общее?!» Шуба – бог с ней. А вот был у меня пегий стригунок, такой ладный да гладкий. Дед бы воскрес – я б его не зарезал. Хороших кровей был стригун. Мечтал: будет у меня славный конь... И вдруг прибегает однажды с улицы жена, вопит: «Стригунка нашего уводят!» Кинулся я из дома, с людьми баскармы столкнулся.

– Оу, – говорю. – Как вы смеете ни с того ни с сего скотину из чужого хлева уводить?

– Не твой скот, старина, – мне возражают. – А колхозный. Мы хотим стригуна на мясо беднякам резать.

Я остолбенел. И сказать ничего не могу. А стригунок ржет, жалобно так, словно почувствовал смерть. Мать его, кобылица, тоже ржет, зовет его в деннике. Я любил, лелеял стригунка больше человека. Жалел. Не резал, хотя мяса поесть не против. Мое состояние всем известно. В прошлом году было восемь голов. И нынче столько же. Осенью на убой купил клячу у одного русского. Сейчас сидим без мяса. Недавно отелились две коровы. Вот молочным и пробавляемся. Конечно, есть, наверное, бедняки, у которых и того нет. Я этого

не отрицаю. Если поискать, и такие найдутся. Но разве мясо пегого стригунка голодным досталось? Его бездельники и гуляки сожрали! Те, которые привыкли шататься по аулам, в то время как другие пупы надрывают, в поте лица прокорм себе добывают...

– Кто они? Можешь их назвать? – спросил кто-то рядом.

– А почему нельзя? Могу и назвать. Вот, к примеру, Ержакып. Разве не лодырь он? Разве он работал когда-нибудь? Здоровенный джигит, подкову гнет! Ему бы летом поработать, разве не прокормил бы трех душ?! Вот кого прижать бы надо!.. Поэтому я и выхожу из артели.

– Товарищ уполномоченный! – обратился низко-рослый. – В газете сказано, кого силком тащили в артель, теперь по желанию могут выйти. Вы будете придерживаться этого решения?

– Конечно.

– А если середняк уйдет, карать его не станете?

– Нет.

– Тогда я выйду из артели. Только вы не спрашивайте, а я не стану говорить – почему.

– Нет, нет! Пусть объяснит! – требовало собрание.

– Товарищи! Принуждать человека нельзя. Таков советский закон. И вы не имеете права меня заставлять...

– Я мог бы вам объяснить, почему он уходит из артели, – сказал, поднимаясь, Жасыбай.

– Ну что? Пусть скажет?!

– Пусть.

– Нет, не Жасыбай, а он сам пусть ответит.

– Говори, Жасыбай!

После долгих пререканий и колготни Жасыбаю дали слово.

– Товарищи! Я объясню все с самого начала. – У Жасыбая вспотел кончик носа. – Зовут этого гражданина – Айсары. Отец его был – Жанбура. Старики

поговаривают: «Когда Жанбура был правителем, в аулах никто и пикнуть не смел...»

– Какое тебе дело до его отца?!

– Где Жасыбай, там склока.

– Жасыбай счета сводит, мстит, – раздались голоса.

– Нет, товарищи, не мщу. Я говорю как есть. Жанбуру, правда, я не знал, зато Айсары знаю. Знаю, как он при Николае шесть лет был аульным правителем. Знаю, как взятки брал, и не я один, а вы все знаете... Но оправдал он ваше доверие? Разве не он, как тот чалый жеребец в поговорке, который один портит весь табун! Разве не он проводит у себя дома тайные сборища? Разве не он собирает по аулам разные сплетни да слухи? Айсары вскочил:

– Товарищ! Разрешите слово сказать... Жасыбай не впервой набрасывается. Уже десять лет пытается он меня изничтожить. Но аллах до сих пор бережет. И надеюсь, так и проживу до самой смерти. Сама партия, оказывается, считает делом добровольным, быть или не быть в артели. Коли так – я ухожу. Прощайте!

И Айсары направился к двери.

– Хорошо, что сам уходишь, не то все равно бы вытурили, – бросил ему вдогонку Жасыбай.

– Так Жасыбай нам всем скажет! – буркнул Умирзак.

– Так пока не поздно, и я смотаюсь.

– И я пойду, – поднялся Жауке.

Стали уходить один за другим. Кто-то с кем-то ругался. Кто-то с кем-то сцепился. Шум поднялся – ничего нельзя было разобрать. Председатель собрания Ырысты от растерянности рот разинул.

– Эй, эй, что же это? Что это такое? – только и бормотал он.

Взбодораженные члены артели, увлекая друг друга, разошлись кто куда. Из шестидесяти восьми человек осталось двадцать. У Жасыбая испариной покрылся не только кончик носа, пот струился теперь уже по вискам. Из оставшихся восемь человек – члены

партии, девять – комсомольцы. Выходит, ни партийная, ни комсомольская ячейки не смогли повлиять на большинство?..

– Да как же так случилось? – встревожился не на шутку Жасыбай.

– Очень просто! – ответил Дутбай. – Это все Айсары и Садвокас подстроили. Они взбаламутили народ.

– А вы где были? Где ваша разъяснительная работа? – поднял голос уполномоченный. – Почему даже бедняков упустили из рук? Неужели какой-то Айсары влиятельнее вас?!

– Напрасно вы так на нас, – сказал Жасыбай, вытирая с лица пот. – У нас был хороший коллектив. И авторитетом у бедняков пользовались немалым. Но последняя кампания нанесла страшный вред, подорвала веру. Дубинка прошла по головам бедняков. И виноват в этом район! Вы, уполномоченные и разные горе-активисты, во всем виноваты!

Жасыбай резко и гневно говорил о перегибах и беззакониях, допускавшихся в последнее время в не окрепших еще артелях...

Вошел Дайрабай, взъерошенный, встревоженный:

– Эй, чего же вы сидите?!

– А что случилось?

– Что, что! Садвокас и Айсары народ подзуживают, из артели уходить подбивают.

– Сам же первый заваруху затеял, баламут! Какой же с Айсары спрос?!

– Брось, Жасыбай! Не возводи на меня напраслину. – Дайрабай обиделся. – Я про что говорю? Про беззакония председателя правления. И впредь буду говорить!.. И в райкоме буду говорить! Но разве я заикнулся хоть раз, что выйду из артели? Да с какой стати?! Гнать будешь – все равно из артели ни на шаг!.. А где этот Тыныбай? Он что, тоже бушует?!

Дайрабай так же спешно вышел.

...Пошумливает народ. Одни выходят, другие приходят. Мечутся, орут, толкутся. Неожиданно опять народу оказалось столько, что пришлось опять лезть на парты.

– Товарищ уполномоченный! Кто должен прийти – в сборе. Я свои жалобы частично выложил и отвел душу, – объявил Дайрабай. – Остальное скажу в райкоме. Продолжайте свою работу. Из шестидесяти восьми семей здесь присутствуют пятьдесят. Для одного колхоза, думаю, не так уж мало. Мы слушаем – говорите! – И он улыбнулся.

– Вот с этого и надо было начинать, смутьян! – вырвалось у Алиша.

– Ой, Алеке, а ты разве во мне сомневался? Ты думаешь, я отколюсь от бедноты? Ухвачусь за подол Айсары? Э, нет! Меня от партии не оторвешь!

Дайрабай чуть задумался и спросил:

– Товарищ уполномоченный! Если, скажем, я захочу в партию вступить, меня примут?

– Таких только и следует принимать.

– Тогда я вступаю в партию! Эй, Жасыбай, пометь меня в своем списке. Запиши: с 1 апреля 1930 года Дайрабай является коммунистом.

Все дружно расхохотались.

Уполномоченный поднялся и начал читать новый устав артели.

1930 г.

ЧЕРНОЕ ВЕДРО

С черного ведра все и началось. Айша берегла это ведро пуще глаз. Года три назад, оставшись без него, она была вынуждена бегать к соседям до тех пор, пока ее муж Бирмаганбет, сдаваясь на ее постоянные просьбы и упреки, не принес из лавки и не поставил перед ней новехонькое черное ведро.

– Только и слышу «ведро, ведро»! Меня уже мутить начало. Вот видишь, вместо курева для себя тебе ведро купил. Возьми и замолчи! – сказал Бирмаганбет, подчеркивая всю важность своего поступка.

Но, говоря так, Бирмаганбет вовсе не хотел сказать, что жена его грязнуля или неумеха. Просто он дал понять ей, что он человек порядочный и от просьбы жены отнюдь не отмахивается. О бережливости, аккуратности и запасливости Айши знал весь аул. Каждую вещь она ценила, как будто она единственная из тысячи. Неряшливые бабы, желая унижить, ущемить «чистюлю» Айшу, иногда ворчали:

– И чего она вечно трясется над всяким дерьмом? Все равно в могилу его не возьмет! Скупердяйка!

И надо же было такому случиться: угробили ее черное ведро!

И угробила младшая жена Кожагула – бестолковая, чумазая баба – вечно по дворам слоняется и что-нибудь да просит, а что возьмет – то никогда по-людски не возвратит. А сегодня понадобилось ей вдруг ведро. Приперлась. Обычно Айша таких просителей и близко к дому не подпускала.

– Вы не беднее меня. Сами можете купить, – отрезала им она.

А сегодня так не ответила. Не до того ей было: уже целый месяц, как исчез из дома Бирмаганбет! Доходили слухи, будто по распоряжению района он составляет протоколы на тамошних баев и отправляет эти бумаги в суд. Но какое ему дело до баев? И почему нужно целый месяц шляться где-то на стороне, когда дома жена и семья? И что это за мужчина, который так запросто бросает свой дом? Подобные мысли уже несколько дней не оставляли Айшу. Она привычно выносила золу, разводила огонь под очагом, гоняла единственную корову-пеструшку на водопой, а сама все неотступно думала и думала о Бирмаганбете.

Он уже не первый год разъезжает по аулам. Года три, как ему не сидится дома. С того времени как его впервые избрали делегатом на совещание батраков, от него только и слышно: «съезд», «группа», «постановление». Если приезжает в аул уполномоченный – первым делом он вызывает Бирмаганбета. И всюду потом они ходят вместе. Созывают людей, проводят собрания, уполномоченный делает доклады, и когда люди, растерявшись, молчат, а представитель власти просит высказаться, – тогда слово берет Бирмаганбет.

– Товарищи! – говорит он громко.

Все вздрагивают, заглядывают ему в рот. И тут Бирмаганбет начинает одних поддевать, других поддразнивать, третьих подзадоривать:

– Товарищи! А ведь видно, что боитесь вы баев! Да-да! У иных даже языки со страху отнялись. Ну, так не трусьте! Довольно вам молчать! Я же знаю, у вас есть что сказать. Так ведь? Давайте, давайте!

После этого и все начинают выступать наперебой.

Собрание кончается, люди расходятся по домам, и, сидя у очага, Айша начинает упрекать мужа:

– Зачем тебе лезть на рожон? Хочешь прослыть смутьяном? Сидел бы дома да хлебал бы свою похлебку. Нет, ему обязательно выступать надо!

«Оставь свои советы при себе!» – как бы говорил на это Бирмаганбет и, смерив Айшу гневным взглядом, отпихивал от себя кесушку. Айша знала про вспыльчивый нрав мужа и после этого больше о собрании не заикалась.

А ведь в их жизни всякое случалось. Чего только не пережили Айша и Бирмаганбет в прошлом? И унижения, и позор, и байские побои, и брань его байбише – все сносила Айша. Свою семью и очаг она занимала лишь года четыре назад. А Бирмаганбет, даже женившись, продолжал батрачить. Лишь в прошлом году он сбросил ярмо. После конфискации ему досталось несколько голов байского скота.

С этого времени их хозяйство пошло на поправку. Айша берегла то, что имела. У нее всегда было чисто и прибрано. Иногда бывало и голодно, и холодно, но она и слушать не хотела о том, чтобы зарезать или продать хоть одну скотину. Бирмаганбет пытался однажды продать бурую телку да купить кое-что из одежды, но Айша такой подняла шум!..

– Да ты в своем уме ли? Как можно продать телку? Мы и раньше босые-голые ходили, да ведь не пропали! И теперь не пропадем!

На самом деле у Айши одно желание: не растерять того, что с таким трудом нажито, поправить хозяйство, вырваться наконец из проклятой нищеты. Ведь не на роду же написано быть бедняками. Уж они-то познали горечь чужого куса.

Так думает Айша. А Бирмаганбет? Разве не в десять раз больше перенес он обид, чем все другие? Разве он думает иначе, чем она? И вот только теперь он достиг чего-то, только теперь у него в душе забрезжил луч надежды. Так почему он безразлично относится к хозяйству? Почему не сидит дома? Почему не думает о семье, не заботится о скотине? Почему не копошится, как другие мужчины, подрабатывая, подшивая копейку к копейке?..

Но все это пустяки по сравнению с тем, что сейчас взбаламутило душу Айши. Она решилась на то, что никогда не делала, о чем отродясь не думала, что никогда и в мыслях не держала, особенно с тех пор, как вышла замуж. Она и сама не может понять, как все это случилось. Теперь она ломает себе голову и никак не может сообразить: правильно она поступила или неправильно. Попробовала было поговорить с Алмагбетом – он ведь деверьком ей приходится, – но тот все повернул в шутку и только еще больше растравил сердце. И вот, когда голова шла кругом, приперлась откуда ни возьмись эта проклятушая чумазая баба Кожагула и выпросила черное ведро.

Произошло это так.

В аул приехал уполномоченный и созвал жителей на собрание. Аул был маленький, дворов на двадцать, а то и того меньше, и потому все вместились в дом Сартая. Собрались и все женщины. Среди них – Айша. На почетном месте восседал, распушив бороду, Кайралап. Рядом, выпятив жирный подбородок, сидел Идрис. Обоих богачей во время прошлой уборки потрясли как следует и объявили им бойкот-майкот. Помнится, на одном собрании Бирмаганбет сказал:

– Желательно, чтобы среди нас не было смутьянов-баев. Пусть своими делами ведают сами батраки и кедеи.

И тогда же выгнали с собрания Кайралапа и Идриса. Теперь, пользуясь тем, что Бирмаганбета нет в ауле, оба бая безбоязненно притащились на собрание и даже уселись рядком. Айшу это неприятно задело. Ишь как обнаглели! Думают, раз нет Бирмаганбета, так можно опять на голову сесть? Как бы не так! Завтра муж вернется, и Айша ему обо всем расскажет, и он богачам мигом хвосты прижмет!

– Проходи, Айша! Из-за своего муженька тебе и на собраниях побывать-то толком не приходилось, – крикнул кто-то из молодых джигитов. – А ну-ка, толкни речугу, пока Бирмаганбета нет!

И, почувствовав скрытую насмешку, Айша еще больше разозлилась. Аулнай – заика Орынбай, волоча холщовую сумку, с которой не расставался, о чем-то тихо переговаривался то с одним, то с другим.

Смуглый незнакомец со всклоченной шевелюрой недовольно косился на заику и сказал:

– Товарищ председатель! Может, хватит вам по углам шептаться? Может, уже пора открывать собрание?

Смуглый незнакомец оказался уполномоченным из района. Он сделал доклад и кончил его так:

– Итак, товарищи, пора положить конец бестолковому мелкому хозяйству и переходить на крупное коллективное производство, к методу социалистического хозяйствования!

Люди молчали, словно их дрема взяла.

– У кого какие будут вопросы? – несколько раз спросил председатель, однако никто даже рта не раскрыл.

– Ия, аллах, спаси нас, грешных! – громко вздохнул Кайралап.

– Эй, чего же молчите! Да скажите хоть что-нибудь!

– Вон Айша встрепенулась. Наверное, сказать что-то желает! – шутливо заметил кто-то из джигитов.

– Она ведь жена активиста. Захочет – так резанет, – подхватил еще кто-то.

То ли вконец разозлилась Айша, то ли в самом деле намеревалась выступить, но она тут же вышла вперед.

– А что? И скажу! Баев, думаете, испугаюсь? Не такая я, как вы!

Уполномоченный поднял голову, внимательно посмотрел на Айшу. Она смутилась, на мгновение запнулась.

– Говорите, женгей! Смелее! – улыбнулся уполномоченный.

– Прежде всего я хочу сказать: здесь сидят двое майкотов¹. Пусть они покинут собрание.

Люди переглянулись. Сатыбалды, исподлобья взглянув на Айшу, удивленно покачал головой. Уполномоченный обрушился на председателя аулсовета, требуя назвать этих «майкотов». И, узнав, кто они, резко спросил:

– А вас кто сюда звал?!

– Ойбай, дорогой, сказано ведь было, всем прийти на собрание. Вот и пришли. Думаю, не приду, опять же буду виновным... – начал оправдываться Кайралап.

Баев выдворили. Уполномоченный обратился к Айше:

– Продолжайте, женгей.

Айша и не знала, о чем говорить дальше. Ничего дельного не приходило в голову. Но раз уполномоченный просит продолжать – молчать было неудобно. И она коротко сказала:

– Могу еще сказать: все, что здесь говорил уполномоченный, совершенно правильно. Я полностью его поддерживаю!

– А что тебе не поддерживать: небось скот твой не потом заработан, а задарма тебе достался. У одних забрали, тебе дали. Передать его в колхоз, конечно, нетрудно. А вот пусть другие скажут, – заметил Кусаин.

По правде говоря, Айша и сама толком не поняла, что значит обобществлять скот. Не все ей было ясно в докладе уполномоченного. Слушая его, она думала о своем, о том, что не выходило в последнее время из головы. И теперь почувствовала себя неловко.

– У меня вопрос, – подал голос Жаман. – Ну, хорошо. Допустим, сделаемся мы коллективом. Объединим все

¹ Бойкотированных.

хозяйство, все имущество. А как же быть с семьями? Будем по-прежнему каждый жить в своей лачуге или – как родичи Смата – начнем по сорок человек лакать из одной лоханки?

– Разумеется, из одной лоханки лакать будешь, – опередил уполномоченного Кусаин.

Зашумели.

Уполномоченный, однако, взял слово, обстоятельно объяснил, каким образом будет строиться коллективное хозяйство и как будут жить члены сельхозартеля, и все успокоились.

– Товарищ уполномоченный! – обратился Тмакбай. – Возьмем, к примеру, бедняка. У него, скажем, ничего нет. Так себе, голь перекатная. Промышляет тем, что шьет. Такого тоже в артель примете?

После Тмакбая выступили Жусуп, Кадырберген, Жакип. Из их слов Айша определенно поняла, что будут обобществлять скот. Но только как это? Они с Бирмаганбетом лишь недавно обзавелись кое-какой скотиной. И в одежде, и в еде себе отказывали, мечтая хотя бы чуточку увеличить поголовье. И теперь вдруг все станет общим? У бедной пеструшки сосцы с четверть аршина. За одну дойку дает ведро. В прошлом году, во время конфискации имущества Базаубая, уполномоченный подозвал Айшу. «Женгей, – сказал он, – вместе с вашим супругом вы немало гнули спину на этого бая. Так выберите из его стада любую корову».

Среди коров Базаубая отличалась молочностью красная порода с отметиной на лбу. Пеструшка была из этой породы. Айша подбежала к ней, обняла за шею... И теперь вдруг ее любимая пеструшка, кормилица, станет общей, ее молоко, ее масло достанется чумазой неряшливой бабенке Кожагула? О, господи, что же это такое? Но – самое главное – дома не будет хозяина, владельца всей скотины. Интересно, сразу же начнут обобществлять скот или подождут, пока вернется Бирмаганбет?

Вопросы кончились. Председатель собрания приступил к голосованию.

– А ну, кто согласен вступить в коллектив, поднимите руки!

Аулчане, косясь друг на друга, молчали, выжидали, ерзали. Никто не решался поднять руку первым. Айша вспомнила, как в таких случаях поступал Бирмаганбет. Он вскакивал с места, поднимал руку и говорил:

– Голосуем!

И все разом вскидывали руки.

Айша тоже неожиданно для себя воскликнула:

– Голосуем, товарищи! Ну!

Робко поднялось несколько рук, а потом проголосовали и все. Приняли единогласное решение: «Создадим коллектив!» Теперь надо было выбрать председателя. Посыпались разные предложения. Уполномоченный попросил слово:

– Если послушаете меня, выберете в председатели вот эту самую женгей. Не пожалеете!

– Брось! – вскочила в испуге Айша.

– Возражать против этого товарища, может, никто и не станет, – начал тянуть, запинаясь, Кусаин, – но она ведь неграмотная...

– Ну, грамоте можно научиться. Я лично охотно проголосую за сноху Айшу. Давайте поднимем руки! – сказал почтенный Досым, и вслед за ним все подняли руки.

Таким образом, председателем артели «Новый быт» избрали Айшу.

Событие того дня чудилось Айше странным сном. Нежданно-негаданно оказались в ее руках повода власти. С какой стати? За какие заслуги? Чем это кончится? Добром ли, срамом ли? Будет ли доволен Бирмаганбет? Поступил бы он так, будь он здесь? Или, наоборот, промолчал бы, окаменев лицом?

Пришла Айша домой, а дома восьмилетний сынишка Куандык, собрав своих дружков со всего аула,

перевернул все вверх дном. Сорванцы натаскали со двора сена, рассыпали золу, разлили воду. Обычно Айша нещадно выгоняла этих бесенят из дома, и малыши, чувствуя, что им достанется, разбегались врассыпную, едва только примечали Айшу. Однако на этот раз Айша не раскричалась, как обычно, и не вытолкала в шею замешкавшихся забияк. Толкаясь, толпясь, они ушли, а Айша, ничего не замечая, прислонилась спиной к печке и стала смотреть в окно. Начинался буран. За окном вырос большой сугроб. Свирепый ветер налетал на него, поднимал снежные вихри, зловеще завывал. Пурга замела окошко снизу, и в доме стало сумрачно.

Коллектив! На счастье или на горе его образовали? На собрании кто-то полушутя, полусерьезно предложил:

– Давайте зараз и баб обобществим:

Другой ему немедля ответил:

– Э, знаем, знаем, что ты на молодку Жексена нацелился!..

А что, если в самом деле и женщин сделают общими... Айша вспомнила, как вспыльчив и горяч Бирмаганбет. Кроме того, он ревнив, суетлив, раздражителен. Иногда он говорил: «Больше всего на свете люблю тебя. Когда кто-то на тебя глаза пялит, у меня все внутри переворачивается». Так что же теперь будет? Если... Господи, о чем я только думаю!..

Вот как раз в эту минуту и притащилась младшая жена Кожагула. Жаулык засаленный, грязный. Кожаные галоши стоптаны набок. Запыхалась, будто за ней гнались с палкой. Спиной о печку почесалась. Постояла так чуток да и забалабонила:

– Апырмай, что с погодой творится! Небо, что ли, обвалилось! Каждый божий день пурга, метель, буран! Сдуреть можно. И в такую круговерть некоторые еще и по собраниям шляют. От безделья, должно быть, бесятся. Пятеро из «Березового колка» приперлись, в

гости, видишь ли, пожаловали. Расселись, будто родной отец пришел! И что только люди думают? Жрать-то нечего. Одну паршивую скотинку зарезали на зиму, и то уже вчера огузок разделали. Больше, хоть шаром покати, ничего нет...

Она перевела дыхание и завелась снова:

– Решила им чай поставить, чтобы избавиться, да какой смысл при таком буране взад и вперед с одним ведром мотаться? Может, дашь, сношенька, свое черное ведро?

Айша слушала чумазую балаболку рассеянно, вполуха. Только и поняла, что ей понадобилось черное ведро. В другое время Айша бы ее к этому ведру и близко не подпустила, но сейчас так хотелось скорее выпроводить назойливую гостью и остаться наедине с собой, со своими думами, что она махнула рукой:

– Там, в углу, оно! Бери!

Пришел вечер, стемнело, надо было идти за водой. Тут-то и поняла Айша, какой промах она допустила, и похолодела. Младшая баба Кожагула ведь редкая растяпа. То, что попадет ей в руки, считай, пропало. Пиалу возьмет – надвое расколет, чайник для заварки – носик или ручку обязательно отобьет, ведро возьмет... И, не выдержав, Айша выскочила из дома. Она бежала, спотыкаясь, проваливаясь в сугробы. И не замечала этого. Лишь бы скорее добраться до чумазой неряхи. Скорее бы увидеть свое черное ведро...

Распустив грязные косы, вздымая клубы пепла, сидела у печки баба Кожагула. Увидев ворвавшуюся в дом Айшу, начала длинными щипцами яростно шуровать уголья. Посыпалась зола, повалил черный дым.

– Я за ведром пришла, – предчувствуя что-то неладное, сказала Айша.

– Этот... мальчишка бестолковый... Ну, и я его так отлупцевала, что навек запомнит... – пробубнила чумазая, не отрываясь от печки.

Айша, не помня себя, грозно надвинулась. Чумазая, слегка оробев, пролепетала:

– Ну, что ты, что ты?! Имей уважение к старшей! Уймись! Вон лежит твоё ведро.

Ведро – сплющенное, с продавленным дном – валялось у порога. Айша задохнулась от ярости и обиды. Схватила изуродованное ведро, запустила его в косматую бабу и заплакала.

– Ойбай-ай! – дурным голосом на весь дом завопила чумазая. – Уби-и-ила меня эта сте-е-рва!

Вошел Кожагул. Сосульки на бороде и усах таяли, стекая на грудь каплями воды. И без того большие глаза его еще больше расширились. Казалось, вот-вот вылезут из орбит.

Постоял, пожевал губами, вздохнул:

– Что же ты, сношенька, бабу нашу избиваешь?

– Пусть не берет, не ломает чужие вещи!

– Эго, конечно, правильно. Ломать – не годится. Но при чем тут «чужие»? Вы же были на собрании, так слышали, что говорил уполномоченный. «Все необходимые орудия производства будут обобществлены». Так он сказал. А ведро – тоже орудие производства. И тоже необходимое. Значит, им надлежит пользоваться сообща. Ломать не надо. Согласен. Но если уж невзначай сломали, разве можно сразу в драку лезть? Уполномоченный тоже не одобрит. К тому же вас в председатели выбрали. Если мы напишем жалобу, дескать, председатель избивает людей, вас – имейте в виду – в два счета отдадут под суд!

Айша молчала. Ей было стыдно за свою вспышку. Все слова, сказанные на собрании об обобществлении средств производства, и в самом деле вылетели из ее головы. А ведь ведро теперь действительно общее. Ну, взяла его эта грязнуха. Сломала. Так на то теперь свобода. Какое она, Айша, имеет право бушевать? Горько было, однако, об этом думать. Перед глазами мелькало раздавленное черное ведро. Затем мелькнула

чумазая баба Кожагула, распатланная, как ведьма. И страшно стало Айше, и обидно. Поникшая, растерянная, не в силах унять колотившую ее дрожь, поплелась она домой.

...Ночь. Окно замело снегом. Буран неистовствует, ветер свищет, гудит, воет. В сумраке, прижав к себе Куандыка, скорчилась Айша. Сон покинул ее. Невеселые думы одолевают женщину. Она тяжело вздыхает.

Кто-то резко рванул дверь. Айша испуганно вскочила:

– Кто это?

– Я!

Знакомый, родной, долгожданный голос. Айша мигом подлетела к мужу и начала помогать ему раздеваться.

– Апырмай, как ты осмелился приехать в такой буран?!

Бирмаганбет был весь в снегу. На бороде иней, усы в сосульках. Невысокого роста, краснолицый, он, раздеваясь, довольно отдувался, покрывал.

– Ой, ты, родненькая, истомилась небось, соскучилась. Ну, дай расцелую!

Холодный, неуклюжий, в толстой одежде, он притянул ее к себе, пытаясь заключить в объятия, и Айша вспыхнула, как девушка, изогнулась, подставила лицо.

Целую вечность не видела она его, Бирмаганбета! Так обиделась на мужа Айша, что про себя грозилась даже не посмотреть на него, когда он вернется. А теперь, радостная, счастливая, покорно подставляла щеку для поцелуя. Но таков Бирмаганбет! Какой еще казах, возвращаясь домой после долгой разлуки, назовет жену «родненькой», да еще и расцелует?! Другие даже здороваться с женой за позор посчитают. А Бирмаганбет совсем не такой! У него нрав особенный...

Айша подробно поведала мужу все, что случилось в ауле за его отсутствие. Бирмаганбет одобрительно мычал. А когда узнал, что жена вступила в коллектив и что ее избрали председателем, и вовсе обрадовался и расхохотался.

– Подожди, не смейся. Еще не все сказала!

– Ну, выкладывай.

– Меня хотят отдать под суд!

– Кто?!

И Айша, волнуясь, задыхаясь от обиды и гнева, дрожащим голосом рассказала историю о том, как погибло черное ведро.

– Тьфу, нашла кого бояться! – покачал головой муж. – Кожагула! Да ты знаешь, кто он такой? Торгаш! Мулла! Нынче осенью еще отходную гнусавил по покойному Бекболу и красного телка уволок. Сколько твержу я сыну Какимжана, чтобы он обложил старика налогом. Но тот, вредина, все оберегает его. Да их близко к коллективу подпускать нельзя! Собери завтра всех членов артели, я разоблачу его при всех, и выгоним его с треском. Ну, а если он даже будет в коллективе, то это вовсе не значит, что можно ломать чужие вещи. Разве ведро подлежит обобществлению?!

– А корова!.. Она подлежит? – с грустью спросила Айша.

...Темной ночью на постели рядом с мужем Айша вдруг на мгновение увидела корову-пеструшку с грузным, набухшим выменем. И еще ей померещилось черное сплющенное ведро.

1930 г.

МУКУШ – СЫН АРЫСТАНБАЯ

Если вам доведется повстречать коренастого пучеглазого мужичонку с желтым чахлым лицом, то так и знайте, это и есть Мукуш, сын Арыстанбая.

Впрочем, он и сам охотно напомнит о себе, как только в аул зайвится кто-нибудь из уполномоченных, – он сразу начнет увиваться и уж ни на шаг не отойдет прочь.

– Ой, хорошо, что наконец-то ты приехал, дорогой! Мы тебя уж заждались! – говорит он, подкладывая под тебя, как говорят казахи, подушку лести.

– Советской власти я готов служить до последней капли крови! – горячо заявляет он в другой раз.

Но если и после этого невзначай выразишь недоумение, Мукуш начинает колотить себя в грудь.

– Да я ведь бедняк-активист! Я ведь – Мукуш, сын Арыстанбая! Слыхали?

И тогда тебе придется поверить, что перед тобой действительно и есть этот самый Мукуш.

Впервые я встретил его в аульном совете. Активисты и комсомольцы аула тогда составляли производственный план колхоза. И вдруг точно яростная льдина в половодье прорвалась в помещение.

– Где уполномоченный? Вы, что ли? – надвинулся на меня кто-то.

– А что вам угодно?

– Вот что: я бедняк-активист. В этих краях меня все знают. Я – Мукуш, сын Арыстанбая! На совещание наш колхоз должен направить одного представителя. Я просил направить меня, а наш председатель не желает. Он вообще вредитель. Его дед совершал палом-

ничество к могиле пророка. Я не успокоюсь, пока не разоблачу и не сниму его с работы...

Я не все сразу понял и поэтому задал несколько вопросов. Тогда Мукуш с ходу полез на рожон:

– Да это бюрократизм! – закричал он. – Это правый и левый уклон! Но я знаю, куда мне обратиться! Я и на вас найду управу!

Своими делами колхоз распоряжается сам. Если же им начнет командовать любой уполномоченный, то о какой же работе может быть речь? Я попытался растолковать это Мукушу, но он и слушать не стал. Только еще пуще распалился:

– Нет, нет, это явный перегиб! Вы – перегибщик!

Будь ты хоть трижды чистым и честным, но, если обвиняют тебя в чем-то подобном, ты поневоле растеряешься.

Когда Мукуш удалился, я начал расспрашивать о нем у собравшихся, но все только переглядывались и отмалчивались. Наконец батрак Досан возмутился:

– Ну что все молчите? Говорите же!

– А ты сам что? – набросились на него остальные. Досан оглянулся и, убедившись, что Мукуш в самом деле ушел и не стоит под дверью, тихо сказал:

– Довольно Мукушу над нами куражиться! Пора его вывести на чистую воду! Вы знаете, кто он такой?

– Да мы-то, конечно, знаем! – вздохнули все.

Но тут разговор неожиданно повернулся в другую сторону. Срочных дел у всех было по горло. На носу – посев. Производственный план надо закончить во что бы то ни стало. Говорить, таким образом, о Мукуше было недосуг.

Для разъяснения постановления Центрального Комитета партии в аулы нахлынули инструкторы и уполномоченные. Пришлось и мне побывать еще раз в колхозе «Энбек». Правление колхоза расположилось

в однокомнатном деревянном доме. Вдоль стен стояли стулья. Председателем колхоза оказался молодой джигит Салим. Здороваясь, он протянул мне большую мозолистую руку с узловатыми, цепкими пальцами. Я оглядел его с головы до пят и решил: «Наверняка бывший батрак». Так оно и оказалось: из анкеты я узнал, что Салим батрачил десять лет.

– Грамоту знаю. Лишь в прошлом году освободился от батрачества. Члены колхоза выбрали председателем, ну вот и работаю, – представился мне Салим.

Другим членом правления оказался краснолицый, видный из себя молодой человек, одетый по-городскому, учитель, – как сказал он мне, – прибывший в колхоз для ликвидации неграмотности.

– Товарищ Салим очень занят, дел у него неупрочот, – сказал он.

На столе лежал лист бумаги. Сверху крупными, корявыми буквами было выведено: «Рапорт». «Колхоз «Энбек» подготовился к весеннему севу на сто процентов», – прочел я в этом рапорте. Внизу стояла такая же корявая подпись «Салим». Неуклюжие пальцы, всю жизнь имевшие дело только с вилами и лопатой, вкривь и вкось нацарапали несколько букв.

– Был у нас такой активист – Мукуш. Может, слыхали? – улынулся Салим.

При этом имени я насторожился:

– Ну, так где он?

– Дома. Из колхоза вышел. Теперь единоличник. Провели общаульное собрание. Пришел и Мукуш.

Он вроде бы притих, образумился. Прежней напористости я в нем не заметил. И, однако же, он все-таки нашел время подойти ко мне и доверительно шепнуть:

– Очень хорошо, что приехали. Ждали вас с нетерпением...

После доклада первым поднял руку Мукуш:

– Разрешается ли выходить из колхоза и жить единоличником?

– А кто вам говорит, что не разрешается? – тут же вскинулся Салим.

Мукуш посерел. Выкатил глаза, как бодливый козел. Дернулся всем телом, сорвал с головы мерлушковую ушанку и с силой хлопнул об пол. Пыль поднялась, словно из старой сопревшей кошмы.

– Салим затыкает мне рот! Слова сказать не дает! Это перегиб! Это самоуправство! Бюрократизм! Я буду жаловаться!.. – закричал он.

– На что жаловаться-то? Никто тебя не зажимал.

И тут заговорили уже все.

Члены колхоза «Энбек» на частых собраниях наловчились так говорить, что распушили Мукуша в пух и прах. Из их бурных речей я понял:

1. Его отец – Арыстанбай – смутьян и пройдоха. В свое время был байским прихвостнем и брал взятки. Мукуш пошел по стопам отца.

2. До образования колхоза Мукуш держал весь аул в страхе.

3. Было у него восемнадцать голов крупного рогатого скота, а в колхоз он вступил с тремя. Остальную скотину продал, зарезал, раздал.

4. Будучи членом колхоза, сеял между колхозниками раздор и смуту. Постоянно всех стравливал.

5. По-своему толковал письмо Центрального Комитета партии и увел вместе с собой двенадцать семей из колхоза.

6. Распространял о колхозном строительстве ложные слухи и вредные измышления...

Обо всем этом общее аульное собрание сказала Мукушу прямо в глаза. Мукуш разбушевался, расшвирипел, словно бешеный верблюд:

– Это и правый, и левый уклон! Это злоупотребление властью! Это перегиб! Это извращение! Насилие над единоличником! Я протестую! Я буду жаловаться! Я...

Ему, однако, коротко ответили:

– Жалуйся, сколько тебе угодно! А сейчас – сгинь!

Двенадцать бедняков, поддавшихся подстрекательству Мукуша, признали свою вину и попросили собрание вновь принять их в колхоз. Их просьбу удовлетворили.

Когда я уезжал, то у развилки дорог встретился с Мукушем. Он тоже куда-то ехал на гнедой лошаденке и подбадривал ее пятками, а поравнявшись со мной, крикнул:

– Товарищ, ты, я вижу, перегибщик. Ты ведешь неверную агитацию среди единоличников. Силком загоняешь их в колхоз!

Мукуш убежден: раз я занимаюсь агитацией среди населения, значит, тоже перегибщик. А я подумал про себя: этот горлодер, навешивая всем подряд ярлыки вроде «перегибщик», «правый уклонист», «левак», «бюрократ», видать, уже многим заморочил голову.

1930 г.

ДОМ КРАСНОАРМЕЙЦА

Даже имя его – и то редко попадало на бумагу. Как-то раз оно, правда, очутилось в списках аульного правителя, и во время выборов Бузаубак Тмакбаев был упомянут наряду со всеми. Вначале он даже испытывал нечто похожее на гордость оттого, что, как все порядочные люди, и он оказался в каких-то бумагах и имел, так же, как и они, собственную фамилию, но со временем вместе с фамилией прилепили ему еще и налог, и аулнай не давал ему проходу. Аулнаем тогда был знаменитый во всей округе охальник Ахметжан с торчащими усами. С ним были шутки плохи, и, бывало, точно за глотку хватал он беднягу Бузаубака.

– У, собачий сын! Недоносок! Ты какого черта фамилией своей бумагу опоганил?! Не можешь налог платить, нечего и числиться в домохозяинах.

Базаубак в таких случаях охотнее провалился бы сквозь землю.

– Ну, что делать, дорогой, – виновато мямлил он. – Не я ведь записывался, а Алиш в год выборов записал. Это ему в голову пришло увеличить число дворов... Какой там двор?.. Извини уж, дорогой, брата своего ничтожного, никудышного...

Больше Бузаубак ничего не говорил, только робко, с мольбой взглядывал на притеснителя. Единственное состояние Бузаубака – бурая коровенка. Теленка каждый год аулнай уводил со двора за налоги. В этот печальный день и жена Бузаубака, Айжан, ругательски ругала незадачливого муженька:

– Очень нужно тебе было в списки попасть! Несчастный, сидел бы помалкивал, не рыпался!..

– Э, ладно, жена, – успокаивал ее Бузаубак. – Авось обойдется, образуется.

Иногда за мирной беседой супруги в два голоса проклинали аульная и его список в полосатом коржуне.

– Попадись мне в руки – сожгла бы! – грозилась Айжан.

Теперь ему само слово «Тмакбаев», написанное на бумаге, казалось страшнее, чем ангел смерти – Азраил. Бузаубак, наученный горьким опытом, советовал своим сверстникам-бедолагам: «Смотри не попади на бумагу. Запишут, беды не оберешься».

Уже позже, в первые годы после революции, запечатленная на бумаге фамилия тоже не принесла Бузаубаку никакой радости. Некий Дуйсенбай, нарядчик, через день-другой орал на него:

– Запрягай лошадь! Твой черед!

И вскоре его единственная лошадка дошла, обезножила, опаршивела. Бузаубак пытался иногда сказать об этом, но Дуйсенбай с ходу затыкал ему рот.

– Вот, видишь список? – рычал он. – Что написано? «Тмакбаев». Значит, молчи!

«Интересно, как бы сделать так, чтобы моя фамилия нигде никогда никем не упоминалась?» – думал порой про себя Бузаубак. Однажды он вез на своей арбе инспектора школы и по дороге спросил его:

– Скажи, дорогой, ты ведь, человек грамотный. Как можно начисто стереть фамилию в списке?

Инспектор не сразу понял, пришлось ему растолковывать, и потом инспектор сказал:

– Пусть вас список не тревожит больше. Те времена, когда людей им пугали, нынче прошли. Вы сами теперь хозяева.

Бузаубак от удивления глаза выпучил на инспектора. Подумал: «Что этот чудаков мелет?»

Правда, с тех пор произошли некоторые перемены! Усатый Ахметжан, бывший аулнай, теперь не то что на людей орать, даже на собрания ходить не смеет. Вчерашний батрак Ермакан стал ныне председателем аульного совета, и Бузаубак с ним запросто беседы ведет. Сам Бузаубак тоже был раз избран в Совет, а однажды даже съездил на волостной съезд. Теперь иногда он говорил жене:

– Жена, эй, жена! Как хорошо, что я тогда не выпал из списка, а?

Но Айжан не прочь эту заслугу присвоить себе.

– А я тебе что говорила?.. Если бы не я, давно бы тебя в списке не было!

Еще через некоторое время жизнь и вовсе изменилась. Всей работой в ауле заворачивала молодежь. Безусые юнцы заседали в Совете, ловко и умело заправляли хозяйством. Кое-кто из пожилых, из поседелых начал греться у очага.

– Все! – говорили. – Отработали свое. Времена нынче для молодых!

Бузаубак тоже стал задумываться. Сыну Андамасу уже двадцать. С малых лет на бая спину гнет, батрачит. «Не будь он батраком, занимайся каким-либо промыслом, работал бы сейчас не хуже своих сверстников-активистов», – размышлял Бузаубак. Но у Андамаса образования нет. Он даже и грамоты не знает. И приходилось теперь пенять на себя: «Почему в детстве не учил?..»

Как-то раз завел Бузаубак с сыном задушевный разговор.

– Смотри, – сказал он сыну, – сверстники твои все за ум взялись. Работают. А ты все на побегушках у бая. Хватит! Не подохнем. Выбивайся в люди. Не отставай от дружков!

И после этой беседы сразу отправился к председателю аулсовета и сказал:

– Ермакан! Вычеркни из списка Бузаубака Тмакбаева и вместо него запиши: «Андамас Бузаубаков»!

Так было покончено со злополучной фамилией Тмакбаев. Отныне такого на бумаге не существовало.

А Андамас, как только перестал батрачить у бая, сразу с головой ушел в аульные дела. Ни одного собрания не пропускал. На последних выборах был избран в аульный совет.

– Старик, эй, старик! Ты хоть замечаешь, что сын твой повзрослел, джигитом стал? – все чаще приставала к мужу Айжан.

У нее своя дума была. В ауле Бузаубака раньше всерьез не принимали. О нем говорили не иначе как «вредина», «бродяга», «нищеврод». А теперь в глазах власти Бузаубак почетнее, чем те, кто владеет табунами. Раньше такие, как Маржанбике, свысока взирали на Айжан, близко к себе не подпускали, теперь же сами домой приглашают, кумысом угощают, секретами делятся, точно давние подруги.

У Маржанбике вполне приличная дочь на выданье.

К ней-то и приглядывается Айжан. Однажды она заметила полушутя, полусерьезно: «Я ведь намерена высватать твою дочь для моего Андамаса», и Маржанбике тут же сказала: «А я лучше Андамаса для своей дочери никого и не желаю».

С тех пор Айжан и мужу покоя не давала.

– Не знаю... – неопределенно тянул Бузаубак. – Они, наверно, калым потребуют. А потом и парня спросить надо.

Иногда заглядывал к ним Ермакан – аульная власть. Айжан и его тормошила:

– Слушай, дорогой. Женил бы ты своего братишку, сынка нашего. Привел бы к нам в дом какую-нибудь молодку, обрадовал бы нас, стариков. Не пора разве?

Против женитьбы Андамаса Ермакан ничего не имел, но о дочери Маржанбике и слушать не желал.

– Э, тетушка, выбрось это из головы. Зачем тебе такая невестка – кулацкая дочь?

– Ну какую страсть ты говоришь! – поразилась Айжан.
– Неужто и она кулачка?!

После долгих разговоров с Бузаубаком выбор Айжан остановился на Шекер. Правда, она не такая смазливая, как кулацкая дочь, но бойкая, расторопная, шустрая деваха. К тому же – по слухам – молодые испытывали друг к другу влечение, а может быть, и что-то посерьезнее. Теперь это имело значение, ибо Айжан слышала, что отныне без обоюдного согласия любой брак признается недействительным.

Когда об этом зашла речь с сыном, Андамас смущенно засмеялся:

– Не знаю я...

Позже, узнав об этом, Шекер наедине с Андамасом подтрунивала над ним:

– Что это за ответ такой? «Не знаю...» Разве так старикам отвечают? Кто же должен за тебя знать? Я, что ли?!

Пришла осень. Оживился аул. Люди сдавали излишки урожая в кооператив и получали чай, сахар, материю, разные товары. Бузаубак повел Андамаса к овину на крутояре. Нагрузил пять мешков зерна на арбу, выпросил у Идриса быка, запряг его и отправил сына в город.

– Поезжай и купи все, что надо. Нужно же невесту одеть, как положено.

– И сундук прихвати. Чтобы разную мелочь хранить, – наказала Айжан и перечислила, что следовало покупать...

Сдав зерно в кооператив, Андамас зашел в магазин и неожиданно столкнулся с Кусаином из соседнего аула. Это был сметливый, пронырливый джигит, к тому же еще и немного грамотный. Одежда на нем сидела опрятно и ловко. На толкучке он раздобыл старенькое пальто и теперь щеголял в нем.

– К чему тебе бабой обзаводиться? Учиться надо! Айда со мной в военную школу, – предложил он.

Андамасу вначале было даже неловко слушать об этом. Какой может быть разговор об учебе, если человек ничего в жизни не видел и не знает, кроме работы? Смешно! Но это была только самая первая мысль. Уже в следующее мгновение где-то в глубине сердца робко у него зашевелилось сомнение: «А почему бы и нет? Вот возьму и поеду!» Чувствуя, что приятель находится на распутье, Кусаин не дал ему опомниться. Он все говорил и говорил, расписывал всякие блага и прелести военной школы, рисовал многочисленные соблазны и Андамас наконец заколебался.

– А может, и в самом деле попробовать? – спросил он.

– Айда! Поехали! – потянул его Кусаин. – И думать нечего! Айда!

Решили отправиться в военный комиссариат. Арбу и скарб Андамас доверил друзьям-попутчикам. Быки – красный и черный, – равнодушно жуя бесконечную жвачку, лениво мотая тяжелыми головами, – долго смотрели ему вслед, как бы спрашивая: «Оу, дружок, на кого ты нас-то оставляешь?»



В ауле очень удивились, узнав о том, что Андамас отправился на учебу. Одни удрученно качали головами:

– И что ему в голову взбрело? Собрался жениться и вдруг удрапал! Каково теперь будет его невесте?

Другие, наоборот, одобряли джигита:

– Видно, за ум взялся Андамас! Молодец!

Айжан вздыхала и приставала к мужу:

– Старик, объясни, что это значит?

Бузаубак про себя был недоволен тем, что сын уехал не спросясь, но понимал, что теперь его уже не вернуть и самое лучшее – это смириться со случившимся.

– Ну значит, так ему было угодно, – сказал он. – Что ж, пусть учится!

Тетушки, аульные сплетницы от удивления себя за щеки щипали и жалели невесту.

– Оу, красotka наша, что же это твой суженый выкинул? Да как он мог тебя оставить?!

– Ничего, – улыбалась в ответ Шекер. – Никуда не денется. Вернется!

Все только и толковали про учебу Андамаса, но что там за учеба в военной школе, никто толком не представлял. Особенно недоумевал, конечно, Бузаубак. При слове «военный» ему неизменно мерещился солдат. А солдат казахи испокон веков боятся. В шестнадцатом году, когда царь надумал брать джигитов на тыловые работы, как всполошилась вся степь! Люди бросали скот, насиженные места. Дом, из которого на фронт ушел мужчина, носил траур. Да что о казахах говорить?! Возьми, к примеру, соседей-урусов. Как подходила, бывало, пора отдавать сына в солдаты, так начиналась беда: все нажитое уходило на сборы, расходов было не счесть, родители по пояс утопали в долгах. А сами парни-рекруты плакали и напивались до омерзения, до умопомрачения. «Интересно, где теперь находится военная школа? Может, сейчас и военных по-другому учат?» – размышлял Бузаубак, но вразумительного ответа на свои вопросы так и не находил. Словом, неожиданный отъезд Андамаса в военную школу так и остался для большинства в ауле загадкой.

Подкралась зима. Ледяной ветер неистово обрушивался на землянку Бузаубака и выдувал все тепло. Становилось холодно, неуютно, как в хлеве. Пурга не унималась, завывала на все лады. Бузаубак и Айжан стлали возле печки старую высохшую шкуру и усаживались рядком, прижимаясь друг к другу. Они чувствовали себя одинокими и подавленными. С одной

стороны, удручал их сам неожиданный поступок сына, – хотел жениться, а уехал учиться, с другой стороны, сбивали кривотолки и сплетни, ходящие по аулу. Особенно старалась Маржанбике.

– Сын Айжан надумал стать красноармейцем, ну и забрали беднягу на войну с китайцами, – говорила она. – Как хорошо, что не отдала я за него дочь!

Айжан, услышав такое, рассвирепела и отбрила:

– И слава аллаху, что мой сын не спутался с дочерью этой кулачки. Все равно он ее бросил бы. И чего эта негодная баба языком треплет? Нет чтоб помолчать!

Иногда, когда старикам становилось особенно тягостно, их навещала Шекер, злые языки поговаривали, что теперь Шекер не станет ждать жениха-беглеца, а выскочит замуж за кого-нибудь другого. Однако ни о чем подобном девушка, казалось, не подумывала. Наоборот, она еще больше сблизилась с родителями Андамаса. Раньше она называла Айжан «шеше» – матушкой, теперь стала звать ее еще почтительнее «аже» – бабушкой. Забегая к Айжан, она помогала по хозяйству, и работа спорилась в ее руках. Айжан любовалась ею, мечтательно вздыхала: «Старик, а старик! Ты замечаешь? Не знать нам печали, если Шекержан станет нашей сношенькой!»

Скрипнула заиндевелая дверь. Вошел, переваливаясь, Ермакан. Старики так и выставились на председателя аулсовета. «Может, какая-нибудь весть от Андамаса?»

– Принес вам одну... бумагу, – улыбаясь, сообщил Ермакан.

– Что за бумага?

– Не знаю. Написано: «Бузаубаку Тмакбаеву».

Бузаубак выпучил бесцветные глаза, насупился:

– Вы разве не вычеркнули меня из списка?!

– Не бойтесь. Что-то другое, должно быть. От Андамаса, видно, письмо.

От этих слов, старик со старухой едва не подскочили. Вскрыли конверт, вынули клочок исписанной бумаги и фотографию.

– Ойбай-ау, это же мой родненький! – воскликнула Айжан и прижала фотокарточку к груди.

Андамас сфотографировался в военной форме и с оружием. Видно, хотел и удивить, и обрадовать родителей. Старики жадно разглядывали фотографию, вырывали ее друг у друга из рук. Вчерашний аульный малец в заскорузлой шубе, в разношенных, стоптанных сыромятных сапогах теперь, в военной одежде, выглядел заправским джигитом.

Айжан плакала от умиления и радости:

– Мой родненький! Сыночек мой!

И не хотела выпускать из рук карточку. Все прижимала ее к себе.

Письмо было написано самим Андамасом, и Бузаубак дивовался: «Всего четыре месяца, как он из дому. В жизни никогда перед муллой не сидел. Как же он умудрился за такой срок грамоту одолеть?» В представлении Бузаубака грамота была недостижима, как звезды на небе.

Фотография Андамаса ходила из дома в дом по всему аулу. Первым долгом Айжан показала ее Шекер. Девушка не могла оторваться от карточки.

– Какой он здесь красивый, – вздохнула она.

– Если хочешь, милая, – возьми! – неожиданно вырвалось у Айжан.

Шекер вспыхнула вся, выхватила фотографию, завернула в синий шелковый платочек и спрятала в нагрудный кармашек камзола.

Письмо Андамаса и Кусаина взбудоражило всю округу. Кое-кто из завистливых презрительно тянул носом:

– Э, чепуха все это! Ну, солдат! Так что, мало теперь таких солдат?

Однако на молодежь эти письма производили неизгладимое впечатление. Андамаса в ауле знали робким, тихим малым. И то, что он вдруг надумал учиться, поехал, поступил в красноармейскую школу и так круто преобразился, могло поразить кого угодно. Такие, как Шалдыбай, с детства выросшие с Андамасом и работавшие батраками у Рахимберды, после этих писем и фотографий совсем лишились покоя. Шалдыбай тысячу раз заставлял читать письмо приятеля. Каждый день ходил за Шекер, умолял еще раз дать взглянуть на снимок. Потом пятеро джигитов во главе с Шалдыбаем направили Андамасу письмо:

«Скажи в своей школе: пусть и нас примут. Я, Шалдыбай, сын Кырманбая, если живой буду, – в следующую осень обязательно прибуду к вам. Священная обязанность учеников вашей школы – охранять страну от врагов, а враги эти – баи, и с байским отребьем драться мы готовы!..»

Таково было первое письмо, полученное Андамасом из родного аула.

Весть от сына осчастливила Айжан. Бузаубак тоже вырос до небес. Фотография Андамаса досталась Шекер, а письмо – Бузаубаку. Отныне гордый отец крутился возле тех, кто знал грамоту. Встретив такого, он подавал помятый, потрепанный клочок бумаги и просил:

– Дорогой, от моего сына письмецо. Будь добр, прочти-ка.

Письмо красноармейца читали охотно, и Бузаубак слушал, низко склонив голову. Единственный, кто крепко обидел его, был мулла Абдрахман.

– Буквы-то русские, – сказал он. – Я их не разбираю.

Бузаубак опешил, не зная, верить мулле или не верить. А тот насупился, наверно, хотел его еще больше припугнуть.

– Да, почтенный, дурные времена настали. Письмен Корана, письмен священной веры мы уже и не видим. А это не письмо, это так – каракули сатаны!

Бузаубак оскорбился. Этот плюгавый осмелился письмо его сына назвать каракулями сатаны?! Молча вышел он из дома Абдрахмана-муллы. А дома сказал:

– Жена! Отныне и близко не подходи к порогу муллы. Он оказался настоящей собакой! Я даже и рожи его видеть не желаю!

...В аул зачастил уполномоченный. В аулсовете каждый божий день собрание. Приглашали и Бузаубака, но он близко к себе никого не подпускал.

– Мне там делать нечего, дорогой, – говорил он обычно. – Меня-то теперь в списке нет. Вот вернется Андамас – он пойдет на ваше собрание. А пока как-нибудь обойдитесь.

Тогда пустились на хитрость. «Ойбай-ау! – поражались некоторые из активистов. – Разве отцу красноармейца прилично отсутствовать на собрании?!» После этих слов Бузаубак покрякивал и шел.

– Не ленись, старик, – подгоняла, подбадривала мужа Айжан. – Иди! А то невзначай навредишь нашему родненькому.

Таким образом, Бузаубак, года два не признававший никаких соборщ, после того как стал отцом красноармейца, не пропускал в ауле уже ни одного собрания.

Кто знает, всерьез ли, в шутку ли, но каждый раз, когда приезжал уполномоченный, Ермакан, раскинув руки, щедро улыбаясь, встречал Бузаубака, брал его под руку, неуклюжего, неповоротливого в старом задубелом полушубке, усаживал на почетное место и начинал его торжественно представлять:

– Вот этот человек и есть наш почтенный Бузаубак, отец красноармейца. Сын его, Андамас, по собственному желанию учится в военной школе.

Уполномоченный в таких случаях обычно поднимался, пожимал Бузаубаку руку, а у старика в этот

момент голова не доставала до небес лишь чуть-чуть, ну, может, на толщину двух пальцев. У недоброжелателей его от зависти едва не лопались животы. Многие в это время мечтали непременно отдать своих сыновей в военную школу.

Осенью, когда убрали урожай, каждый сдавал излишек государству. Бузаубак встретился с Ермаканом, поинтересовался:

– А как же мне быть?

– Вы сами знаете, – ответил Ермакан.

Ну, конечно, он сам должен знать. Если Красная Армия – защита и опора трудящегося народа, а Бузаубак – родной отец одного из таких защитников, то ему, естественно, самому положено все знать.

– Что делать будем, жена? – посоветовался Бузаубак с Айжан, а та – заправская, бережливая – дала понять, что не желает расставаться с излишками зерна. Всю жизнь проходили они в бедных, однако благодаря расчетливости и аккуратности Айжан никогда, можно сказать, особенно не бедствовали.

– Брось, жена, не жадничай, не скупись. Уполномоченный сказал, а я понял. Излишек положено сдавать государству. Мне, отцу красноармейца, не годится, как кулаку, зажимать лишнее. А у тебя, я знаю, имеется еще кое-что с прошлого года. На нас двоих хватит... Так что, жена, те два овина будем сдавать!

Разве раньше Бузаубак осмелился бы сказать такое? Да Айжан не дала бы ему рта раскрыть! Но теперь другое дело. Если Бузаубак – отец красноармейца, то Айжан – его мать. Если отец стремится укрепить честь и славу Красной Армии, то как же не желать этого и матери?!

– Сдавай. Сдавай же, старик, – искренне согласилась Айжан.

В аулсовете было полно народу, когда пришел туда Бузаубак и объявил, что сдаст государству двадцать пудов зерна. Ермакан улыбнулся ему, спросил:

– Значит, на пропитание осталось?

– Не только на пропитание, но и на семена еще хватит, – усмехнулся горделиво старик.

Некоторые вороватые дельцы, из тех, кто вечно слоняется у конторы и ловит разные слушки-криво-толки, многозначительно переглянулись при этом разговоре и начали шептаться:

– Совсем рехнулся старик. Последнее отдает, да и на нас запросто указать может. От такого не жди добра. Придется, пожалуй, подобру-поздорову сдавать излишек, пока он беду не накликать!

В ауле что ни день, то новость. В последнее время у всех на устах одно слово – колхоз. Привез это слово уполномоченный, и, по его речам, ничего страшного – как утверждали некоторые – в нем не было. Бузаубака выбрали председателем собрания и усадили рядом с уполномоченным. Старик достал из кармана шубы свой старый кисет, заложил за губу насыбай, а уполномоченный спросил его:

– Это, значит, вы отец красноармейца?.. Хорошо! Я ведь тоже был в рядах Красной Армии. – Взял из рук старика кисет из жеребьячьей шкуры и отсыпал себе на ладонь щепотку табака.

«Как же так? – удивился тогда Бузаубак. – Если он красноармеец, почему же он тут? В ауле говорили, что красноармеец ничем, кроме военных дел, не занимается».

Весть о колхозах взбудоражила аулчан, все зашумели:

– Говорят, и скотина, и имущество станут общими!

– Сказывают, никакой свободы личности отныне не будет!..

– Да брехня все это! Я ведь с уполномоченным рядом сидел. Ничего подобного он не говорил, – пытался было Бузаубак возразить сплетникам, однако его мало кто слушал.

– Ну, конечно, что ж ему еще говорить? Ведь он – отец красноармейца! – пожимали плечами люди.

И не только Бузаубака, но и Сабыра начали склонять в ауле на все лады. Ведь Сабыр – отец Шекер, так сказать, будущий тесть красноармейца.

– Сабыр тоже в колхоз собирается, – поговаривали люди. – Понятно!

Недавние говорливые активисты вдруг умолкли и стали шушукаться. Таким, как Букабай, коллективизация пришлась явно не по душе, и они пугали людей колхозом, гадили общий порыв.

– Говорили же: в колхоз, дескать, каждый вступает по желанию...

А разные пройдохи и смутьяны, вроде Ескендира, исподтишка подбивали зарезать скот:

– Все равно от колхоза не спасетесь. Пользуйтесь, пока скот еще в ваших руках, своим добром.

Некоторые в панике и в самом деле спешно резали молодняк.

Бурная жизнь настала в аулах.

Женщины тоже в стороне не стояли. Какое там? Как раз они-то пуще всех и раздували злые сплетни. Самые страшные, самые нелепые слухи исходили именно от них.

– Кто это сказал?

– Мой свекор-бай сказал.

– А вот это кто сказал?

– Да мой свекор-бай сказал...

Сплетня росла, раздувалась, обрастала подробностями. Вместе с ней росли и раздоры. В результате бабы раскололись на две группы: одни назывались «коммунистами», другие – «баями». Вдоль этой межи разделились потом и мужчины. На каждом собрании, на любой сходке эти две группы спорили и ссорились до хрипоты.

Вскоре из района приехал еще один уполномоченный, он должен был поставить вопрос о колхозах

по-серьезному. Некоторые семьи, которые до этого относили себя к «коммунистам», теперь заметно заколебались. Начали робеть, осторожничать.

– Пусть люди вступают, мы никуда не денемся, – говорил чуть ли не каждый второй.

Шекер, до сих пор скромно молчавшая, как и подобает по «обычаю», тут неожиданно спросила:

– А как же мы?

– Что значит как? – взревела ее мать, старуха Ажар.
– Или нам скотину девать некуда?

– Но нам необходимо вступить в колхоз, мама, – настаивала Шекер. – Помни, что твой зять – красноармеец.

На это Ажар не знала, что ответить. Потом передала слова дочери мужу, и Сабыр буркнул:

– Надо – так вступим!

Тогда Шекер отправилась к Бузаубаку. Старик и старуха сидели, прислонившись спиной к печке, и вели мирную беседу. Шекер опустилась на колени рядом, взяла из рук Айжан рукоделье. Где это было видано, чтобы Айжан доверяла кому-либо свои дела?! Да она не только никогда никого ни о чем не просила, но и просить не смела, ибо сама, считай, всю жизнь батрачила у бая.

Шекер шила, а Айжан и Бузаубак не отрываясь любовались ею. До чего же мило, приятно! Пришла запросто и принялась за работу, как у себя дома.

А ведь по сути и работа не чужая, и дом ей не чужой. Кому же еще заботиться о старике и старухе, как не ей? Вся забота в будущем ложится на ее плечи...

Эх, казахи, казахи! Сколько у вас отвратительных, ничтожных обычаев! Разве могла бы в старину девушка на выданье так запросто приходить в дом жениха и заниматься шитьем? Ведь по обычаю ей положено стеречься до поры от родителей жениха, как от воров или прокаженных...

Но Шекер с самого начала повела себя иначе. И причиной было то, что, во-первых, все жили в одном ауле, а во-вторых, Айжан никогда не упрекала, не ущемляла будущую невестку, считая ее зависимой от единственного сына. И это было самое разумное в их отношениях. Старики, словно дети, радовались приходу Шекер.

Шекер отозвала Айжан в сторонку и начала советоваться о делах, таких дел у нее было два: записаться в колхоз и вступить в комсомол. На первый вопрос Айжан ответила без запинки.

– Отец уже дал слово, что в колхоз вступит.

А вот насчет вступления Шекер в комсомол старуха затруднялась ответить определенно.

– Не знаю, милая. Как Андамас это воспримет, – кто знает...

– Но он, конечно же, обрадуется! – улыбнулась Шекер.

– Ты уверена? – посомневалась Айжан.

– А как же, аже?! Если он красноармеец, значит, тоже в комсомоле. А раз так, значит, будет рад, что и я комсомолка!

– Ну, тогда запишись, милая. Вступай! – согласилась сразу же Айжан.

Когда старуха рассказала об этом мужу, он довольно заулыбался:

– Да, да, сейчас молодых в комсомол сколачивают. Хорошо получилось! А то я все думал, кого же из родных в комсомол запишу. Меня-то ведь уж не возьмут.

На собрании, на котором зашла речь о создании колхоза «Тендык» («Равенство»), первым попросил слово Бузаубак.

– Дорогие мои! – сказал он. – Никогда я еще ни где ни в чем не вылезал первым. Думаю, теперь мой черед настал. Запишите же меня самым первым в ваш список.

Таким образом, список членов колхоза «Тендык» начался фамилией Бузаубака Тмакбаева. На этот раз

собственная фамилия на бумаге вовсе не казалась Бузаубаку такой страшной и пугающей. Наоборот, ему казалось, что даже сами буквы эти смеются и ликуют.

Вслед за Бузаубаком записался в колхоз сват Сабыр. Ну, а потом один за другим поднимались коммунисты и комсомолцы.

Спустя два года жизнь в колхозе «Тендык» стала неузнаваемой. Аул преобразился. На месте землянок выросли новые дома. Старый аул расплзался по швам. Баев раскулачили и выслали. Бедняки и середняки сплотились.

Передовой труд, социалистическое соревнование становились привычными. Из среды аульной молодежи вышло много способных, дельных активистов. Отличилась и Шекер: выучилась грамоте, стала участвовать в работе колхозного правления, – сделалась руководителем передовой женской бригады. Не раз она заключала договора с мужскими бригадами, вступала в социалистическое соревнование и завоевывала первые места.

– Дорогая Шекер-ау, смотри, угробишь нас своими соревнованиями, – посмеивались, пошучивали тетушки.

В разнотравье у поймы реки можно было жеребят с головой упрятать. А ведь недавно все это угодье принадлежало баю Рахимберды. Теперь его вполне хватало всему колхозу. Коси только, пошевеливайся!

Уже третий день три бригады косили сено у поймы реки. Одна бригада работала на сенокосилках, другая – косила вручную, а третья – женщины – собирала сено в копны и скирды.

На скошенном лугу мелькали, точно чайки на берегу, белые платки и жаулыки.

– А ну, дружнее, бабоньки! – подзадоривала Шекер.

Женщины умело орудовали граблями. На зеленом лугу, расстилавшемся, как одеяло, то здесь, то там один за другим вырастали холмы сена.

– Милая Шекержан, когда же зятек-то наш приедет? – смеялась Зейнеп. Женщины любят подшучивать над своим юным бригадиром. Некоторые даже сочиняли тоскливо-любовные стихи и приписывали их Шекер. Дескать, она их сочинила, томясь по ненаглядному. Шекер, однако, не злилась на эти шутки и розыгрыши, улыбалась как ни в чем не бывало.

И все же иногда в свободный от работы час невеселые думы посещали девушку. Почему же он не едет? Если не отпускают, так хотя бы написал ей, одной, несколько словечек... Или он думает, что она такая же неумелая и беспомощная, как раньше? Что ни на шаг не отходит от своего очага? Той Шекер теперь уже нет.

От этих дум становилось грустно, и брови девушки сходились в переносице. Видя это, Зейнеп начинала ее подзадоривать, а она опять становилась веселой и непринужденной.

Сегодня другое расстраивало Шекер. Непутевая баба Тансыкбая – ее хлебом не корми, дай только посплетничать да посудачить – то и дело собирала вокруг себя женщин и затевала нескончаемые разговоры. Работа в это время, конечно, стояла. Если же она совсем не находила повода для безделья, лентяйка ложилась на сено и начинала стонать:

– Ойбай, грудь моя набухла от молока! Ойбай, сосцы набрякли, ребеночек, небось, проголодался, плачет...

Шекер злилась. Повадка лукавой бабы была ей хорошо известна. Уж у кого, у кого, а у нее и к собственным детям ни жалости, ни любви нет ни на капли. Лупит их чем ни попадя: «У, оморок тебя возьми! Чтоб земля тебя проглотила!» А теперь вдруг о груди заговорила, ребеночка вспомнила. Хорошо, что с прошлого года дети таких бестолковых баб в детском

саду воспитываются. Сколько пришлось Шекер хлопотать и бегать, пока удалось открыть в ауле детский сад! Теперь многие колхозники охотно приводят туда своих детей...

В один из таких жарких рабочих дней примчался на гнедке братишка бригадирши. Он так гнал своего куцехвостого стригунка, что тот был весь мокрым, да и сам седок еле переводил дыханье.

– Апа! – завопил он, увидя сестру, и задохнулся. – Андамас приехал!

Женщины сразу бросили работу и выставились на девушку. У Шекер – то ли от смущения, то ли от радости – вспыхнули щеки, а глаза потупились.

Солнце клонилось к горизонту, когда бригада вернулась в аул. Возле дома Бузаубака стояло несколько человек. Среди них выделялся Андамас в сером галифе, в плотно облегающей грудь гимнастерке с петлицами, с двумя звездочками, в ремнях. Шекер еще издали заметила его. Он тоже ее увидел.

Девушка постеснялась при всем народе подойти к возлюбленному, а может, хотела сначала зайти домой, чтобы помыться, причесаться, приодеться. Опустив голову, свернула она в сторону, но Андамас кинулся ей навстречу.

– Эй, товарищ, куда ты? Стой! – засмеялся он.

Шекер вспыхнула, застыла на месте. Он подошел, поздоровался, взял ее за руки. Айжан смотрела на них возле своего дома и улыбалась.

– Будьте счастливы, детки мои! – шептала она.

Бузаубак с молотком на плече стоял у входа в колхозную кузницу. На лице его тоже блуждала довольная улыбка...

1931 г.

ИСПОВЕДЬ АМИРЖАНА

В современном ауле не так-то просто встретить праздного гуляку, который надел бы мерлушковую шапку набекрень, да и пошел слоняться, заложив руки за спину, из дома в дом. В современном ауле все спешат, у всех свои дела. А сейчас люди съехались сюда, к подножью увала в предгорье Алатау, саженью отмерили участки, обозначили насыпями, сохой пропахали будущие улицы, наметили местоположение будущих домов, и работа закипела. Кто саман делает, кто глину месит...

- Эй, ты в стройке что-нибудь понимаешь?
- Малость понимаю.
- Как думаешь, правильно кладем стены?
- Правильно!

Между насыпью то здесь, то там вскоре поднялись, выросли трехкомнатные домики с пятью окнами. С первого взгляда кажется, что, что-то слишком быстро их построили, но если вспомнить, сколько заложено в них труда, все становится ясным.

- Чьи эти дома?
- Членов колхоза «Уюм».

В стороне, вдалеке, вдоль перевалов и в оврагах темнеют, бугрятся, точно одинокие могилы, заброшенные старые зимовья, заросшие чертополохом и ковылем. Не сегодня-завтра дожди и ветры сровняют их с землей, место прежнего жилья зарастет травой и исчезнет бесследно. Так отживает все старое, все дряхлое...

Эти люди, что глину месят, ставят стены, стругают бревна, составляют лишь одну бригаду колхоза «Уюм». Другие, еще более многочисленные, с таким же

увлечением работают сейчас в поле, на сенокосе, вспахивают целину в урочищах Алатау. Дела достойны тружеников, а труженики достойны своих дел. С восходом солнца, разбудив горы и леса голосистой песней, пришли сюда, к подножью увала, точно отряд красноармейцев, колхозные косари. И с тех пор без передышки слышится звонкая песня кос. «Жжик! Жжик!» Ровными рядками ложится сочная, душистая трава. Солнце поднялось высоко и уже напекло затылки, ветер затих, в низинах нависает тяжелая духота. Над косарями роятся мошки, выются слепни и комары. В морщинах у косарей накапливается пот, переполняет их, как полая вода весной балки, и обильно течет по лицу. Однако никто не обращает на него внимания. У каждого свое дело. До обеда нужно выкосить луг во-он до той межи. Иначе не будет выполнен план.

Взрослых членов колхоза «Уюм» можно найти только на работе.

Рослый, черный мужчина неуклюжей, тяжелой развалочкой отошел от строителей, постоял в раздумье посередине дороги, хмуро оглянулся вокруг и, будто что-то вспомнив, направился к кузнице. Рыжеватый парень со шрамом на лице, в кожаном чумазом фартуке возился с сенокосилкой, закручивал гайки, колотил молотком с короткой ручкой по винту.

У раздувшегося, свистящего меха, рядом с пылающими, раскаленными угольями стоял, упершись левой рукой в бок, еще один джигит, весь в копоти и саже. Одни глаза поблескивают.

Черный верзила подошел и склонился над сенокосилкой.

– Что, Ибрай, толк выйдет?

– Э, уж коли попало в наши руки – не беспокойся... – Ибрай швырнул щипцами на наковальню докрасна

раскаленный брусок и начал его гнуть и вертеть, так что казалось, будто он месит тесто.

Неловко торчать без дела среди занятых людей. Поэтому, если тебе надо обратиться к черному увальню, то обязательно спросишь:

– Товарищ, можно вас?

А увальень меж тем увлеченно крутит какие-то железки в сенокосилке и отвечает, не подняв головы:

– А что нужно?

Если ты приехал издалека, то такое обращение тебя, конечно, обескуражит. Однако черный мужчина, видать, не из тех, кто ходит по аулу с портфелем под мышкой.

Сразу видишь: ему и кусок не полезет в горло, пока он не наладит эту машину, и тогда ты спрашиваешь робко:

– Мне нужен председатель колхоза... Где бы я мог найти Даукару Жуманбаева?

Увальень еще некоторое время вертит гайки, винты, потом оборачивается, таращит большие белесые глаза, меряет тебя с ног до головы и чуточку улыбается.

– Ну говорите – вот я.

– А! Значит, вы и председатель! – восклицаешь ты, радуясь, что нашел наконец того, кого искал. – А я к вам, значит, приехал... Хотел бы с колхозом ознакомиться, присмотреться, поговорить...

– Очень приятно. Вот он, наш колхоз. Знакомьтесь. Смотрите.

Но только-только затеешь разговор, как кто-то подъезжает на гнедом иноходце. Разговор обрывается. Председатель колхоза строго спрашивает:

– Что это?

– Щит от лобогрейки, – отвечают ему.

– Апырмай, разве не вчера только ремонтировали?

– Что сделаешь? Сломали!.. С машинами дела не имели, вот и... – оправдывается верховой.

– Брехня! Что значит «с машинами дела не имели»?! Скорей всего «вредитель» среди вас там затесался! – бушует Даукара, грозно налетая на беднягу.

Председатель шумит, снова что-то месит и крутит, а ты стоишь растерянный, смущенный, с портфелем в руке и от нечего делать тоже начинаешь топтаться вокруг поломанной машины. Торчат острые зубья, высовываются какие-то железки, скрепленные то здесь, то там винтами и болтами. Что к чему, где поломано, где цело – ничего не поймешь.

– Что, все еще возитесь с этой машиной?! – спрашивает кто-то за спиной.

Кряжистый, плотный, горбоносый молодой человек, закинув руки за спину, смотрит на сенокосилку. Ты с любопытством смотришь на него, точно так же он на тебя. Здравоваясь.

– Здорово, – отвечает он.

– Вы из этого аула?

– Из этого...

Осматриваешь его с головы до ног, глядишь на его крепкую, ладную фигуру, розовое, мясистое лицо и невольно думаешь, почему же этот молодой человек слоняется среди белого дня без дела? Спрашиваешь его:

– Болееете?

– Нет, – отвечает он, – здоров.

– А почему же не на работе?

– Да так просто... шляемся, – улыбается он.

– Или вы... – тут уж невольно запинаешься, – не состоите в колхозе?

– Да нет, вроде бы состою, – опять загадочно улыбается он.

Как это понять? От восьмидесятилетнего старика до восьмилетнего мальчика все трудятся, а этот здоровила бродит, как неприкаянный, по аулу. Нет, за этим действительно что-то кроется.

Подходит какой-то гражданин в очках и протягивает председателю конверт. В заскорузлых, мозолистых руках Даукары конверт мигом превращается в помятую, замусоленную бумажку, которая так и норовит выскользнуть, выскочить из-под неуклюжих пальцев председателя. Наконец Даукара неумело вскрывает конверт, извлекает крохотную записку и, едва взглянув, чуть не сплевывает:

– Оу! Что это? Опять по-арабски?! В латинских буквах я еще малость разбираюсь, но по-арабски... Прочти, дорогой.

Берешь письмо, написанное арабскими буквами, и, уже взглянув на подпись, невольно краснеешь. А потом, вникнув в содержание, краснеешь еще больше.

«Председателю правления колхоза «Уюм».

Тебе, наверное, известно, что к нам прибыл новый секретарь райкома. Жена его дала понять, что нуждается в корове. Отправь с предъявителем этой записки дойную корову с телятком. Смотри, чтобы она была молочная.

Председатель районного колхозсоюза».

Даукара стоит некоторое время в раздумье. Потом качает головой:

– Э, нет, милейший, не могу я разбазаривать колхозный скот!

И, раздосадованный этим письмом, он начинает подробно рассказывать про хозяйство. Рассказывает, а сам смотрит на Ибрая. А тот кует железку, закручивает винт, подтягивает гайку. Неожиданно председатель вдруг шепчет тебе:

– Вы с тем молодцом поговорили? – и кивает на бездельника.

– А кто он? – спрашиваешь ты поспешно.

– Это Амиржан Бейсекеев. О нем долго можно рассказывать. Позже вам все поведаю...

Даукара на мгновение улыбается и снова начинает что-то мять и гнуть.

Значит, звать этого парня Амиржаном, говорить о нем можно долго; он колхозник, а работать не желает – как все это связать и понять?

Несколько женщин мажут стены длинного саманного дома возле арыка. Работают ловко, сноровисто, при этом без умолку разговаривают и смеются. Судя по всему, работой своей они довольны и спешат ее закончить. Пожилой мужчина с жидкой, острой бороденкой прилаживает к окну новую раму, но рама проему не соответствует.

– Тьфу, стерва!.. – Из уст остробородого едва не вырывается словечко покрепче, однако он удерживается. Достает складной метр, измеряет раму вдоль и поперек и чешет затылок. Озадаченно оглядывается.

– Эй, Конысбай, не подходит твоя рама.

– Ну уж, приладь как-нибудь...

– Как это... приладь? А зимой будет дуть во все щели?

Конысбай – так зовут сивобородого. Он сидит под навесом и тешет бревно. Голова бурая, борода сивая. Из нагрудного кармана безрукавки торчит рожок для насыбая. Борода у Конысбая расчесана как попало. Весь он какой-то разболтанный. И рубит неумело, так, как будто не топор у него в руке, а дубина.

А люди работают.

Сухопарая, словно насквозь прокопченная баба разинула рот, оглянулась по сторонам и, поплевав на ладони, подошла к ступе с пшеном. Раза два ударила пестом и потом оперлась на него и встала, точно замучил ее прострел. Миловидная молодка расстелила брезентовый полог, опустилась на корточки и стала на ветру просеивать просо. Сухопарая бросила пест, подошла к молодке и опустилась на край полога с подветренной стороны.

– Ты что, Зейнекуль, назло, что ли, делаешь? Пошевеливайся. Обед ведь скоро, – заметила молодка.

– «Пошевеливайся»!.. Сдохнуть можно... – Сухопарая сморщилась, нахмурилась. Она и не думала торопиться, наоборот, вытянула ноги, расселась поудобней и смотрит вдаль, туда, где кончается аул. Аул – это продымленные, приземистые кошомные юрты, закрытые, запертые наглухо.

Из-за перевала показалась стайка малышей от трех до семи лет. Все они черные, загорелые, в куцых штанишках, выпущенных рубашонках. Идут, держась за руки. Доносится нестройный гул. Поют малыши вразнобой, но если прислушаться, то можно разобрать:

«Как овец, гони камчой

Баян муллу!..»

– Ах, грудь у меня разбухла... Зрачок мой, наверно, проголодался, плачет...

Сухопарая, палец о палец не ударившая за весь день, вздохнула, погладила тощие груди.

– «Зрачок мой», говоришь? А дома своих детей каждый божий день дубасишь... Иль забыла?

Быстро, размахивая на ходу руками, подошла еще одна женщина, одетая очень просто. С недоумением и удивлением она взглянула на сидевшую без дела сухопарую.

– Ты что опять расселась, Зейнекуль?

– А что, надрывать мне, что ли! – огрызнулась сухопарая.

Однако встала, заколотила пестом по ступе с такой яростью, будто хотела выбить ей дно. Потом гневно взглянула на подошедшую, но та только улыбнулась и обратилась к остробородому, все еще возившемуся с рамой.

– Как работа, каин-ага?

– Ничего.

– Гвоздей хватит?

– Да, не помешало бы и еще...

– Конечно. Только где их найду? Поищу, ладно! Жумакуль, с помазкой кончите сегодня?

– Кончим. Готовь премию.

«Кто эта женщина?» Но только ты успеваешь подумать об этом, как к тебе, улыбаясь, подходит Даукара.

– Это Рабига – бывшая жена Амиржана, – говорит он.

– Бывшая?

– Я потом расскажу, – бросает председатель и опять погружается во что-то свое.

Значит, одна из глав истории Амиржана – понимаешь ты – начинается именно здесь; это еще больше возбуждает твое любопытство. Впрочем, можно ведь поговорить с ним по душам, ибо во всем ауле без дела только и слоняются двое: я да Амиржан. Кстати, вот он как раз и идет ко мне, по своему обыкновению, заложив руки за спину.

– Амиржан, пойдем поговорим... – говорю я.

Идем к лужку возле арыка, и тут опять нам встречается та же энергичная молодайка.

– Может, покушаете с нами в столовой? – приглашает Рабига, ибо это она.

Я смотрю на нее, потом на него. Рабига спокойно улыбается и вообще держится как ни в чем не бывало, а Амиржан смущен, бледен, начинает разглядывать носок своего сапога.

– Что ж, пойдем, Амиржан! – говорю я.

– Вы идите, а я недавно только поел, – неуверенно отвечает Амиржан и отходит в сторону.

– Что ж уговаривать сытого отобедать? – насмешливо замечает молодайка.

Длинный саманный дом, тот самый, что промазывали снаружи, оказывается столовой. Вместе с Амиржаном переступаем порог.

Просторный, светлый зал. В одном конце – кухня, отгороженная стеной. В стенке окошко. Через него подают пищу. Заглянешь в окошко и первым делом

увидишь огромный черный котел. Он бурчит. Какая-то женщина половником снимает с него пену. Вторая крутит мясорубку.

Невольно говорю:

– Ну, и котел же у вас!

– Да... в нем готовим для трехсот человек, – с гордостью заявляет повариха.

В столовой длинные столы. За одним сидят несколько бородатых мужчин. Среди них Конысбай. Ах, вот почему он так вяло махал топором. Бедняга, оказывается, в столовую спешил... Из окошечка аппетитно пахнет жареным. Бородачи облизываются, но беседу не обрывают. Больше других говорит Конысбай. Он попросил у соседа табакерку, достал из нее щепоть кудрявистого бурого насыбаю, но до носа его не дотянул и так с рукою на весу о чем-то увлеченно рассказывает. Наконец умолк, зажал правую ноздрю, к левой – поднес табак, вдохнул и задохнулся, подавился, застыл, побагровел. Остальные глядят на него с недоумением и нетерпением. Наконец Конысбай очухался, перевел дыхание, отчихался, отряхнулся и заговорил. Но тут его перебил громкий и звонкий голос:

– Внимание!.. Внимание!.. Говорит Алма-Ата...

Бородачи застыли прислушиваясь.

– Я сейчас сама вам подам, – говорит Рабига. – А то все сегодня так заняты, что...

И она ставит на стол большую деревянную чашу салмы – лапши с мясом.

А бородачи, не отрываясь, смотрят на репродуктор.

– О чем он?

– О трудоднях, кажется...

– Подождите, дайте послушать.

Сытый и довольный, я направляюсь к выходу, а там толкотня – народ только что вернулся с работы. Смех, шутки, возня.

- Сейчас наша очередь!
- Нет, мы раньше пришли!
- Эй, не пускайте баб! Они и так справные!

Молодухи напирают на джигитов, джигиты на молодух – начинается давка, и никто не может попасть в столовую.

– Эй, потише вы! Дверь сломаете, – хриплым голосом одергивает молодых кто-то из стариков. – Небось опять Айзахмет тут балует...

Вместе с молодками протискивается в дверь и пожилой чернобородый дядька. Заметив приезжего гостя, он смущенно говорит:

- Никак не приучишь наших казахов к порядку...

Бравая молодуха толкнула меня, но тут же спохватилась и залилась румянцем.

- Ой, простите, а я думала, Жамангали...

Поневолe залюбуешься этой шумной, веселой толпой – стоишь и смотришь на нее, пока все не скрываются за дверью столовой. С раннего утра все на работе, но хоть кто-нибудь, хмурясь, пожаловался на усталость!

А еще года три-четыре назад вот эти бородачи возвращались с сенокоса мрачные, усталые, еле волоча ноги. Прячась от палящего солнца, укрывали головы они старым, дырявым чапаном. Косу держали на плече. Жена, глядя на вернувшегося измученного мужа, чувствовала какую-то неясную вину перед ним и начинала бесцельно метаться между лачугой и земляной печкой. А муж ругался: «У, мать твою!.. – говорил он. – Когда эти муки кончатся?!» И, стягивая дырявые сапоги, швырял их к порогу, а сам, обесиленный, падал на подстилку. Жена увивалась вокруг него, всячески угождала и, стараясь развеять его хмурь, жалостно приговаривала: «Бедный, бедный... Кормилец ты наш... Как устал! На, вот, попей чайку. Может, полегчает... Может, пропотеешь малость,

приободришься...» И даже ноги мужу гладила. В это время с улицы вбегал чумазый, сопливый бутуз и кидался было к отцу, но мать кричала: «А ну отвались!.. Видишь, как отец умаялся! Не то что с тобой играть, голову свою поднять не может...»

И отец, умиротворенный и уже снова добрый, притягивал мальчика к себе, гладил, ласкал, а потом долго сидел и тянул крепкий крутой чай.

Черный бородач еще недавно жил точно так же. Теперь, возвращаясь с работы вместе со всеми, он заходит в колхозную столовую, садится за стол и терпеливо ждет, когда его накормят. Женщина-подавальщица не бросается к нему, как к самому старшему, а разносит по порядку, будь то ребенок или молодуха. Старики покрывают, покрывают. Когда-то, бывало, восседали они во главе дастархана¹, и им подавали баранью голову на деревянном подносе – знак почета и особого уважения. Видно, об этом сейчас вспомнил Конысбай. Вздохнув, повернулся к подавальщице и попробовал улыбнуться:

– Сношенька, дорогая, и про нас не забудь...

Время обеденное.

Солнце палит нещадно.

Чуть дует горный ветерок, вода в арыке покрывается рябью, высокие травы вдоль него колеблет ветер. То тут, то там глаз отмечает кусты и небольшие деревья: то ли их насадили, то ли они сами по себе выросли – никто этого не знает. Вместе с Амиржаном подходим к дереву, устраиваемся в тени, ближе к арыку и начинаем беседу:

– Ну, Амиржан, рассказывай...

– О чем же?

– Кто ты такой? Чем занимаешься? Почему не работаешь в колхозе?

¹Тут в значении праздничного стола.

Надвинув шапку на лоб, глядя на спящих возле столовой людей, он молчит и о чем-то напряженно думает.

Из столовой выходит Рабига вместе с остро-бородым плотником. На ходу что-то объясняет или наказывает. Плотник слушает и кивает головой.

– Твоя жена начальником, что ли, у них?

– Да... бригадир.

– Это хорошо! Бойкая она, активная.

– Э, что тут говорить, активистка!.. – почему-то вздыхает Амиржан.

И усмехается, недовольно щурясь. Под глазами его появляются складки: он сидит, пощипывая травку, и о чем-то думает. Потом вздыхает и говорит:

– Тогда уж наберитесь терпения и выслушайте до конца всю мою исповедь... – Он опять задумывается. – О детстве своем говорить не буду. Длинная это история. Всего не перескажешь. Отца не помню. Мать тоже умерла рано. Меня взял к себе дядя – брат отца. Был он батраком, а меня отдал в подпаски к баю Дутбаю. Был Дутбай не очень богат, но жаден и скуп непомерно. А зол, как зверь. Я и сейчас еще во сне вскакиваю, когда мне снится его трость. Наверное, я и сам был виноват кое в чем – конечно, молод, горяч – коня мне бай не дал, так пешим я и пас отару. Ну, а кто боится пешего? Раз волк среди белого дня разорвал жирного валуха. Что делать? От слез глаза у меня опухли. К ругани, побоям давно привык. Одна была дума: лишь бы до смерти не забил. Пришел... В гневе у Дутбая-собаки обычно глаза краснели. Еще издавека он начал хрипло лаять на меня. От страха я ничего не соображал, застыл на месте, рот разинул. Потом поднял на него глаза да и обмер: он подходил, ухмыляясь и скаля зубы. Особенно здорово он драл меня за уши, поэтому я зажал их обеими руками. Ударил он меня прямо с ходу в скулу так, что в глазах потем-

нело. Кто-то крикнул: «Байеке, пощадите! Сми-луйтесь!» Но бай ничего не слышал. По щекам моим струилась кровь. Я только потом почувствовал: он повыдрал все волосы у меня на висках. Волосы, конечно, отросли, но – как видите – седые. Было мне тогда лет шестнадцать-семнадцать. Ушел я от Дутбая, разыскал дядю-батрака и нанялся к его же хозяину. Это был уже крупный бай, его звали Баймаганбет. Все четыре сына учились в русских школах. Не только батраки, весь аул, даже вся округа гнули на него спину. Меня определили по дому. Вместе со мной батрачил тогда и Даукара, нынешний председатель колхоза. Он уже тогда был сильнее, выносливей, смелее меня. Упрямый был к тому же: все норовил сделать по-своему. Я не хвалю его, я говорю, как было. Оскорбил он как-то младшую жену бая, зловредную бабенку, ну и избили его. То есть так измолотили беднягу, что никто уже не думал, что он выживет. Вскоре после этого Даукара исчез. Ушел ночью, и с концом. Потом уехал в родной аул мой дядя Даулбай и тоже больше не вернулся. Позже узнали: решил он жениться на дочери бедняка и жить у ее родителей, то есть стать, как у казахов говорят, зятьком-щенком...

Группа молодых женщин вышла из столовой и уселась в кружок в тени на зеленой травке. Они о чем-то шептались: перемигивались, подталкивали друг друга, должно быть, над кем-то посмеивались. Чуть поодаль стояли несколько парней и увлеченно беседовали. Однако игривый смех молодых вывел из себя большеротого джигита.

Он крикнул им:

– Эх, расшалились, бездельницы!

Молодухи рассмеялись еще громче. Парни демонстративно отвернулись и, презрительно пожимая

плечами, продолжали беседовать. Но тут одна из хохотушек завела высоким, чистым голосом песню, которую, вероятно, сама и сочинила. И все вокруг невольно прислушались:

Мы смеемся над тобой, хвастун-джигит.
По равнине золотой табун бежит.
Нынче девушки прославились трудом,
Не найдешь себе жены, болтун-джигит.

Услышав эту песню, Амиржан встrepенулcя. Хмурые брови раздвинулись, на лице появилась улыбка.

– Ишь ты... на этого большеротого чертовка мстит... Подождите, слушаем...

И Амиржан даже шею вытянул. А большеротый, словно не желая его разочаровать, вдруг повернулся к женщинам, подбоченился, задрал голову и пропел:

Умолять я вас не стану, хоть умру.
Крикливой и ленивой бабы не хочу.
Ни одна не устоит красотка.
Если встретится со мной лицом к лицу.

Молодки зашушукались и склонились друг к другу, и через мгновение девичий голос снова запел:

Нынче девушек, джигит, не проведешь.
С трудоднями лишь теперь жених хорош.
Кому нужны твоя краса, твой блеск и лоск,
Коль славы и почета ни на грош?!

Большеротый так обиделся, что отвернулся. Амиржан, весь поглощенный этим спором, пробурчал:

– Ах, шайтан!.. Проиграл бедняга... Не нашелся!

Казалось, будь он на месте большеротого – до самого вечера проспорил бы без устали.

Я напомнил ему про его обещание. Он вновь нахмурился и задумался. Потом опять начал говорить:

– Чего я только не пережил? В шестнадцатом году по указу белого царя взяли меня на тыловые работы.

Мерз зимой в студеных бараках, пилил дрова, рыл окопы. Никто из нас не надеялся вновь увидеть родной край. Но человек все вытерпит. Выстояли и мы. Прошли через этот ад.

Вернувшись с фронта, отправился я искать родного дядю. Оказалось, как забрали рыть окопы его, так он и пропал. Даже писем от него не было. Поселился я у его тестя – Куанышбека. Был этот Куанышбек тихим черным приземистым старичком. Жили они вчетвером – старик, старуха, дочь – теперь вдова, да еще одна дочка лет пятнадцати. Лачужка – убогая. Скотины всего несколько голов. Вдова – женге моя, значит, – оказалась серолицей, разбитной бабенкой с веселыми, жадными глазами. Казалось, гибель мужа ее ничуть не удручала. Похохатывает, глазками стреляет, по аулу мечется, будто с цепи сорвалась. А я взглянул на свою женге да так весь и похолодел. Приятно же, после всех мытарств и лишений, встретить близкого, душевного человека! Так вот ждал я от женге такой встречи.

И не дождался! Правда, на стариков обижаться было грешно. Сам дед и жена его Умсындык встретили меня неплохо.

В этом ауле всеми делами управлял некий Утебай. С виду вроде бы бестолковый, суетливый человек, речь корявая, неуклюжая. Но почему-то все двадцать дворов аула только его и слушали. Без его совета или благословения ничего не совершалось. Гости, приезжие обязательно останавливались у него. Моя женге тоже день-деньской там пропадала. И вот пришла в голову Утебая мысль поженить нас – меня, значит, и женге. Я не на шутку испугался. «Апырма-ай, – думал я, – разве смогу я жить с этой шустроглазой бабой?!» Моего согласия, однако, никто и не спрашивал. Припелся мулла и сочетал нас истинным браком. Ох, и разбушевалась тогда моя новая жена. Рвала и метала. Впервые в жизни видел я такую

бешеную, вздорную бабенку. Расстроился я тогда вконец, подумал: «Ну, пропал!» К счастью, вскорости жёнке убежала из дому ночью... Легли вместе, проснулся я, нет её. Куда убежала, как и с кем – никто не знает... Старуха плачет, убивается, дочь-шлюху проклинает. Куанышбек молчит, точно окаменел со стыда и горя. А что сделаешь? Младшая дочь, вот эта самая Рабига, украдкой на меня косится, усмехается, дескать, ну что, зятек, обдурили тебя, сиди теперь, обнимай колени. Она смеется, а мне тоже смешно. Потом узнали: оказывается, хитрил Утебай, хотел свой грешок на меня спихнуть.

А в аулах беспокойно. То белые нагрянут, то красные. Беяки рыщут, грабят, насильничают, убивают.

Однажды, уже в сумерках, слух прошел: «Солдаты!» Сразу все забегали. Обычно, когда подходили белые, в аулах прятали дорогие вещи, коней поспешно угоняли в степь, девушки и молодки переодевались мужчинами или дряхлыми старухами. И на этот раз все было так. И вдруг новая весть: «Это красные. Они никого не трогают». Люди успокоились, а когда части пришли, стали заглядывать в дома, где остановились красные. Я тоже отправился глазеть. Смотрю: все сплошь молодые парни. Правда, изредка встречаются и бородачи. Кто в военной форме, кто в обычной одежде. Утебай тут же суетится, бегаёт, всячески угождает. До этого он с таким же рвением прислуживал белым.

Время было вечернее. Возле дома в углу сидел какой-то верзила. В сумерках я его не разглядел, но что-то в нем мне показалось знакомым. А он достал махорку, свернул сигарку, поднес спичку ко рту, и тут я его и узнал. Даукара! Обрадовались, обнялись мы. Оказалось, ушел тогда Даукара от бая и нанялся к русскому кулаку. От него он и вступил в красноармейский отряд. За время нашей разлуки он заметно вырос, окреп,

возмужал. И сразу же решительно заявил, что берет меня к себе, отныне мы будем всегда вместе. Узнав, что я примкнул к красным, больше всех встревожился и испугался Утебай. Куанышбек со своей старухой очень огорчились, услышав, что я уйду с красными. Рабига привыкла к тому времени ко мне, называла учтиво жезде – зятем. Была она тогда смуглой девчушкой с распущенными волосами. Мой уход сильнее всех ее расстроил. Даже всплакнула она на прощание...

На этом месте Амиржан вдруг умолк. При одном слове «Рабига» он волновался, менялся лицом, задумывался. Вообще было заметно, как за последнее время он осунулся, сдал, сник, и причиной тому, конечно, размолвка с женой. Казалось, он никак не мог собраться с мыслями.

Между тем почтенный Конысбай, поставив ногу на бревно, нехотя замахивается топором и тут же застывает в задумчивой позе, как бы решая, рубить или не рубить, тесать или не тесать. Со стороны он представляет интересное зрелище. Слушая рассказ Амиржана, я все время слежу за нерадивым плотником. Амиржан тоже искоса поглядывает на него. Видно, что плотник его раздражает. Чувствовалось и другое: всякая ложь и подлость возмущают его до глубины души. С горечью и ожесточением он продолжает свою исповедь:

– Тогда-то, оседлав боевого коня, я познал впервые вкус и радость свободы. Когда горячий конь под тобой скачет, грызет удила, а ты, с головы до ног обвешанный оружием, несешься во весь дух навстречу неведомой судьбе и ветер хлещет тебе в лицо, а сердце радостно стучит в груди, то ты от счастья и сам точно на крыльях.

Там, где появлялся наш отряд, белые разбегались, как овцы. Командира нашего звали Мекапар¹. Словоохотливый был он джигит. Шутник, балагур. Но в бою был строг и даже суров. И бойцы тоже собрались ему подстать. Однажды во время погони за белыми очутились мы в ауле Дутбая. Вспомнил я обиду, разъярился и на всем скаку примчался к байской юрте. Бай с перепугу языка лишился, только угодливо улыбался. А сосед его, Исхак, бедняк из бедняков – раньше, когда Дутбай меня колотил, он всегда, бывало, заступался, – схватил меня за руки. «Байеке, смените гнев на милость, пощадите мальчика, – вдруг заверещал он. – Амиржан, дорогой, пощади! Пожалей!..»

Однажды, когда занимали уездный город, произошла кровавая сеча. Беляки побежали, мы за ними. В местечке Карасор наконец мы настигли один их отряд. Там находилось зимовье некоего Иманбая. Белые укрепились на зимовье и сопротивлялись долго. Дул пронизывающий осенний ветер, иногда валил колючий снег. Продрогли мы на ветру, застыли, зубами клацаем. И тут Даукара вдруг сказал мне:

– Давай, Амиржан, подползем к ним поближе. Попробуем...

Как раз сумерки надвигались. Захватили мы винтовки, спустились в овраг и поползли сквозь кусты в колючки. Ружья к груди прижимали. Доползли кое-как до них. Я осторожно приподнялся, заглянул в окошко. Прямо против меня стоял, выставив ружье, дозорный. Я даже не успел крикнуть Даукаре, как рванул затвор... А что было дальше, и не помню... Очнулся... Кто-то перевязывал мне руку, шею. Оказалось – сам Мекапар.

– Не шевелись, Амиржан, – сказал он.

И вновь я потерял сознание. Когда открыл глаза, вокруг суетились какие-то люди в белой одежде. Среди

¹ Искаженное – Никифор или Никифоров.

них были и женщины. Говорили шепотом. «Апырмай, – думал я в недоумении, – где это я нахожусь?» Вскоре понял: в больнице. Пуля вошла в шею и вышла возле плеча. Вот видите – шрам? Это след той пули. А левую руку могу поднять только вот так. Дальше не идет. Крепкий был я, молодой, закаленный, потому только и выжил. А такая дыра была, что и смотреть страшно. Вначале туда какую-то резинку совали. Еле зажило.

В аул вернулся лишь через год. Сильно исхудал. Разыскал старика Куанышбека, а тот еле ноги волочит – хворал все лето; единственная корова подохла от ящура; урожай вовремя не убрали, все потравил скот. А тут зима на носу. И холодно, и голодно. Хотя по миру иди. А к кому пойдешь? Родственники уважают лишь состоятельных. Как пообедаешь – все от тебя отворачиваются и в глазах родичей ты самый никчемный человек. И когда эдак окажешься ты на распутье, охватит тебя отчаяние, когда каждый норовит связать тебя по рукам-ногам, превратить в батрака. Вот в таком положении я и застал старика Куанышбека. Проныра Утебай делал вид, что жалеет стариков, что, дескать, не позволит им околеть с голоду, а сам намеревался с выгодой продать Рабигу. Доля родителей при этом составила бы двадцать пудов зерна и корова с телятком. Остальное досталось бы самому Утебаю. Таких пройдох, как он, было тогда немало. Считай, на каждый аул приходилось по два-три таких Утебая. Они-то и занимались сватовством. Всякий, кто сватал девушку или молодку, первым долгом сталкивался с этими жуликами. Они советовали, обговаривали и улаживали – жених без них и шагу ступить не мог. Считалось даже, без их участия и благословения никакое дело не решится. А если и решится, то окончится непременно плохо. Об этом тоже заботились те же самые ловкачи. Вот так околпачили они и Куанышбека. Старик верил Утебаю, считал его своим благодетелем и только бормотал:

«Делай, как хочешь... Я только могу цепляться за твой подол...»

Ох, и хитрый и подлый же был этот Утебай! Очень он старался меня прибрать к своим рукам. Угощал, угодничал, из дому не выпускал. В глазах людей похваливал: «Вот он, Амиржан – верный защитник Советов! Собственными руками установил новую власть!» В этом-то он был, положим, прав. Но одно я не мог понять: такие вот, как я, бедняки и батраки, устанавливают Советскую власть, кровь проливают, так почему же плодами новой власти пользуются утебай? Ведь получается, будто это мы для них жизнью жертвовали?!

Итак, председателем аульного Совета был Утебай. Секретарем же он взял себе Какиша, сына хаджи Кудайкула. Люди побаивались его, называли полосатой змеей. И вот эта полосатая змея представляла Советскую власть, заботилась о бедняках! Баи, конечно, были довольны. Они в ус не дули, ухмылялись, похихикивали: «Посмотрим, что принесет вам Советская власть...» А в аулах голод, мор, бескормица. И опять баи злорадствуют: «Да, не больно-то благодетельствовала вас ваша власть, бедняки». В проделках разных жуликов и подонков тоже обвиняют новую власть. «А как же иначе? – говорят они. – Нынче же ведь «слабода»! Каждый что хочет, то и делает». И «представители» новой власти вроде Утебая отнюдь не пресекают подобные слухи, а наоборот, только масло в огонь подливают. Даже то, что натворил сам Утебай со своими приспешниками, и то приписывается Советской власти...

Со всем этим я столкнулся в ауле и так растерялся, будто в тупик попал. «Что делать? С чего начать? Почему я, проливший кровь за Советскую власть, оказался в стороне?» – все чаще спрашивал я себя. Утебая я только внешне терпел, а в душе люто ненавидел. Как говорится, снаружи у меня был жар, а

внутри – лед. Он тоже мигом меня понял. И стал тянуть с замужеством Рабиги. Выжидал, что-то будет. Старики между тем зерно уже получили. Женихом был некий Досжан, лет за сорок. Недавно умерла его жена, и Досжан решил взять молодку или даже девушку и, как говорят, обновить супружеское ложе. И был у него знаменитый скакун, на нем теперь и разъезжал Утебай. «Купил, – отвечал он на все вопросы. – А что? Хочу продаю, хочу покупаю, и никому до этого дела нет». Ясно, конечно, почему скакун у него оказался. Рабига постоянно ходила с мокрыми глазами. Поначалу, когда я приехал, она малость встрепелась, ожила, но вскоре опять потухла и приуныла. А наедине, бывало, шептала мне:

– Жезде, что ж со мной будет? Пропала я. Погибла!..

Ну, а что мог я? От слез ее у меня сердце горело, и я ходил сам не свой, злясь на свою беспомощность.

Досжан, жених, навещался чуть не каждый божий день, чернобородый, морщинистый, – не терпелось ему заполучить молоденькую жену. Правда, по аульному обычаю, в этом ничего зазорного нет. Раз жених заплатил, а родители согласились, девушка обязана покориться. Сказать: «Не пойду! Не хочу!» – значит пойти против закона отцов, а это страшный грех...

И раз вечером несколько принаряженных, разодетых женщин торжественно направились к дому Куанышбека. Я догадался: что-то будет. Досжан со вчерашнего дня гостевал в ауле. Аулнай, то есть Утебай, накануне куда-то уехал, но было ясно: все делается по его распоряжению. Значит, хотят привести девушку к жениху, отметить помолвку. Это первая ступень проводов. С того момента помолвленная переходит в подчинение к будущему мужу, а отныне никто уже не может помешать свадьбе. А если помешает – то будет злодеем, смутьяном, богом проклятым человеком.

Жил в этом ауле джигит по имени Апалай. Силач, великан – на каждое плечо по человеку посадит и не

согнется. А ходил вечно в лохмотьях. Увидел он снующих по аулу женщин и вздохнул:

– Эх, несчастная Рабига! Сгубили твою жизнь!..

Вздрогнул я от этих слов, похолодел! Апалай искося поглядывал на меня. После моей злосчастной женитьбы на женге, которая вскоре удрала бог весть куда, в ауле шел слух, будто отныне Рабига станет моей. Рабига была очень ласкова и внимательна ко мне. А я в ней прямо души не чаял. И вдруг отдать ее, уступить какому-то постылому чужаку, – что может быть позорнее для джигита?! И чудилось мне поэтому, что Апалай смотрел на меня с презрением, дескать, тюфяк ты, тюфяк! Растяпа. Я не стерпел и сказал:

– Ошибаешься! Никто ее не погубит.

– Как?! – сразу оживился Апалай.

– А так!

И отправились мы вместе с ним к Куанышбеку. Старик сидел и работал: растирал насыбай. На нем была ветхая шуба с полосатым матерчатым верхом. Он даже дома не расставался с нею, набрасывал на плечи, полами укутывал колени, а когда, как сейчас, толлок жевательный табак, то меж скрещенных ног ставил деревянную ступу. Старик работал усердно. Сбоку лежал черенок лопаты – пестик, а впереди – несколько узелков с табачными листьями и другие узелки с золой; ее добавляют в растертый уже табак. Целые дни проводил старик за этим занятием, толлок, мешал, перемешивал, перебирал узелки. В мазанке было темновато. Женщины, пришедшие за невестой, в белых жаулыках, выглядели словно чайки. За спиной матери сжалась в комок, прикрыв ладонями заплаканное лицо, бедная Рабига. В самой позе ее уже чувствовалась обреченность.

Апалай начал женщин тормошить:

– А ну признавайтесь, сколько жених заплатил вам?

Если родители невесты состоятельны, а мать – еще ловка и предприимчива, то молодухи, приходящие за

девушкой, обычно выкладывают перед матерью все подарки жениха, а уж та их потом сама распределяет. Но эти молодки и не думали показывать подарки. На лицах их было написано: «Если бы ничего не получили, то и не пришли бы. А что досталось от жениха – все наше!» Любопытство Апалая им не понравилось. Одна даже возмутилась:

– Собрались в этом ауле одни дураки!

Это сказала близкая женге Утебая – сварливая, кичливая бабенка. Она вообще вела себя вызывающе, – чувствовала за собой силу. Аульные бабы побаивались ее. Сейчас она повернулась к старухе Куанышбека, спросила резко:

– Ну, так что? Отдашь свою дочь или нет?

А Куанышбек сосредоточенно толоч и толоч свой насыбай, будто ничего его не касалось. Только и было слышно, как скрипит черенок о дно деревянной ступы, словно давно не мазанная телега. Все умолкли в ожидании чего-то важного. Рабига на миг отняла ладони от лица, увидела меня и заплакала еще сильнее. Всхлипнула и старуха:

– Что поделаешь, зрачок мой?..

Невыносимо было смотреть на них.

– Не убивайтесь, – сказал я. – Никуда Рабига не пойдет!

И в мазанке стало тихо-тихо. Все словно окаменели. Даже Куанышбек перестал толочь табак и недоуменно вытаращил глаза.

Замужество дочери, приход молодух за невестой, плач девушки – все это было привычно и вполне соответствовало обычаям. Есть даже примета: «Плакать на выданье – смеяться в замужестве». И вдруг против извечного уклада я поднимаю голос! Женщины от изумления за щеки себя щипали, рты разевали. Первая опомнилась женге Утебая.

– Заткнись! Тебя еще не спросили! – крикнула она мне злобно.

– А это мы посмотрим: спросят меня или нет! – сказал я и подсел к Рабиге. – Попробуйте уведомить!

Все поняли, что я не шучу. В сумраке лиц не разглядишь, но было ясно, молодухи сбиты с толку. Никто из них такого поворота не ожидал. Старик Куанышбек отложил черенок лопаты и схватился от изумления за бороду. Я всегда хорошо относился к нему. И теперешний мой поступок был ему просто непонятен.

– Дорогой Амиржан... – начал он после долгого молчания и не закончил. Положение его было, пожалуй, даже печальнее дочернего. Первым на него взъерится Утебай. «Что ж ты меня подвел, старый хрыч!» – скажет он. Потом взбесится родня жениха: «Над кем ты издеваешься!» Возмутится и рассвирепеет жених. Он ведь отпрыск влиятельного рода. К кому же тогда подастся бедный дед? Где ему искать защиты?

– Дорогой Амиржан... ты ведь знаешь мое положение... – пролепетал он, с трудом сдерживая слезы.

Я очутился меж двух огней. Молодки, пришедшие за невестой, вскочили все разом, разъяренные, готовые обрушить на меня гору. Женге Утебая приняла надменно-холодный вид и, глядя сверху вниз, будто она сидела верхом на верблюде, процедила:

– Как вам угодно!.. Жених нас послал, и мы пришли, как подобает старым обычаям. Значит, свой долг исполнили. Делайте, что хотите. А мы пойдем и все доложим...

И выходя из мазанки, все еще ворчала и ругалась.

Сидим мы эдак одни и молчим. Вокруг мрак. Затевалось что-то не слыханное для аула. И чем все это кончится – никто не знает. Вдруг Рабига шепнула мне:

– Пусти меня... Видно, такова моя судьба... Пойду я...

Слова отчаяния, безысходной тоски! Меня аж пот прошиб! В гневе смотрю я на Апалаю. Он согнулся, обхватив руками балку-подпорку в середине мазанки.

Трудно от него чего-нибудь добиться. Он молчит, хотя и ясно было, что думает он обо мне – но только что? В его представлении я – один из многих, то есть такой же, как и он. Переступить обычай, восстать против привычного уклада – такое и в голову Апалай прийти не могло. Ведь сразу же прослынешь в глазах почтенных аксакалов, воротил и богачей «смутьяном», «возмутителем спокойствия», «ублюдком». Этого Апалай боится больше всего. Он вздохнул:

– Так-то, конечно, так... но...

Что скрывалось за этим «но», он так и не сказал.

Рабига пыталась было подняться, но я положил ей руку на плечо. На всякий случай я взял ее еще за руку. В темноте лица не видно было. Но она продолжала беззвучно плакать, и слезы ее, стекая по щекам, словно жгли мою ладонь. Обжигало и ее дыхание. Вот какая она, истинная боль души... Да-а... в жизни редко бывают такие мгновенья. Но теперь, когда я их вспоминаю, мне кажется, что я был тогда счастлив. Так бы и просидел возле нее дни, месяцы, годы. Я вдруг почувствовал какую-то великую силу, будто обрел крылья и вот-вот взлечу на небо. Еще бы! Любящее сердце тянется к тебе, в страшный час оно ищет в тебе опору, юная девушка протягивает с надеждой руки, а ведь ты жаждал все перевернуть, разрушить этот несправедливый, дряхлый мир, бился за новую жизнь, проливал кровь за новую, желанную тебе власть... К черту же робость! Чего бояться? А Рабига шептала:

– Пусти же... А то... поздно будет...

Знаю: отпущу – все равно не пойдет. Горячие слезы каплют мне на руки. Понимаю: совсем не это она хочет сейчас сказать. «Разве ты с ними сладишь? Разве ты посмеешь подняться против них? Не теряй времени! Придумай же что-нибудь!» – вот о чем теперь все ее мысли.

В другом углу мазанки, едва заметно белея в темноте, застыл старик Куанышбек. То ли он думает: «Вот еще

нежданная напасть обрушилась!», то ли – «В трудный час нашелся человек, на которого можно положиться...»

– Так, значит... – вздохнул опять Апалай.

– О чем ты?

– Да все о том же...

Старуха принялась растапливать печку. В тусклых отблесках огня морщинистое, усталое лицо ее кажется особенно скорбным. Ни словом не обмолвилась она. Непонятно, одобряет ли она мой поступок или осуждает. До чего же скверно, когда не можешь высказать, что творится в твоей душе!

С заходом солнца неожиданно поднялся ветер и закрутил буран. Снежный вихрь хлестал по окошку. Завыло во всех щелях. Старик вдруг точно очнулся, вскинул голову, зло пробурчал:

– Ну и погоду аллах посылает нам!

Разве не все равно ему – буран, не буран: скотины-то никакой нету. Но ведь надо же на чем-то зло сорвать.

Вместе с бураном нагрянула такая же неистовая женге Утебая. Кстати, звали ее Кулиман. Не одна заявила – пришла с тихой, скромной молодухой. А та явно смущалась и норовила держаться подальше, у порога, в тени. Апалай вдруг взяло любопытство:

– Эй, кто там прячется? Машрап, что ли? Подойди-ка ближе!

– Ну и что, если Машрап! – накинулась на него Кулиман.

– Так просто... – стушевался Апалай.

– Если так просто, так и не лезь... А хочешь в бабские дела вмешиваться, так натяни сначала на голову жаулык!

Она села рядом со старухой, протянула озябшие руки к огню. Серое, худое лицо ее было злобно и угрюмо.

– Зажги лампу, – приказала она.

И даже простые слова прозвучали в ее устах как угроза. Кулиман начинала меня раздражать.

Апалай неуклюже, точно отощавший верблюд, поднялся.

– Та-ак, значит... – еще протяжнее вздохнул он. Направляясь к двери, пробурчал под нос:

Аулы в степь раздольную откочевали,
За калым меня, несчастную, продали...

Конец песни никто не расслышал. Апалай с силой захлопнул дверь. Его поведение тоже меня разозлило. «Дурень ты бестолковый!» – будто бросил он мне напоследок.

Старуха мрачно молчала. Лампу так и не зажгла. За спиной ярилась буря, здесь, в мазанке сидела злая, насупившаяся Кулиман: на кого они вдвоем обрушатся, того сразу с ума сведут. Кулиман вновь повернулась к старухе:

– Зятек твой прислал. Пусть, говорит, скажет свое последнее слово. Я сюда в этот буран не шутить приперлась!..

По глубоким морщинам на лице старухи покатались слезы. До этого Куанышбек сидел прямой, как кол. А тут вдруг покачнулся, как ковыль под ветром.

– Чего тут говорить?.. Отведите невесту!..

Рабига резко выдернула руку. Я вздрогнул, будто меня окатили ледяной водой. Уважал я старика. Но с этой минуты сразу возненавидел его. Совсем не так он меня понял, не так все рассудил. Решил, что я хочу жениться на Рабиге, раз не пускаю ее к «богом данному» жениху.

Ладно, пусть он рассудил так. Тогда, выходит, он предпочитает пожилого вдовца? Считает, что я не гожусь его дочери в мужья? Но если бы мы с Рабигой поженились, разве не стали бы заботиться о стариках? Сильно я обиделся. Я вообще обидчивый. С детства...

Зажгли лампу. Рабига сидит, сжавшись в комок. Не человек – тень. Больно было смотреть. Старуха копается в старом сундуке, ищет и подает Рабиге

лучшую одежду. Молодуха Машрап поднесла белый пуховый платок и накрыла им голову Рабиги. Девушка поежилась, передернулась. Ее начало колотить. «Бисмилля», – прошептала Машрап.

С этой минуты мне чудилось, будто расстаюсь с Рабигой навсегда...

Как выскочил из мазанки – не помню. Иду по аулу, шатаюсь, как пьяный. А тут и ветер вконец ошалел, точно издевается надо мной, толкает то в одну, то в другую сторону. Неожиданно очутился я у окошка дома Керебая. Сноха его месила тесто в прихожей. В такт ее движениям покачивался, точно выплясывал какой-то танец, высокий, белый тюрбан на ее голове. Молодуха чему-то весело улыбалась. «Чему она радуется?» – с неприязнью подумал я и тут увидел Апалай. Он примостился у печки и что-то лихо рассказывал. Умел Апалай всякими небылицами смешить молодух. Так искусно врал, что невозможно было ему не верить. «Может, обо мне разговор? – вдруг насторожился я. – Может, эта молодуха над моей бедой потешается?» Плохо соображая, ввалился я в этот дом. Должно быть, плохо закрыл за собой дверь, потому что молодка тут же шутливо заметила:

– Прикройте за собой... вход!

Апалай всем телом обернулся, посмотрел на меня. Благодушие мигом слетело с его лица. Он посерел, нахмурился.

– Пошли, Апалай! – сказал я.

Апалай с готовностью вскочил. Даже не спросил, куда и зачем. Молодуха с удивлением вытаращила на меня глаза, языком цокнула, да так и застыла с ситом в руках. Пошли мы, значит, вдвоем. Мне казалось, что я бегу. Ветер свищет, валит с ног. Метельная круговерть перехватывает дыхание. Апалай схватил меня за плечо.

– Подожди-ка... Куда мы, собственно, идем?

– Спасать Рабигу!

Тут Апалай, должно быть, малость стухнул. Прижался ко мне. Вошел я через силу в дом. А здесь уже собрались девушки, молодки. То здесь, то там важно восседали пожилые бабы в тюбанах. Обычная картина, когда в аул невесты приезжает на помолвку жених. Но сегодня все собрались еще и по другой причине: слух о том, что произошло в мазанке Куанышбека, конечно же, мигом пронесся по аулу от конца до конца. Всех теперь разбирало любопытство, всем не терпелось скорее узнать, что же дальше будет. И когда мы с Апалаем выросли у порога, у всех от любопытства даже глаза загорелись.

– Очень кстати пришли... Проходите, гости дорогие, – томно протянула чернявая щеголиха – баба Утебая.

Насмешка слышалась в ее голосе. Разоделась она сегодня в пух и прах, как и следует почтенной великодушной байбише. А я терпеть не могу, когда кто-либо начинает рисоваться, строить из себя черте что. Апалай обычно посмеивался над ней: «Тощая шея, синяя губа – то ли пери, то ли коза». А теперь эта синегубая надо мной вздумала поиздеваться.

Толстобрюхий жених Досжан поглядывал на нас с опаской. Видно, постаралась вздорная женге, наговорила ему про нас разные разности. Бедняга от страха аж глаза выпучил. Соображает, видать: «Зачем этот вояка приперся? То ли хочет Рабигу отбить, то ли желает мою бороду выдрать?» Правда, в глазах его застыл не только страх, но еще и угроза. «Ну, стой!.. Доберусь я до тебя!»

Рядом с ним возлежал на подушках не то сват, не то дружка – полнощекий мужчина с холеными усиками и подстриженной бородой. Самоуверенно покосился он разок на меня: «А-а... это вы, что ли, притащились...» и тут же отвернулся, небрежно вытянул ноги. Чтобы пройти на почетное место, нужно было переступить через ноги надменного свата. Мы так и сделали, но

свату это явно не понравилось. Он оскорбленно вскинул голову, нехотя подтянул ноги, грозно промычал.

Апалай боком протиснулся между молодухами.

– Э, чтоб тебя!.. – игриво заметила одна из них, толкнув его в спину. – Чего наваливаешься, бычина?!

Для Апалай это было равносильно ласковому «айналайын». Осмелев, он еще плотнее прижался к молодке.

Скверное это дело – молчаливое неприязненное выжиданье. Все хмурятся, сверлят глазами друг друга, наливаются злобой. Так мы и сидели, нахохлившись. Ну, ни дать ни взять – невскрытый нарыв. Возле двери толпится ребятня. Кто-то вошел с улицы и крикнул:

– Дорогу! Дорогу дайте!

Все разом на дверь выставились. Ворвалась Кулиман, мотая головой, как коренник. За ней, ни живая ни мертвая, плелась Рабига. Казалось, спотыкалась о конец пуховой шали. Кулиман, заметив нас, невольно воскликнула:

– Боже!.. Эти опять тут!..

Пуховая шаль колыхнулась и на мгновенье мелькнуло из-за нее лицо Рабиги...

Посадили ее рядом с женихом. Ждем, молчим. Ничего похожего на помолвку не происходит. Молодки будто язык проглотили, только губами шлепают, рожи строят, друг к другу прижимаются, как чесоточные овцы. Кулиман прикрикнула будто на ребятню:

– Лишние расходитесь! Вам-то что здесь нужно?

Да не в детях тут дело: это к нам относится. Апалай привалился спиной к одной молодке, на домбре поигрывает. «У, оморок тебя возьми!» – говорит молодка и шлепает Апалай по шее. Она его шлепает, а он по струне щелкает. Ведь неудобно, люди. Наедине с Апалаем эта молодка повела бы себя совсем иначе. И слова, конечно, сказала бы иные... Остальные все

молчат, друг на друга смотрят, ждут. Хоть бы все тут были честные, чистые. Какой там?! Каждый другого осрамить норовит, каждый о каждом сплетни разносит, каждый в душе желает о других все знать, а про себя все скрыть.

Апалай запел. Голос его несколько охрип. Но песня так соответствовала обстановке, что всех за сердце взяла:

Стригунок строптивый подо мной.
Вернулся я, мой свет, в аул родной.
Горько плачет девушка, когда
За калым ее отвозят в дом чужой.

– Заткнись ты!.. Мелешь что попало, – рассердилась Кулиман.

Такие слова, сказаны ли они в шутку или всерьез, все равно задевают честь. Апалай бросил домбру себе на колени и в упор уставился на Кулиман. Все затаили дыхание. Казалось, между ними вот-вот тоже закрутится буран. Женщины как будто бы все поддерживали чванливую, задиристую женге Утебая, но ясно было, что в душе каждая сочувствовала Апалаю и очень хотела, чтобы он сразил бы наповал задиру каким-нибудь острым словом.

Молодка, все это время заигрывавшая с Апалаем, – толстомясая, рябая, – вдруг смутилась и поспешила переменить разговор.

– Макен с подружками хочет с тобой состязаться. Готовься!

Те, кто хотели все покончить миром, засуетились вокруг Апалая, стали шутить, домбру подавать, успокаивать. Апалай нехотя ударил по струнам:

Бычок, белый или сивый, все равно он лишь бычок.
Победи меня ты в споре и тогда хвались, дружок.
А любовь Ажар такая – только тот ее возьмет.
Кто ей в сердце, словно птице перелетной, попадет.

Ажар – та самая молодуха, которая давеча месила тесто. Муж ее приходился ровесником Апалаю. Поэтому Апалай шутил с ней очень вольно. Ажар тоже любила порисоваться, покрасоваться, представить из себя что-нибудь такое, эдакое. Когда она, судача с бабами, жеманно склоняла голову, то бесчисленные подвески на ее жаулыке позвякивали, точно колокольчик на стригунке. Всем своим видом она как бы вызывающе спрашивала: «Ну, кто еще так умеет!.. Я одна могу всем нравиться!» Две или три молодухи запели вместе:

Есть и лошади у нас, и коровы,
То, что было и есть, – все не ново.
Лишь любовь к седлу не приторочишь.
Не валяется она на дороге...

Игривая словесная перепалка, шутки и смех молодых задевали Кулиман, так что казалось, вот-вот она лопнет от злости.

– Убирайтесь!.. Уматывайте отсюда! – шипела она, сверкал глазами.

Молодухи оскорбленно начали подниматься, они предпочитали разойтись по домам без ругани и скандала. «Видно, самая пора подать свой голос», – подумал я про себя и сказал:

- Вы больно-то не кипятитесь, Кулиман-женге!
 - Молчи! Собрались в ауле бесстыжие!
 - Да что, вы одна тут порядочная, что ли?
- Кулиман еще пуще распалилась:
- Еще будут лезть всякие!

Ох, и взбесился я от этих слов! Помню: привстал на колени. Почему-то засучил рукава и сказал, мешая русские слова с казахскими:

– Может, я для вас устанавливал Советскую власть, а?! Вы хоть слышали что-нибудь про «слабоду»? Слабода – это значит все мужчины и женщины равны! Отныне

никто не смеет унижать женщину! Советский закон такой! Он не позволяет старым «боржоям» насильно брать в жены молоденьких девушек. Не позволит!! Вот видите: плачет Рабига. А раз плачет – значит, не согласна. А коли так, я обязан вмешиваться. Иначе зачем я за Советскую власть воевал?! Мог бы и дома сидеть. Но я пошел и сражался... Поэтому всем женщинам нужно дать слабоду, а «боржоям-сволочам» распороть животы!

Вот так сию я на коленях и говорю. Слова так и рвутся из меня. Жених Досжан насмерть перепугался, как услышал про «боржоев-сволочей», которым нужно вспороть животы. И не только жених, все, кто собрался в доме, опешили. Так их ошеломила моя речь. А я подумал: «Какого черта я тут сию? Надо взять Рабигу за руку и немедля уйти отсюда, пока они не очухались», и, подумав так, я встал и торжественно объявил:

– От имени Советской власти объявляю тебе, Рабига, слабоду! Дай руку!

Что там говорить, – смелой, бесстрашной оказалась моя Рабига! Встала и пошла за мной!

На этом месте Амиржан замолчал. Конысбай, удобно вытянув ноги, разлегся на боку. Вот так лежа, лениво разглядывал он, переворачивая, гладко обструганный брусок, делая вид, что занят делом. Для него важно было каким-то образом убить время. Амиржан, глядя на него, насупился. Видно, и об этом нерадивом Конысбае он мог бы кое-что рассказать. Однако сейчас он рассказывал о себе и поэтому, помедлив и повздыхав, заговорил снова:

– Я тогда по-настоящему убедился в том, что Апалай – истинный джигит. Вы, наверное, не видели его. Сейчас он работает заместителем директора МТС.

Грамоте выучился... Когда я вышел из дома, ведя за руку Рабигу, он встал и последовал за нами. Помню, переступая через порог, он еще заметил по привычке:

– Так вот оно как, значит...

Буран яростно обрушился на нас. Я крепко прижал к себе Рабигу. Апалай плетется сзади, что-то бубнит. Но из-за ветра слышно плохо.

Сережки медные, шапка меховая,

Ох, влюбился я в тебя, подруга дорогая... –

доносится до нас сзади его хриплый голос. Потом налетает шквал ветра, и Апалай исчезает за снежной пеленой, но тут же выныривает снова, и я опять слышу:

Приходи же на свидание, дорогая,

Жду тебя, огнем любви пылая...

Интересный все же джигит – Апалай. Он искусно играет на домбре и гармонии, поет казахские, татарские, русские песни и частушки. Словом, всячески старается разнообразить, расцветить песнями и рассказами серую обыденную жизнь. Во время всех этих событий он хотя и осторожничал, однако же его юмор, ирония и тайное сочувствие сильно меня поддерживали, а его обычное многозначительное «Так вот оно как, значит» звучало для меня определенно вдохновляюще.

– Амиржан! – позвал он вдруг.

– Что?

– Ты вот что. Ты дверь покрепче запирай. Если что-нибудь случится, то только нынешней ночью, я тоже буду поблизости.

Тут меня и осенило: слышал я, что Утебай вместе с несколькими байскими сынками отправился в соседний аул играть в карты. Джигиты все как на подбор, шальные, забияки. Стоит только оскорбленным сватам и жениху сообщить им о случившемся, как они мгновенно прискачут сюда. Дело не в одной

Рабиге. Не она важна, принцип важен. Ведь рубится под самый корень старый дедовский обычай. Если Рабига сегодня постоит на своем, завтра все аульное бабье взбунтуется. Как же могут приверженцы старины допустить это? А допустят – и аульным пронырамликовчачам – никогда не удастся больше наживать на женских слезах.

– Правильно говоришь, – вздохнул я. – Если что будет, то будет только нынче ночью.

У входа в мазанку бродил кто-то. Присмотрелся: оказалось, – наша старуха. Промерзла, дрожит вся, трясется.

– Шеше, – сказал я. – Я привел Рабигу назад!

– Воля ваша, дорогой... Что я могу? Старик сидит ни живой, ни мертвый. Не говорите ему ничего, – всхлипывая, пробормотала старуха.

Выяснилось: все, что происходило в доме Утебая было родителям Рабиги уже известно. Уж не подслушивала ли старуха за дверью? Так мне вдруг тогда подумалось.

Куанышбек, отвернувшись к стенке, лежал возле печки. Он слышал, как мы зашли, однако не шелохнулся. Никто слова не обронил. Мы закрыли дверь на засов. За стеной беснуется буран, воет ветер, казалось, все вздыбилось, все тронулось с места, и грохочет, словно горный обвал. Убогая мазанка ходит ходуном; отвалился кирпич от трубы, едва потолок не проломил. Охваченные тревогой, мы вздрагивали от каждого шороха. Думали, что вот-вот, в следующее мгновение, случится что-то ужасное и непоправимое.

Подслеповатая лампа еле мерцала в сумраке. Старуха застыла возле печки. Глаза ее потухли. Не человек – живые мощи. Только глаза блестят. Страх парализовал и Рабигу. Бледная, растерянная, она точно лишилась рассудка или просто смирилась с тем, что уже ничего поправить нельзя.

В душе Рабиги происходила борьба между надеждой и отчаянием, жизнью и смертью. Кто победит, в чьих когтях очутится она – вот что терзало ее сердце. К тому же судьба ее решится не когда-нибудь, а вот в это мгновение.

Я тоже напряженно вслушиваюсь, вздрагиваю. То ли это ревет буран, то ли конский топот слышен. Так прошло много времени. Пора бы им и нагрянуть. Жду и думаю: то, чем мучился целый год, теперь разрешится за несколько минут. Вдруг мне почудился подозрительный шорох, и я поспешно потушил лампу. В темноте стал искать что-нибудь потяжелее, поувесистее и раза два натолкнулся на Рабигу. Оказывается, она ходила за мной по пятам, с испугу совершенно уже не соображая, что делает.

За дверью послышались шаги. Пришла наконец минута, которую так долго и со страхом все ждали. Чем только все это кончится?

Кто-то с силой рванул запертую дверь и грозно закричал:

– Открой!

Дверь закрипела, затрещала. Еще немного, и ее вырвут вместе с косяками. А откроешь дверь – пришельцы ворвутся в дом, как голодные волки. И совершенно ясно, кого они тогда разорвут.

Но в это время послышался еще чей-то громкий голос. Я узнал его. Утебай!

– Это кто здесь шумит? Кто бесчинствует?! А ну-ка прочь от двери! Чтобы ни один не посмел входить! Я сам поговорю... – хрипел он, надрываясь.

«Что это значит? Как это понимать? – подумал я. – Может, он считает, что справится со мной один на один? Или, наоборот, полагает, что без моего согласия увести девушку никому не удастся?»

– Амиржан-ау, открой же... Я это, – вежливо, вкрадчиво, даже как бы с мольбой, сказал он.

Вошел. Вслед за ним ввалились лисьи шубы, холеные усы. Утебай подсел к лампе, начал поправлять фитиль. Куда бы он ни заходил, он сразу же держался вольно, уверенно, как дома. Эта его манера многих подкупала. «Свой человек. Простой», – говорили о нем.

– Женеше-ау, пора бы в твоей лампе заменить фитиль, – сказал он старухе. – Дорогая Рабигажан... – теперь он повернулся к Рабиге, – найди-ка клочок ваты.

После таких слов разве мыслимо подозревать Утебая в дурных намерениях?! Может, потому-то старик Куанышбек и строит из себя обиженного? Может, он назло мне отвернулся к стенке?

– Разбудите же старика! – буркнул один из гостей, поглаживая холеные усы. Всем своим видом он показывал, что предстоит нечто важное. Но и тут неожиданно вмешался Утебай.

– Ну зачем старика тревожить? Все дело можно решить с Амиржаном. Говорите!

А за дверью шумно. Рабига с опаской взглядывает то на меня, то на дверь. Я про себя так подумал: эти, видно, ждут моего согласия, ну, а не соглашусь я – заберут Рабигу силком. Один из гостей небрежно вытянул ноги и с усмешкой посмотрел мне в лицо. Это совсем взорвало.

– Ну, слушаем тебя, Амиржан! – сказал он.

– Что ж... слушайте! – сдерживая гнев, ответил я. – Разговор короткий: девушку вы не получите!

– Это как же?! – в один голос прорычали густомые рожи, жирные затылки.

– А вот так! – отрубил я. – Советская власть дала женщинам свободу. Так? А кто вы такие, чтобы противиться Советской власти?! Не желаете добром ей подчиняться, то можно силой заставить! Заметили шрам на моей шее? Знаете, где у меня покалечило руку?.. Эти увечья я получил, выпуская кишки строптивым «боржоям»!..

Надменная усмешка мигом исчезла с сытых рож. Побледнели байские сынки, растерянно переглянулись. Видно, только теперь поняли, с кем имеют дело. Утебай опять взялся крутить фитиль и примирительно заулыбался:

– Как говорится, разумные речи и дураку слушать любо. А слова твои – ничего не скажешь – разумные. Досжан найдет еще какую-нибудь девку. Мой же совет таков: пусть закрытый казан останется закрытым. Да забудется все, что было!

Получалось, будто он за меня заступается, защищает меня от разъяренных мурз.

– Ну, раз ты так говоришь, что нам остается делать... – забормотали высокородные мурзы.

Тут-то я впервые и подумал: все это заранее подстроено. И неожиданное «заступничество» Утебая – оно тоже было заранее обусловлено: если разговор примет крутой поворот, то вмешается председатель аулсовета, если нет, то будет, как они хотели. Даже вон те, что колотили в дверь, тоже были явно подосланы. Убедившись, что на испуг меня не взять, Утебай отлично сыграл роль благодетеля, спасающего меня от взбесившейся толпы. Я же испытывал чувство гордости оттого, что один разогнал ораву смутьянов. Понятно, не меня они испугались, а новой власти.

После того события в аулах наступил снова мир и покой. Я по-прежнему жил в доме Куанышбека. Старик, однако, дулся, со мной не разговаривал, даже глаза прятал. Зол был он и на Рабигу, все его раздражало в ней; и то, как она ходит, и то, как сидит. К любому поводу цеплялся. А аулчане и вовсе перестали ходить. Один только Апалай изредка наведывался. Придет, начинает приставать к старику.

– Кыеке! А, Кыеке! Рассказать вам одну интересную сказку? – улыбается Апалай, а старик еще крепче сжимает черенок лопаты, которым трет насыбай, и грозно хмурит брови:

– Уберешься ты или нет?

Добрая старуха заступается за балагура:

– Ну, что с тобой, отец?! Он-то, бедняга, в чем виноват?!

А Апалай даже внимания не обращает на гнев старика. Он, по обыкновению, начинает петь:

Не дал аллах ни счастья, ни радости большой.

Ни пери с тонким станом и длинною косою.

И некому излить мне печаль-тоску свою.

Так каюсь на земле я, ни мертвый, ни живой.

Истинную правду говорит Апалай. Вся жизнь его соткана из неурядиц и горя.

Разные сплетни пошли по аулу. Одна из них меня особенно поразила. «Амиржан, оказывается, неспроста так заступался за Рабигу, – поговаривали. – Она забеременела от него». Сплетня эта сразу обежала всю округу. Что может быть позорнее этого для девушки на выданье? И хоть бы был повод какой, а то ведь сущая напраслина все это. И за себя обидно, и особенно больно за Рабигу. Однако она никакого вида не подавала, ходила, как прежде, веселая, беззаботная. Однажды я осторожно намекнул ей об этом, она только отмахнулась, рассмеялась:

– Ну и пусть себе болтают...

Ничего не скажешь, дикая, отчаянная была она в молодости...

И, снова захлестнутый воспоминаниями, Амиржан обрывает рассказ. Люди между тем давно разошлись по своим делам. Ни одного празднующегося. Издалека приглушенно доносится грохот не то машины, не то трактора.

– Теперь, пожалуй, начинается самое интересное, – говорит вдруг Амиржан.

Я весь превратился в слух. Жизнь – долгий и сложный сказ. Ее в двух словах не перескажешь. Особенно если ты, как Амиржан, не знаешь, с какого конца начать рассказ. Вглядываюсь в Амиржана. Борода у него запущенная, неухоженная, губы толстые, нос длинный, хрящеватый, глаза большие, белесые. Такие крупные черты лица врезаются в память с первого взгляда. По ним Амиржана узнаешь среди тысячи. Однако не только внешностью он примечателен: таких, как он, немало, а вот судьба такая только у него. Поэтому сидишь и слушаешь его корявый, неумелый рассказ, который дополняется жестами и мимикой, когда слов уже не хватает.

– Вот с того момента и столкнулись мы в открытую с Утебаем. Правда, виделись редко. Но при встрече он был такой ласковый, добрый, а я держался с ним все холодней и осторожней. Как раз в это время прошел слух, что поймали знаменитого вора-конокрада Тайшикару. Родом Тайшикара был отсюда. В последние годы он орудовал с бандой и держал в страхе все аулы. Люди, когда узнали, что конокрад пойман, – вздохнули свободней. Однако все понимали и то – Тайшикара всего-навсего вор, но за ним стоит сила: аксакалы. Половина добычи достается им. Следовательно, они вора обязательно вызволят, чтоб он не раскрыл все их темные делишки. И все-таки люди ждали справедливого возмездия не только над воров, но и над всей его шатией. Среди этой шатии, конечно, находился и Утебай. Под разными предлогами он в последнее время совсем перестал появляться в аулах. А про гулянки и про азартные картежные игры вдруг и совсем забыл. «Чует лиса беду, – поговаривали в ауле. – Видно, расплата близка».

Как-то пришел ко мне Апалай и отозвал в сторонку. Вид у него был встревоженный, подавленный. Даже не балагурил, по обыкновению. Я был поражен: «Что это с ним?» А он сидел, сидел и вдруг выпалил:

– Арестуют тебя!

– Как? За что? – воскликнул я в испуге.

И он поведал мне весть «узун-кулака» – «длинного уха» – людской молвы. По указке аксакалов Тайшикара на допросе заявил, что бандой руководил якобы я. По их словам получалось, что я последний год провел не на гражданской войне, а в какой-то банде и даже был ее главарем. Аксакалы подтвердили это письменно и отправили свой приговор в суд.

– И осталось теперь только арестовать тебя, – вздохнул Апалай.

Не раз попадал я во всякие переделки, но в такой, пожалуй, еще ни разу не был. Вот это подсекли так подсекли! Самое скверное было то, что я не знал, где находятся мои боевые друзья. Даже о Даукаре не было никаких вестей. В ту же ночь приехала за мной милиция и увезла меня в город. Так неожиданно-негаданно очутился я в губернской тюрьме.

...Через какое-то время привели меня к следователю. Смотрю: за столом сидит подтянутый, скромно одетый казах и перебирает бумаги. Меня усадили напротив. Настроение у меня, понятно, паршивое. Сплошной ералаш в голове. В теплой комнате следователя я отогрелся, меня разморило, и все стало мне безразличным. Только поднял голову я – вижу, следователь в упор смотрит на меня. Я поспешно отвел глаза и даже голову опустил. Но что-то непонятное всколыхнулось вдруг в груди, и я взглянул на него. Ойпырмай! Случается же такое!

– Амиржан! – воскликнул следователь.

– Мекапар! – бросился я к нему.

Это был наш командир в девятнадцатом году. После того как он отвез меня в больницу, мы не виделись.

Ну, конечно, меня сразу же выпустили из тюрьмы, а Утебая и его сообщников так же сразу и посадили. Это был первый ощутимый удар по врагу. С этого момента

и я как-то выпрямился, будто нашел себя. А тут еще и Даукара вернулся. На войне он стал членом партии. Под его руководством вступили в партию тогда я и соседи Ташен, Избасар, Алданап... А несколько позже мы с Рабигой и поженились...

Амиржан вздохнул и опять оборвал свой рассказ. Сидели мы недалеко от столовой и видели всех, кто выходил и входил, и слышали все голоса. То и дело доносились до нас смех, шум, возгласы. В другое время все это, конечно, невольно привлекло бы мое внимание, но теперь – всецело увлеченный историей жизни Амиржана – я ни на что не обращал внимания, мне хотелось знать, чем же все кончилось. Мне уж было ясно, что главный стержень рассказа Амиржана, несомненно, – Рабига. Все, что до сих пор рассказывал о ней, лишь начало, предисловие. Но вот-вот он поведаст самое главное, откроет самую суть своей жизни. Однако он молчит, точно желает еще больше заинтриговать. Кажется, что его занимает сейчас что-то совсем другое. Он смотрит в другую сторону. Почтенный Конысбай сидит, о чем-то думает, безмолвно шевелит губами. Он и в самом деле больше отдыхает, чем работает топором. Время от времени поглядывает на нас, но встретится глазами с Амиржаном – и поспешно отвернется, начнет тукать по бревну. Вот, мол, – тружусь в поте лица. Торопливо подходит Рабига. Она озабочена. Дел у ней невпроворот, и видно, что она вся поглощена ими. Но иногда у нее становится совершенно растерянный, обескураженный вид. Кажется, она спрашивает себя: «А правильно ли я поступила? Так ли все сделала?!» – перебирает в уме все свои дела – и никак не может прийти к определенному выводу. Со стороны очень заметно, что в общественную работу она окунулась совсем недавно и опыта ей явно не хватает.

Почтенный Конысбай отложил топор, достал из-за голенища роговую табакерку-шакшу, хлопнул ею раза

два по колену, потом отсыпал на ладонь насыбаю. Все это он проделал медленно, обстоятельно, будто выполнял какую-нибудь важную работу. Он видел, конечно, как спешила к нему Рабига, и всем своим сосредоточенным обликом и действиями, казалось, говорил ей: «Подожди сношенька, не спеши. Разве не видишь, что я закладываю за губу насыбай?..» И хотя всем было ясно, что работал он лениво, кое-как, лишь подхлестываемый окриками, однако изображал он из себя человека смиренного, покладистого и, главное, увлеченного общественно-полезным трудом.

– Каин-ага! – начала Рабига.

– Говори, сношенька... я слушаю.

Амиржан намеревался было продолжить свой рассказ, но услышал голос жены (хотя, может быть, бывшей жены?), покосился на нее, опустил голову и еще сильнее нахмурился. Казалось, и сама Рабига, и ее слова только раздражали его. Меня, это, помню, очень удивило. Рабига – если смотреть со стороны – совсем не похожа на женщину, способную на что-нибудь дурное. Ни внешне, ни поступками она ничем не выделяется среди обыкновенных аульных женщин. Такая же, как и все. Правда, она ответственный работник, руководит важным участком колхоза...

Закончив свои дела с Конысбаем, Рабига направилась к нам. Теперь она не спешила, как всегда, а шла спокойно, степенно, словно каждый шаг считала. Лицо ее стало печальным, задумчивым. И опять я глядел то на нее, то на него и ждал, что-то сейчас непременно произойдет. Голова Амиржана склонилась еще ниже, пальцы начали нервно рвать траву. На лице тревога, смятение, досада и раздражение – все это вместе.

Рабига подошла, неожиданно улыбнулась:

– Все еще сидите?

– Да вот беседуем.

– Пойдемте к нам... Чаем угощу.

– А что, Амиржан? Пойдем, пожалуй?... – спросил я.

Он бледнеет, хмурится, отмахивается:

– Нет... Вы идите, а я... мне по одному делу еще надо...

– Э, как же?... Вы ведь еще не все рассказали...

– Как-нибудь в другой раз... в другом месте.

Улыбка на лице Рабиги сменяется грустью. Она смотрит на Амиржана, будто хочет сказать: «Мог бы перед чужим человеком и скрыть нашу ссору». Потом говорит сдержанно, суховато:

– Меня напрасно смущаешься. Можешь и при мне рассказывать. Лишь бы не врал...

Чувствуя поддержку Рабиги, я начинаю настойчивей уговаривать Амиржана. Он продолжает дуться, хмуриться, но все же поднимается и идет с нами, однако заходит с другой стороны, только чтоб не идти рядом с Рабигой. От растерянности или досады он не знает, куда девать руки: то прячет их за спину, то сует за пояс, то упирает в бока. Рабига молчит и улыбается. Ей хорошо знакомы все повадки Амиржана. Она, должно быть, даже догадывается, что сейчас происходит в его душе.

Подходит длиннолицая, бледная женщина, стыдливо вытирая кончиком жаулыка глаза, и тихо зовет:

– Рабига, подойди сюда...

И, отведя ее в сторонку, начинает что-то быстро шептать, будто боится, что не успеет все высказать. А рассказать, по-видимому, нужно о многом. Говоря, она взмахивает руками, и не трудно догадаться – что-то ее взволновало, возмутило, оскорбило до глубины души.

– Э, ладно. Пойдемте, – говорит Амиржан, вздыхая, и объясняет мне: – Это тоже одна из тех, что не ладит с мужем.

И, отойдя на значительное расстояние, с откровенной неприязнью он косится то на жалобщицу, то на Рабигу, однако видно, что яснее высказать свое осуждение не решается.

– Как же так? Разве сейчас не самое время жить мужьям и женам в полном согласии и дружбе?

Амиржан становится еще грустнее:

– Кто знает, чья вина больше во всех этих историях...

– А чего тут не знать?.. Нужно сесть да спокойно поговорить, вот и выяснится, кто в чем виноват.

– Э, легко вам так говорить!.. Сначала муж упрямится: «Чего она выпендривается? Разве не муж я ей? Могла бы и уступить. Кто не оступает, кто не ошибается?» Это он так, а она свое думает: «А чем я хуже тебя? Унижаться я не стану! Равноправие». Вот так и ходят, как неприкаянные...

Амиржан опять вздыхает.

...В левом углу маленького домика-полуземлянки стоит деревянная кровать. Рядом два сундука. В комнате все прибрано, чисто, уютно и опрятно. Амиржан ведет себя не как хозяин дома, располагается не возле кровати, а топчется у порога, потом смущенно опускается в углу стенки, будто не у себя он дома, а в гостях.

Рабига, приветливая, спокойная, как гостеприимная хозяйка, начинает готовить чай. Амиржан подавленно молчит. Тишина угнетает. Я пытаюсь затеять разговор.

– Интересно все-таки у вас получается...

– О чем вы?– оборачивается Рабига.

– Да все о вас же... о вашей с Амиржаном жизни.

– Он что, вам что-нибудь говорил?

– Да только начал было...

– А-а... Тогда пусть уж расскажет все, послушайте. Потом выясним, кто зачинщик, – с печалью замечает Рабига.

– Дети у вас есть?

– Есть один сорванец... Видно, в отца пошел. Такой же строптивый.

Рабига с усмешкой косится на Амиржана.

Между делом, незаметно, она и мужа подключила к работе: заставила резать лепешку, колоть сахар. Чувствуется, что она отнюдь не злится на него, не пытается его задеть, а наоборот, хочет развеять его хмури и обиду. Но Амиржан же неумолим. Он еще больше нахохлился. Да в чем же причина их неурядиц?!

– Ну, рассказывай. Пусть человек послушает. И мне будет интересно... – сказала Рабига.

Амиржан насупился. Казалось, теперь клещами слова из него не вытащишь. И однако же вдруг заговорил сам.

– С двадцать второго года я возглавлял то аульный совет, то артель бедноты. На партию обижаться не могу. Немало она возилась со мной, воспитала, человеком сделала... Я сам во всем виноват. Уж больно ленив был в учебе. До сих пор остался малограмотным. Вот этот товарищ, – он кивнул на жену, – куда грамотней. Книгу читает – не запинается. А я пока одолею страничку – весь потом обольюсь...

– Пеняй на себя. Буквы ты раньше меня выучил, – заметила Рабига.

– А я что, тебя виню?! – вскинулся сразу Амиржан.

Рабига промолчала, только лицом потемнела. Видно, ей было стыдно за вспышку мужа. Несомненно, она могла бы оборвать его и даже обругать, но она видно избегала ссоры при постороннем человеке. Только глянула на Амиржана так, что я понял: «Благовари гостя, не то – я бы тебе сейчас ответила!» – и принялась разливать чай.

– Меня подвел мой характер, – продолжал с грустью Амиржан. – Несдержан я. Гневлив. Взрываюсь по всякому пустяку. Однако со своего пути никогда не сворачивал. Могу даже похвалиться, никто никогда не сказал мне: «Слабак» или «Вот тут ты смалодушничал». Ради дела не признавал я ни родства, ни знакомства. Был прям. Близких и родных

не щадил. Об одном заботился: стать верным надежным сыном партии.

Приверженцы «доброй старины» старались держаться от меня подальше. На пройдох я наводил страх и ужас. Аульные остряки давали мне разные клички: «Головорез», «Оторви да брось». А я не расстраивался, наоборот, я втайне гордился. Какой бы я был боец за новую жизнь, если классовый враг меня хвалит да почитает? Особенно развернулся я в двадцать седьмом году во время распределения земли. «Бедняки, батраки, выше голову! – кричал я. – Следуйте за мной!» Секретарем партячейки был тогда Апалай. Работали мы с ним бок о бок, всколыхнули, зажгли, повели за собой бедноту. Когда в двадцать восьмом году было объявлено о конфискации и раскулачивании баев, мы рьяно принялись за дело. Первым делом раскулачили Баймаганбета. Это был настоящий феодал, чины имел. А был у бая сын от младшей жены, Жарбол. И подал этот Жарбол прошение в комиссию. Дескать, так и так, я и моя мать находились под пятой Баймаганбета, терпели от него измывательства, и поэтому прошу отделить нас от байской семьи. Я был решительно против. «Что волк, что волчонок – все хищники, – сказал я. – Пощады не будет!» Не знаю, может, человек предчувствует беду, но мне все казалось, что нельзя Жарбола оставить здесь, ибо со временем обязательно он выкинет какую-нибудь подлость.

– А вы спросите его, какую он сам подлость выкинул? – усмехнулась было Рабига, но Амиржан сурово выставился на нее.

– Я прошу не перебивать меня, товарищ! Я не вам, этому человеку рассказываю!

– А мне что, послушать грех?

– Я этого не утверждаю, но вы ведь давно перестали прислушиваться к моим словам...

Рабига смутилась, побледнела, а потом вспыхнула и молча продолжала пить чай.

– Та-ак... О Жарболе, значит, я начал говорить... – Амиржан с досадой отвернулся от жены. – Секретарем волкома был тогда некий Аблан Сыздыков. Хвастун несусветный, трепач. Я терпеть его не мог. Да и внешне он был противен: раскоряченный, как жаба; косоглазый; когда говорил, на губах пена вскипала, плевался, брызгался. Одно название – партиец, а в делах и поступках его ничего партийного я так и не увидел. Любил в аулы выезжать, и при этом всегда останавливался, гостевал и ночевал у баев. Вокруг него ловкачи толпами увивались. Восхваляли его, кричали: «Ай да, Аблан!», «Вот истинно честная душа!» Его вмешательство в дела конфискации меня особенно возмущало. И совсем взорвало то, что он с помощью всякого отребья и жулья состряпал подложные документы, чтоб любой ценой выгородить Жарбола, отделить его от Баймаганбета. Вот тогда я и заупрямился. А Аблан мне сказал: «Горлопан ты!» Ну и я резанул ему: «А ты байский прихвостень! Правый уклонист! Червяк, что точит изнутри!» Честное слово, так и сказал – червяк! Вот Рабига сидит, она не даст соврать. Я вообще не люблю врать. Я обещал вам честно рассказать про свою жизнь, вот все и говорю как есть. Правда, Рабига? А? – обернулся он вдруг к жене.

– А я разве отрицаю? – буркнула Рабига, продолжая возиться с самоваром.

– Ну и хорошо, что не отрицаешь! С этого момента начались все мои несчастья. Почему я и делаю упор на этом случае. Но сначала об Аблане. В тот же день после нашей стычки он спешно уехал восвояси. Я понял, что теперь он будет мстить, но никак не думал, что ему удастся мне подставить такую здоровую подножку. Апалай смеялся: «Ох, и разозлил ты Сыздыкова!» А на другой день прискакал рассыльный из волости. Весь в поту. «Тебя срочно вызывают». Что ж? Я поехал. В волисполкоме сидел тогда Хасен Байдаулетов.

Грубоватый, резкий мужчина. Меня принял холодно. «Что, шайтан, – говорит, – в тебя вселился, что ли? Почему ты избиваешь батраков?!» Я от удивления чуть языка не лишился. «Товарищ Байдаулетов, – говорю, – да каких же это я батраков избивал?!» – «Смотри». Верьте не верьте, но заявлений и жалоб на меня – добрая кипа. Почерк на одной бумажке показался мне знакомым. Ба! Да это же Утебай настрочил. Его почерк – мелкий, аккуратный, буковка к буковке, точно мышинные следочки. Я его знал, он лет пять проваландался то ли в тюрьме, то ли в ссылке и совсем недавно вернулся в аул. Проживал в соседнем аулсовете. Значит, все жулики опять снюхались и объединились, чтобы на этот раз расквитаться со мной. Откуда же они взяли, что я избил батраков? Дело было так. Некий Кумисбай, самый вредный и вздорный среди племени двуногих, спрятал где-то драгоценности Баймаганбета. Спрятал и отрекается. Вызвал я его тогда один на один, начал упрасивать, умолять, а потом и угрожать стал. Еле-еле, подлец, признался. Позже Баймаганбет его и припер: «Как же это ты меня так подвел?». Ну, этот вредина Кумисбай и сказал ему: «Он угрожал меня убить, и я со страху все рассказал...» Вот и пустили эти псы сплетню, что я, якобы, избиваю батраков... Рассказал я Байдаулетову все, как было, он, однако, не поверил. Говорит мне: «Но ты больно круто берешь, надо помягче. Жарбола не трогай. Что он нам сделает? Пусть остается, потом видно будет...» Таким образом. Жарбол и избежал конфискации. Все же потом, в тридцатом году, я его упек в тюрьму. Он как раз женился тогда. Осталась его молодуха в ауле. Одна...

И Амиржан неожиданно замолчал. Разливая чай, Рабига пристально посмотрела на него, и я прочел ее взгляд: «Ну, что ж ты прикусил язык? Говори и об этом!» Амиржан явно избегал ее требовательного взгляда. Видно, его одолевали сомнения. Все, о чем он намеревался поведать, звучало как обычная жалоба на

жену, а то, что он скрывал, как раз разоблачало его самого. И, подумав некоторое время, Амиржан сказал:

– Нет, ничего скрывать не стану! Ничего не утаю... Так вот, слушайте дальше... В ауле Баймаганбета был некий Медеш. Из середняков. Познакомился с ним во время конфискации. Весельчак, остро слов, ловкач. Словом, компанейский джигит. Любое поручение дай – исполнит с блеском. Поразительно, как просто ему все удавалось. В то время мы считали его одним из лучших наших активистов. Приезжая в аул Баймаганбета, я каждый раз останавливался у него. Иногда выпадало свободное время, и тогда Медеш забавлял меня разными рассказами и соблазнами... Ну что говорить, там, где водка, – жди беду. Из-за нее, проклятой, я и споткнулся. В те годы пьянство превратилось в сущее бедствие. Ни в одном доме ни одно застолье без водки не обходилось. Вначале я еще всячески отказывался, увертывался... Однако разве удержишься? Ведь пристают, уговаривают. При каждой встрече с Медешем пьем. В первое время пили вдвоем. Потом дружки появились. Это были просто знакомые, но после того как стали пить вместе, начали и по гостям ходить вместе. Приходишь в дом дружка, а там у него, конечно, уже свои дружки. Ну, и пошло. Дальше – больше. Вскоре я и не заметил, как почти все в байском ауле стали моими собутыльниками. За пьянством и кое-что другое последовало. В общем, женщины появились. Куда бы ни пришли, сидят дветри девицы или молодки. Я-то думал вначале: собрались на игрища, ну, песни попеть, на домбре поиграть. А оказалось, нет – вон для каких игр они здесь...

Рабига вся напряглась, побледнела и впилась глазами в Амиржана. Тот потупился и поспешно схватился за чашку с остывшим чаем.

– М-м... Вон, оказывается, с чего все началось... – глухо заметила Рабига.

– Нет, неправда! – горячо воскликнул Амиржан. – Ты только не торопись. Ты выслушай сначала все... Помнишь, кто-то написал в ячейку о том, что я в попойках участвую. Моя вина, конечно, в том, что я скрыл это от партии. Не знаю, то ли струсил, то ли стыдно было, но сплеховал, обманул товарищей, против совести пошел. Спросили у Медеша, но тот разве правду скажет? Конечно, он напрочь все отрицал. На этом все тогда и кончилось. Как раз в это время Рабига надумала в партию вступить. Я об этом никогда никому не говорил, но теперь в ее присутствии скажу. Однажды перед сном она мне неожиданно заявила: «А что, если я в партию вступлю?» Я ответил: «Ну и правильно. Только, по-моему, сначала грамотой овладей. Работа ведь в партии нелегкая». Признайся, Рабига, так я сказал тогда? Я эти свои слова точно помню. Разве я не желал, чтоб она была партийной? Но я хотел, чтобы она своей собственной рукой написала заявление. Возможно, я ошибался, может, не надо было так говорить, но тогда я именно так подумал и так ответил. Спустя, кажется, два дня состоялось заседание бюро. На заседание пришла и Рабига. Я как-то даже не придавал этому значения. И вдруг Апалай зачитывает ее заявление о приеме. Я от удивления глаза вытаращил. Холодок к сердцу подкатил. «Что это значит? – подумал я с неприязнью. – Почему она от меня скрыла? Разве я был против? Я ведь просто дал совет. Если бы она настояла, я бы сам охотно и заявление написал, и расписался бы за нее. Зачем ей понадобилось за моей спиной что-то делать?!» Я был озадачен. Женились мы по любви, немало трудностей и лишений перенесли вместе, никаких обид или недоразумений между нами не бывало. Я ведь любил ее... И вдруг такое! Появилось недоверие, это к хорошему не приведет. Так обиделся в тот раз, что, когда поставили ее заявление на голосование, я воздержался...

– Разве так поступают коммунисты? – резко перебила его Рабига.

– Я себя не оправдываю. Но ты дай мне сначала договорить. Вот тут-то и закрутило меня окончательно. Мне почему-то показалось, что я нашел ответ на все свои сомнения и невезения. Я решил, что Рабига давно уже охладела ко мне, отстранилась от меня, почти не разговаривает. Если я смеюсь – она не смеется, если я печалюсь – она не печалится. А тут еще приезжий учитель затеял какой-то концерт. И Рабига приняла в нем участие. Я тогда по аулам день и ночь мотался, промерз, устал. Горячее было время: мы, активисты, сутками не спали. Помимо прочего меня вконец вымотала еще верховая езда. Холода – жуткие. Шуба – точно ледяной панцирь. Приехал, значит, домой, опустился возле печки, Рабиге говорю: «Раздень меня». Просто хотелось внимания, ласки, что ли. А она только буркнула: «Сам раздевайся! Не маленький!» И даже презрительно отвернулась.

– И тогда ты стал мне мстить? Здорово! – усмехнулась Рабига.

– Да не мстил я тебе вовсе. Не мстил. Я просто рассказываю, что было. Да... Промолчал я и на этот раз. Разделся, сел ближе к печке. Что она делает – не знаю, она ко мне не подходит. «Что же случилось? – все более мрачняя, подумал я. – Раньше, когда я приезжал домой, она вокруг меня увивалась, улыбалась, радовалась. А теперь?..» Однако молчу, креплюсь. Потом зашла жена Апалай. Начала по привычке шутить со мной. «А, приехал? Живой-здоровый? Всех молодых и девок взял небось на учет? Всех проверил?» Ну, и я так же шутливо ответил. У нас это было принято. Сижу, жду... Никакой вины за собой не чувствую. А чая все нет и нет. «Апырмай, как же так? Почему она чай не сготовит?» Жду, на дверь смотрю. А Рабига как ушла, так все нет ее и нет. Вот уже и вечер наступил. Пора уже в постель. И тут вдруг заявляется Рабига. Нервы

мои взвинчены, я весь клокочу. «Откуда ты?» – «А тебе какое дело?!» И эдак нехорошо, раздраженно ответила. А ну, попробуй тут сдержись! Так я расสวิрепел, что захотелось мне ее отругать, да отдубасить хорошенько. Однако ни того ни другого не сделал, сдержался, промолчал, застыл... Только губу до крови закусил.

Через некоторое время она все-таки чай сготовила. И тут я дал волю своему гневу. Сдернул дастархан вместе с посудой, все полетело на пол. Конечно, она могла бы и промолчать – ведь такое случилось у нас впервые. Но она как вскочит! «А-а... – кричит, – нажрался! Накормили и напоили!» С того дня и пошло все у нас шиворот-навыворот. И покатился я под откос уж без остановки...

– Так в том, что дальше было, тоже я виновата?! – От возмущения Рабига даже поставила чашку на стол.

– Апырмай! Ну вот и поговори тут! – поморщился досадливо Амиржан. – Хотел же я вам все рассказать наедине, так нет...

В сердцах он отогнул краешек дастархана, отодвинулся к стенке и повернулся на бок с видом глубоко обиженного человека.

В который раз оборвалась повесть его жизни. Вечерело, от полуземлянки лежала длинная тень на земле, сквозь нижние решетки струилась прохлада. Между юртами похаживало несколько коров. Крикливые женские голоса напоминали вечерний азан муллы, созывавшего некогда правоверных к молитве. Над земляными печками вился густой дым, похожий на ключья верблюжьей шерсти. Женщины скребли казаны. Аул оживал. Все вернулись с работы, все ходят, толкуются взад и вперед, смех, шутки, голоса взрослых и детей, мужчин и женщин. Прислушиваюсь, невольно задумываюсь. На мгновение перед мысленным взором проходят привычные картины старого аула. Станные мысли вдруг начинают тревожить меня. «Как так? Где это

я нахожусь?..» Но в это время где-то рядом раздался голос, и он мгновенно возвратил меня к действительности.

– Эй, Кумис! Ты была у счетовода? Сколько у тебя трудодней?

– Уже свыше двухсот!

– О, тогда можешь отхватить лучшего джигита!

Это молодая тетушка шутит с девушкой-невестой.

Украдкой смотрю на Рабигу; она тоже улыбается. Хотя старое еще назойливо путается под ногами. Но напор новой жизни так стремителен, что победа ее не вызывает сомнения.

– А у вас сколько трудодней? – спрашиваю я.

Рабига искоса взглядывает на Амиржана:

– Двести пятьдесят!

Этот взгляд и эта улыбка, точно иголки, вонзаются в Амиржана.

– А у тебя?

Он опускает голову, мрачно молчит. Потом, точно очнувшись, резко поворачивается к Рабиге, сверлит ее глазами.

С вызовом отрезает:

– У меня? Нет у меня никаких трудодней!

– Как же так получилось?

Амиржан молчит, он, кажется, даже и не слышит меня. Лишь изредка исподлобья взглядывает на Рабигу. Очень многое заключено в этом взгляде. Нынче в колхозе дела пошли на лад. Такие, как Рабига, получают на трудодни солидный доход. Вот уже месяцев семь, как супруги повздорили, и за это время Рабига ни разу никому не пожаловалась, даже мужу слова плохого не сказала. Ее, кажется, вовсе не заботило отсутствие мужа-кормильца, мужа-опоры. Наоборот, с каждым днем она чувствовала себя все увереннее и самостоятельнее. Амиржану чудилось, что она даже и нечасто вспоминала, что у нее есть муж. Конечно, именно это и задевало его больше всего. Курносый, чернявый бутуз вбежал в юрту и удивленно застыл у порога.

– Ну, проходи, зрачок мой! Присядь, чай попей! – позвала его Рабига.

Но бутуз как будто и не слышит ласковых слов матери. Он недоуменно таращит глазенки на Амиржана. Тот поманил его пальцем, мальчонка раза два покосился на мать и засеменял к отцу. Рабига просветлела, заулыбалась. И Амиржан, прижимая к себе малыша, тоже повеселел, мигом забыл про обиду и раздражение, снова подсел к дастархану:

– Налей-ка чаю Белжану...

Рабига с готовностью подала чашку.

– А теперь подкинь-ка нам сахарку.

Чернявый малыш, казалось, в одно мгновение помирил супругов, будто напомнил им, что они его родители, муж и жена.

– Как назвали сына? Белжаном?

– Вообще-то Вилжан. Составили из первых букв Владимир Ильич Ленин. По-казахски Белжан получается. Хотели, чтобы он твердо шел по пути своего дедушки.

Амиржан горделиво вскинул голову, довольно улыбнулся.

– Ты со злости, кажется, и чаю толком не попил, – смеясь, заметила Рабига. – Может, налить?

– Э, давай, налей! – Амиржан лихо хлопнул шапкой об пол, решительно придвинулся к дастархану...

После крепкого чая Амиржан пришел в доброе расположение духа. Теперь он сам вернулся к прерванному рассказу:

– Пожалуй, оставлю в стороне разные бабьи пересуды и закончу свою исповедь. Пусть она, – он кивнул на Рабигу, – успокоится. Все вам выложу при ней. Впервые об этом рассказываю. Да-а... После того как я поссорился с Рабигой, долго не мог прийти в себя. Злой ходил, мрачный. Весь свет и себя ненавидел. А тут как раз прикатил уполномоченный, все тот же ненавистный Сыздыков. Ну я вовсе взбесился! Он, конечно,

сразу понял мое состояние и отправил меня в аул Баймаганбета. А там завал, планы не выполняются. Все уполномоченные, кого посылали, возвратились с выговорами. Сыздыков, ясно, назло туда меня пихнул. Однако я возражать не стал. Поехал. Стояли трескучие морозы. Пока доехал – насквозь промерз. «Может, согреешься?» – спросил Медеш. «Давай!» Выпили. Потом еще. Ну, и пошла пьянка... Вижу, какие-то молодки возле нас крутятся. Одна из них, светлолицая, смазливая, на меня все поглядывает, похихикивает. То папиросу подаст, то спичку поднесет. Лицо вроде бы знакомое. Силился вспомнить: «Где я ее видел?» В глазах между тем все уже зыбится, плывет... А молодка глазки строит, завлекает, заигрывает, шутки шутит. Я вообще не охотник до игр и шуток. А тут разболтался, язык распустил... Э, что говорить... Потом, когда отрезвел, узнал: оказалось – молодая жена Жарбола, которого я упек в тюрьму. Тьфу, с... сука!..

– М... м... Признался, наконец? – скривилась Рабига.

– Нет, не думай. Ничему не верь, а этому – поверь. Ничего между нами не было. Честно! Но было, не было – все равно. Я сразу понял: тучи сгущаются надо мной. На другой день отправился в колхоз «Алгабас». Посмотрел и увидел – ни о каком плане и речи не может быть. Колхозом заправляют ловкачи и пройдохи. На каждом шагу нелепые слухи, сплетни. Я хорошо знаю жизнь аула. Людей нужно постоянно направлять, учить, воспитывать. Иначе любое дело задохнется. А мы вместо этого по указке районных работников перешли на окрик, на командование, превышение власти. Район дает план – скажем, тысячу центнеров. А мы берем встречное обязательство – две тысячи центнеров. А потом за голову хватаемся, откуда столько взять?! Правда, лично я в таком не виноват. Бедняков и середняков непосильным налогом не облагал. Но только легче мне от этого не было. Если любыми средствами надо выполнить план, то

начинаешь с утра до вечера проводить собрания, кричать до хрипоты, до изнеможения, никому не верить. Таким образом, и я прослыл перегибщиком. Людям ведь нет дела до того, что это район от меня требует. Не станешь же каждому объяснять, что в районе сидит такая вредина, как Сыздыков! Прислушался я однажды к сплетням-кривотолкам и похолодел. Боже, чего только не болтали в аулах! Будто в колхозе «Береке» уполномоченный загнал и запер колхозников в холодный сарай, будто одного бедняка избил до полусмерти. Колхоз этот находился в аулах Баймаганбета. Уполномоченным там был аульный учитель – красноносый, гладкорожий, крикливый, а если рассердится, то и просто сумасшедший. «Вот пес! Все погубил!» – подумал я и сломя голову примчался туда, а там уже учителя нет – Сыздыков орудует. Сразу почуял я недоброе. «Ну, – думаю про себя, – пришел тебе конец, сын Кусебая». Так оно и вышло. По материалам Сыздыкова получилось, что это я и батраков-бедняков загонял в холодный сарай, и девок-молодок насиловал. В каких только грехах не обвинили меня! Дело мое рассмотрели на ячейке. Одни предлагали объявить строгий выговор, другие настаивали на исключении. За это, конечно, особенно ратовал Сыздыков. В числе тех, кто голосовал за исключение, была Рабига... Ни слова я ей не сказал, но как увидел, что и она тянет руку, сердце у меня будто оледенело. «Ладно, другие – куда ни шло, но она, жена, – разве она не знает меня? Ну, оступился я, ошибся, сплеховал... Так разве жена – не самый первый, верный друг? Вместо того, чтобы напрасно злиться на меня, поддержала бы, помогла бы советом. Почему она не защищает меня от злых наветов?..» Так я думал, и белый свет мне был не мил. После этого мы перестали друг с другом разговаривать. Вот так и живем до сих пор. Не вместе, не врозь, не чужие, не близкие...

– Вот и вся моя жизнь, – закончил Амиржан после долгой паузы и вздохнул. – Недавно в крайком съездил, заявление подал. Даукару перевели в этот колхоз тоже недавно. Я, конечно, обрадовался. С его приездом надежда появилась. Друг детства ведь. Он и спросит с меня, и поддержит. Где не прав – в лицо скажет. Так и получилось. Он дал мне коня и отправил в край решить свои дела. Но только если беда тебя раз окрутила, то так просто она не оставит. Там, в городе, кто-то увел моего коня прямо с привязи, и домой я пришел пешком. Самое обидное, ведь никто не поверил в то, что коня украли. «Пропил!» – вот и весь разговор. И опять Рабига за меня не заступилась. Знала, что ложь, а ни словом не обмолвилась. А еще член правления!..

– А почему я должна была за тебя заступиться? – слабо возразила Рабига.

– Что, и теперь еще не убедились? Вора-то нашли!

Рабига промолчала. Маленький Белжан, видя, как расстроен отец, начал ласкаться к нему, гладить его по щекам, теревить бороду. Амиржан умолк. Сумерки сгущались. Сумрачно стало и в маленьком домике-полуземлянке. Уже нельзя было различить лица людей, сидевших за дастарханом. Однако нетрудно было догадаться, что творилось в душе каждого.

Широким, энергичным шагом подошел кто-то к дому и остановился в недоумении у открытой двери.

– Эй, Рабига! Чего в темноте сидите? Зажги лампу!

Вошел Даукара, сел рядом с хозяйкой, искоса взглянул на Амиржана. Чувствовалось, что он был возбужден, что у него какая-то радость, которую он с трудом скрывает.

– Белжан-ау, Белжан! Ты почему отца своего не отругаешь как следует? Проучить надо отца-то. А то совсем от рук отбился, – сказал он посмеиваясь.

– Да, только еще Белжану и осталось меня выругать, – криво усмехнулся Амиржан.

На этом исповедь Амиржана кончилась. Казалось, больше нечего было рассказывать. Но разговор неожиданно продолжил Даукара. Повернувшись к Рабиге, он сказал:

– В третьей бригаде работа совсем разладилась. Надо заменить бригадира.

– А кого думаешь поставить?

Даукара немного подумал:

– Амиржана!

Стало тихо. Амиржан будто опешил. Долго и озадаченно смотрел он на Даукару.

– Это кто же сказал, что я могу быть бригадиром? – спросил он.

– Хм, кто сказал... Я вот говорю, Рабига говорит. Не забывай, дорогой, что ты член партии! Поезжай в район и получай свой билет.

От неожиданности Амиржан еще ниже опустил голову и плечи. Рабига взглядывала то на мужа, то на Даукару. Наконец негромко спросила:

– Выходит, заявление его рассмотрели?

– Да. Рассмотрели и решили восстановить в партии.

Малыш с тревогой вытаращил глазенки на отца, потом – на мать. Ему стало вдруг страшно: по щекам отца катились слезы.

– На, зрачок мой Белжан, подай отцу платок, – сказала Рабига.

И я понял – эта минута показалась Амиржану, может быть, самым великим перевалом в его жизни. Он понял, что всем его бедам и сомнениям пришел конец, что он вновь обрел самое святое в жизни – честь члена партии, что отныне он опять будет вместе с самыми верными и близкими друзьями.

– Ну, так что, Амиржан, будешь работать бригадиром? – спросил Даукара.

– Спрашиваешь еще!

И тут лицо Рабиги осветила счастливая улыбка.

БЕРЕН

У оврага этого длинное и причудливое название. Он один из множества разветвленных, как кровеносная система, степных буераков, которые чем дальше идут, тем круче становятся, пока наконец не сливаются в одну огромную, причудливую по форме продолговатую яму. Вот это и есть «Сай, где погиб черный пес».

На дне оврага течет ручей. Правда, не такой, чтобы в нем могла потонуть собака. Самый обыкновенный ручей, прозрачный, сонный, пробивший заросшее камышами извилистое ложе, очень похожее на тропинку, по которой бредут с выпаса коровы. На одном берегу, насколько хватает глаз, зияют похожие на провалившиеся волчьи логова ямины с размытыми, выщербленными краями и редким, как щетина на безбородом лице, ковылем. Это следы землянок. Вокруг некоторых из них еще стоят осевшие дувалы. Они длинные, извилистые, видно, хозяевам хотелось захватить как можно больше вольной земли на берегу оврага, и потому, не ленись, они огородили вокруг своего дома огромное пространство. Всякий путник, поднявшись на косогор и видя это старое, заброшенное зимовье, невольно спросит себя: «Кто же здесь хозяйничал когда-то? Почему захватил столько земли? И кто он, и где теперь?» Верно, каждый, кто видит эти одинокие деревья, словно подгибающиеся под тяжестью бесчисленных вороньих гнезд, эти прогнившие стены тянувшихся некогда длинным рядом сараюшек и разных пристроек с провалившимися крышами, теперь напоминающих

заброшен-ные могилы, всю эту неприглядную картину запустения, полюбопытствует: «Может, владелец зимовья находится теперь среди тех, кто проклял ненавистное прошлое и теперь сообща с другими строит новый быт? Или он из тех, из бывших, из всесильных и чванливых владык, кто играючи распоряжался судьбами тысяч неведомых и безымянных рабов и слуг – этой черни в лохмотьях и в рубище, в струпьях и в мозолях, которая, взбунтовавшись, перетряхнула, переворошила, перевернула старый мир и вышвырнула его вон, как мусор, как ненужный хлам?» Кто знает... Одно ясно: зимовье заброшено. Хозяин исчез. Это жуткое, запущенное, дикое место – царство комаров, оводов и слепней. Стоит только подойти к оврагу, как они тучей обрушиваются на тебя, исступленно жужжа: «Не тревож-ж-жь... 3-з-згинь... Исчез-з-ни...» Черные вороны мрачно восседают на ветвях; они каркают мерзко и протяжно: «Прова-ливай... Пр-р-ро-ва-а-алива-а-ай!...», и, вторя им, ошалело мечутся с куста на куст курая крикливые, заполошенные сороки: «Прочь! Прочь! Прочь!...»

...Был жаркий день. Солнце, поднимаясь все выше, начинало палить; ветер тоже, как назло, затаил дыхание, и путники обливались потом, облизывали сухие губы, а кони их шли усталой рысцой, изнывая от жары и жажды. Именно в эту неуютную пору к оврагам «где погиб черный пес» подкатила бричка, запряженная парой лошадей. Лошади были в теле. Коренник, гнедой, видать, был хорошо обьезженным конем: спускаясь по крутому склону в овраг, он упирался в землю копытами, тормозил, приседал на задние ноги. Зато пристяжная, темно-рыжая, молодая и горячая лошадка, пугливо косилась на кусты вдоль дороги, на заросли камышей, прядала ушами, рвала постромку. Возница, чернолицый, с глубоко посаженными глазами, крепко натянув вожжи, уговаривал ее:

– Но, но, но!.. Не дури... Не дури!..

На бричке сидели двое: пожилой, черный возница, по имени Кайролда, и молодой, смуглый, рябой джигит в белой шелковой сорочке, серых суконных брюках, в шляпе, с черными усиками мушкой – Курумбай.

Путники спустились в овраг и остановили лошадей. Предстояло еще переехать через промоину с ручьем. Течение было тихое, спокойное, журчащее. Слепни тут же с остервенением набросились на лошадей и облепили их со всех сторон. Пристяжная сразу словно ошалела, на нее как будто нападала вертячка, она уже не слушала окриков возницы, вырывалась, брыкалась, глаза у нее вышли из орбит. Кайролда спрыгнул с брички, взял темно-рыжую под уздцы.

– Апырмай! Совсем, что ли, обезумела!..

Курумбай тоже слез, подошел к гнедому. Коренник, яростно отмахиваясь от слепней, задел мордой чистую сорочку Курумбая, и возница закричал:

– Ойбай, дорогой, не подходи... Отойди, говорю. Измазюкает он тебя, измазюкает!..

Курумбай весело улыбнулся и похлопал гнедого по бокам. Конь все же успел облизнуть его сорочку. Кайролде пришлось пучком травы стирать хлопья слюны с его шелковой сорочки, желтоватые пятна сошли, остались зеленые.

– Курумбай! А, Курумбай, – спросил возница, – значит, агрономом стал, а?

– А? Я, что ли?.. Да, агрономом.

– И теперь у нас останешься?

– А? Я, что ли?..

Пристяжная норовила подняться на дыбы. С ней уже невозможно было сладить. На дне оврага виднелись следы колес, однако ехать тут было рискованно. Пристяжная могла понести и разбить бричку, и поползли бы слухи: не успел агроном в колхоз приехать, как уже телегу сломал.

– Кайролда-ага, вы поищите удобный брод, а я вас подожду на том берегу.

Кайролда сразу же свернул в сторону, поехал вдоль промоины. Курумбай остался на месте. Встреча с родным краем после долгой разлуки взволновала его, захлестнула воспоминаниями, он старался осмыслить все, что видел и слышал со вчерашнего дня... Ведь он был еще так молод.

В аул у поймы реки Курумбай прибыл еще до обеда. Здесь работала бригада Тансыка. Только одни юнцы и молодки. Курумбая они, конечно, сразу не узнали, но смутно догадывались, кто он, и окружили его. Уехал Курумбай из аула давно, за это время мальчишки успели превратиться в джигитов. Шесть лет – не малый срок.

– Ура! Куруке приехал! – крикнул кто-то.

Молодежь мигом собралась, выстроилась в ряд, шумно захлопала в ладоши. Новые времена – новые манеры. Интересно, непривычно! Все так искренне обрадовались ему, у парней и молодок так заискрились глаза, что Курумбай даже опешил. Он растерялся, не зная, что сказать или сделать.

Потом члены бригады стали работать. Большеглазый, смуглый джигит накинуд фартук, облил водой точильный камень и принялся точить зубья сенокосилки. Работая, он мурлыкал незатейливую песенку:

Ярко озарился солнцем небосвод.
Трудодни подсчитывает счетовод.
Что любимая не первая в работе,
Какой злодей осмелился дать сплетне ход?!

Слова были новыми. И мотив тоже был незнакомый. Песня звучала в такт движениям джигита. Работал он сноровисто, легко, а пел все громче и громче. Из юрты вышла молодая женщина и недовольно покосилась на веселого точильщика.

– Перестань. Ведь мы занимаемся.

Точильщик улыбнулся, но петь не перестал. «Жжик-жжик!» – вторил песне шершавый брусок.

В юрте занималось человек десять.

Верткая, игривая девушка толкнула локтем сидевшего рядом парня:

– Довольно шептаться... Слушай!

Лет шесть тому назад такие девушки сбивались стайкой в тени юрт, вели пустопорожние разговоры да вышивали разное тряпье, а сейчас вот... политзанятия.

Об этом подумал Курумбай, входя в юрту.

– Ага, когда же вы нам доклад прочтете? – спросила смазливая смуглянка.

– Доклад?... О чем?!

– О том, как вы учились... О новых достижениях науки...

Курумбай пристально взглянул на смуглянку и только теперь узнал ее. Это была сестренка учителя Абитая. Когда Курумбай уезжал на учебу, она была совсем еще девчушкой с распущенными волосами, самозабвенно игравшая в детские игры.

– Ты... уж не Умсындук ли ты?!

– Да, узнали, – улыбнулась смуглянка.

Курумбай сел в круг и заговорил. Для него это и в самом деле была самая обычная, задушевная беседа, однако колхозная молодежь слушала его, затаив дыхание.

Кто-то крикнул за юртой:

– Кайролда-ага кумыс везет!

Курумбай встрепенулся, спросил:

– Это... тот табунщик Кайролда?

– Он самый.

– Куда же он кумыс возит?

– Сюда. Кобылиц держат в степи, а нам привозят кумыс...

Вот здесь, на стане, и встретились Кайролда с Курумбаем. Обнялись. Табунщик расчувствовался, прослезился. Молодежь смеялась, но старик был искренне растроган. И вместо того, чтобы ехать в степь, к своему табуну, повез Курумбая в аул...

...С трудом сдерживая строптивую пристяжную, они нашли мель и благополучно переехали промоину. И тут Курумбая неожиданно пришла на память Берен.

«Апырмай, интересно, где она сейчас?.. Почему же я не спросил о ней сразу?.. Может, и она в этом колхозе?.. Или... или...»

Густые, тенистые деревья на склоне оврага манили Курумбая, но едва он вошел в самую гущу зарослей, окунулся в их спасительную прохладу, – услышал, что где-то рядом поют. Он поднял голову. Прислушался. Пели женщины, и где-то совсем близко. Приятная, нежная мелодия... звонкий, чистый смех. Курумбая невольно потянуло к этим голосам, он обошел дувал старого зимовья и увидел недалеко от него между колками белые дома... Знакомый уголок! Эти места живо напомнили ему иные картины невозвратного детства, навели на другие мысли, приятные и грустные. Курумбай точно плыл по травянистому лугу. За белым домом стояли неуклюжие зубастые лобогрейки, конные грабли; рядом дремали, плотно сбившись и положив на шею друг другу усталые головы, спутанные лошади. Но не только это привлекало его взор – он увидел и белые платки, и жаулыки, мелькавшие в траве на опушке березового колка. Тут же кружком лежали черные от загара девушки с толстыми, как колотушки, косами на спине. Все они сосредоточенно читали.

Несколько поодаль от женщин и девушек, в густой нетронутой траве сидела смуглая молодка и что-то писала. Но, видно, ей было неудобно писать так, держа тетрадь на коленях; она легла ничком, положила тетрадь на траву и аккуратно вывела: «В районный

комитет партии». Дул легкий ветерок, трава под ним шевелилась, щекотала лицо молодки. Она писала: «Я, Берен, дочь Жауке, давно и хорошо знаю Ергалия. Могу при необходимости обо всем чистосердечно рассказать».

Написав это, женщина тяжело вздохнула, положила карандаш на тетрадь и уронила голову в ладони. Сочная трава источала терпкий аромат, от него вольно дышала грудь, кружилась голова. Ковыль покачивался, щекотал лицо, шею женщины. Ей чудилось, что осталась она одна-одиошенька на этом травянистом лугу, на берегу оврага, под необъятным небом, похожим на гигантский голубой казан. Мысли ее витали, зыбились, текли, как степное марево, растекаясь по ветвистому древу памяти, и женщина то хмурилась, как ненастный день, то снова светлела, словно солнышко, выглянувшее из-за туч. Прошрое проплывало перед ее глазами... и было оно в самом деле как мираж.



Рослого, жилистого мужчину, сидевшего в тени, звали Жауке. Несуразно огромная, вся в заплатах и прорехах юрта – вот единственное наследство, доставшееся ему от отца Журумбая. Давно бы уже было тлеть этой юрте где-нибудь в степи на свалке, но благодаря стараниям и аккуратности тетушки Балдай, неутомимо нашивающей на ветхую кошму лоскуток за лоскутком, она все еще служила им надежной кровлей. Весной ее снимали и ставили подальше от глаз на краю аула, и так она стояла до глубокой осени, накренившись, словно по ней прошла льдина в половодье.

– Балдай! Эй, Балдай!.. Дратва готова?!

Со всех сторон волокут к нему, сапожнику, старую обувь. Но разве на этом что-нибудь зарабатываешь? И все равно: попробуй отказать! Одному за страх зарабатываешь, другому – за красивые глаза. Откажешь –

сразу пойдут разговоры. Зубастые бабы, вроде Рысбике, по всему аулу затараторят:

– Конечно, зачем мы ему?! Он только тех уважает, кого боится... Бродяжка несчастный! Тоже нос задирает...

А то еще и так скажут:

– Вон тому-то сразу же подшил сапожки... А мои отложил, поиздеваться надумал!

И можно подумать, что он всем действительно обязан чем-то. Иногда Жауке высказывает свое недовольство, начинает сердиться, тогда ему со злорадством напоминают старые прозвища: «Смутьян Жауке», «Забияка Жауке».

Только поднимется солнце на уровень плеча, а Жауке, расстелив старую шкуру в тени и прислонившись к бурой кошме юрты, уже принимается за работу. Рядом с ним черный неразлучный сундучок. Чего только в нем нет! Инструменты, клочки кожи, обрезки, обрывки дратвы, пучок сухожилий, сломанная игла. И все нужно. Все пригодится. Все строго на своем месте, всегда под рукой.

– Балдай! Эй, Балдай! Насучила дратву?..

К байской байбише Куляш приехала в гости сваха из Конура. Она уже немолода, но щеголиха, франтиха, и не в меру игрива. Увидев, в каких удобных сапожках на низком каблуке ходят женщины в байском ауле, сваха от восхищения шлепнула губами:

– Чудо-то какое! Кто их шьет!

Хвастливая байбише скосилась на сваху.

– Хочешь – прикажу сшить тебе такие же?

– Сделайте одолжение!..

Табунщик Кайролда, шатаясь, как пьяный, с красными, воспаленными от бессонницы глазами, пришел к Жауке. Пришел, присел. Пожаловался на жару. Пожаловался на мух, на строптивость гневной кобылицы, на которой – по очереди – пас табун ночью.

Пожаловался на то, что не выспался. И, изложив все свои обиды, он наконец сказал:

– Байбише за тобой прислала. Кумыс пить зовет.

Жауке, однако, не спешил. Цепкими, корявыми пальцами он с такой силой натянул кожу, что она едва не лопнула. И Кайролда сказал с досадой:

– Знаешь ведь, когда кумыс там пьют. Ну и пошел бы без приглашения!..

И этот намек Жауке понял: «Из-за тебя пришлось подниматься, вставать...»

Морщинистая бледнолицая старуха – это и была тетушка Балдай – вынесла старый узбекский чапан с отпоровшимися нашивками и березовый, суковатый посох. Одета она была очень бедно: на ней был латанный-перелатанный камзол, настолько выцветший, что спереди он казался белесым, а сзади – не то черным, не то бурым, не то голубоватым – а скорее всего, просто пестрым от множества разноцветных заплат. Но даже и эта ветошь досталась ей по наследству.

– Отец, уже за полдень перевалило. Сходи, попей кумыс.

Накинув на плечи узбекский чапан, опираясь на посох, отправился Жауке к баю Сержану. На одеялах в тени восседали бай и Абен-мулла. Бай распарился, взмок, он сидел важный, надутый и никого вокруг не замечал. Мулла, увидев Жауке, изобразил на своем лице елеиную улыбку. Жауке насупился, внутренне весь съежился. За глаза мулла называл Жауке безбожником и нечестивцем, но когда приближалась пора заказывать новые сапоги, он говорил иначе. «О, истинный правоверный... Безгрешный Жауке... – говорил он тогда. – О, святая душа. Да будет милостив к тебе создатель!» И сейчас вот...

– Проходи, Жауке. Проходи, дорогой!.. О безгрешный!.. О святой! – весь сиял, улыбался мулла. Улыбочка была, однако, кривая и более смахивала на ухмылку.

Но гости в тени юрты сидели плотно. Никто не подумал подвинуться, уступить место сапожнику. Да и Жауке не особенно хотелось торчать среди них, слушать их разговоры. Вон зашушукались, скривили презрительно губы. С края сидел рыжий, толсторожий Еркинбек, племянник бая Сержана. О его злых проделках говорила вся округа. Однако кто осмелится перечить байскому отродью? Вот он надулся, как сыч, и в упор разглядывает Жауке. Рядом с Еркинбеком – его холуй Ерекеш, чернолицый, верткий, с хитрыми, масляными глазами. Он что-то шепчет на ухо байскому племяннику и давится от смеха. Жауке круто повернулся, пошел прочь. Гнев и отвращение душили его.

– Жауке! – остановил его, насупясь, бай. – Ох, и норовист же ты, шайтан тебя возьми! Заходи-ка в юрту!

Жауке пошел к двери. И пока он не переступил порог, все пялили на него глаза.

– Ну и вид у этого кафира! – пробормотал Абен-мулла.

Жауке на мгновение остановился и так поглядел на муллу, словно хотел вцепиться в его жидкую сивую бородавку, но постоял и исчез за дверью.

Увидев сапожника, Куляш-байбише цыкнула на детей:

– Идите, идите отсюда!.. Когда приходит почтенный человек, дети не крутятся под ногами...

Жауке еще больше помрачнел, подумав: «Знаю, знаю, почему я вдруг стал почтенным».

Горделивая сваха, слегка привалившись бочком на подушку, бросала на Жауке игривые взгляды. Сапожник поднес ко рту чашу, но едва сделал глоток кумыса, как услышал слащаво-льстивый голосок байбише:

– Каин-ага, видите, к нам пожаловала очень уважаемая сваха... Она прогостит денька два... Будьте добры, сшейте ей вот из этой мягкой кожи хорошенькие сапожки. Пусть пощеголяет в своем ауле.

– Ах, это и есть тот самый человек?! – томно протянула сваха, постреливая глазами.

Жауке резко поглядел на нее в упор. «Положим, я... Ну и что из этого?» – говорил его взгляд, и сваха смутилась, потупилась. Однако улыбку с губ не согнала. Любопытно, о чем она сейчас думает?..

Когда гости разошлись, Жауке, держа под мышками сверток кожи, тоже вышел из байской юрты удрученный и сумрачный. После хмельного кумыса добрые люди сладко спят, а Жауке уселся на жесткую шкуру, придвинул к себе черный сундучок и принялся за работу.

– Балдай! Эй, Балдай!.. Чтоб ты провалилась, где жильные нитки?

Глядя на ловкие, быстрые пальцы Балдай, привычно сучившие сухожилия, невольно подумаешь: «Наверно, всю жизнь эта женщина только и занималась тем, что сучила для мужа дратву». Перебирая прочные жильные нитки, она исподлобья следила за выражением его лица и иногда – судя по его настроению – слегка задиралась.

– Отец, Беренжан все умоляет и умоляет... – говорила она. – Слышала я, еще мать Еркинбека ходит грозитя...

Жауке, подшивая подметки, уколол палец. Работай он с закрытыми глазами, с ним бы такого не случилось, если бы не Балдай. Вечно она лезет под руку со своими разговорами.

– Чтоб ты провалилась!.. Чтоб тебя прихлопнуло!.. Доведешь ты меня, старая...

– Ну, что ты, отец! – испугалась старуха. – Все злишься и злишься. Дочь-то не чужая ведь. Родная, кровная... Беренжан все умоляет и умоляет...

Она всхлипнула, по ее глубоким морщинам потекли слезы. И от этого Жауке снова – на этот раз до крови – наколол палец. Пришлось его перевязать.

– Что ж мне делать?.. Не нравится мне то, что она задумала. Где такое видано? – сказал он. – Не лежит к этому моя душа.

– Ой, отец! А мне по душе? Но ты ведь знаешь ее. Смеется только. «Отсталая ты, мама!» Вот и все... Озорница.

– Э, провались ты, Балдай! Где твоя дратва?..

Пришла, покачиваясь, с двумя ведрами воды Берен. Круглолицая, смуглая, раскрасневшаяся. Пока донесла ведра, запыхалась. Пришла и опустилась на колени возле матери.

– Апа! Слышь, апа. Курумбая сейчас встретила. В ауле у реки он был. На представлении. Очень, говорит, было интересно. Кто бая, кто муллу, говорит, изображал...

– А кто же это представление-то давал?

– Да комсомольцы, говорит... И девушки, говорит, среди них тоже есть.

Жауке опять вздохнул. Распрямил ноющую спину, посмотрел и встретился с улыбающимися глазами дочери. Сразу же отвернулся, потупился. Мысли обратились к прошлому.

Уже с семи лет Берен слыла первой красавицей в ауле, резвая, складная, точно жеребенок. Всегда шутит, улыбается, а на язык бойка. Где нужно, держится с большим достоинством.

А в последнее время ее всюду преследовал байский племянник Еркинбек. Проходу ей не давал. На тоях, вечеринках, игрищах всюду лез, заводил двусмысленные разговоры, молол всякий вздор. Берен отмалчивалась, но однажды, когда ухаживания стали чрезмерно назойливыми, резко обрезала:

– Оставьте! Не на ту нарвались!.. Я вам не игрушка!

– Ты и не заметишь, как ею станешь! – ответил Еркинбек. Он был задет и раздосадован.

Эта короткая стычка произошла недельки две тому назад. О ней поведал Жауке все тот же табунщик

Кайролда. Как-то, по обыкновению, жалуясь на весь белый свет, он вдруг взглянул на сапожника с вечно воспаленными красными глазами и выдал ему:

– Скорей отдавай дочку замуж. Или пусть уж идет в свой комсомол... А то ведь знаешь Еркинбека. Как бы того... не наделал беды...

Тогда-то и екнуло впервые сердце Жауке. Похождения Еркинбека были всем известны. С ним шайка таких же, как он, хулиганов. Умыкнуть девушку, своровать, насильничать – вот их любимое занятие, так что табунщик предупреждает неспроста... Все это так. Однако не может же Жауке без согласия дочери выдавать ее замуж! Что же тогда? Неужели и вправду вступить ей в комсомол?..

Жауке невольно хмурился, обсуждая все эти сложные вопросы.

– Балдай! Эй, Балдай! Чтоб ты провалилась! Дратву готовь!..

Берен что-то нашептывала матери на ухо, лукаво поглядывала на отца и улыбалась. Знает, чертовка, свою власть над ним! Хочет улыбкой вырвать согласие.

Пришел, мурлыкая что-то под нос, Курумбай. Весь в лохмотьях, бедняга. Сапоги растоптаны, каблуки отвалились, носки задрались, как полозья у саней. Шаровары – заплата на заплате, прореха на прорехе; чапан куцый, ободранный; фуражка старая, засаленная. Волосы отросли, лезут из-под фуражки. Пришел, не задумываясь схватил порожнее ведро, перевернул вверх дном, сел. Балдай глянула на него, но промолчала, а Жауке буркнул:

– Эй! Слезь давай! Ведро продавишь!

Курумбай только теперь сообразил, что сделал что-то не так, вспыхнул, вскочил, поставил ведро на место. Берен бросила невольный взгляд на отца и знаком пригласила джигита в юрту. Это еще больше разозлило сапожника. Он гневно посмотрел на жену, как бы

говоря: «Не видишь разве? Тоже мне мать!» – и привычно закричал:

– Балдай! Эй, Балдай! Чтоб тебя шлепнуло! Чего рот разинула? Дратву, дратву давай!..

А как же бедной Балдай рот не разевать, если она невольно заслушалась, как ладно поют Берен и Курумбай. Даже Жауке – злился, а все-таки с удовольствием прислушивался к пению молодых, хотя и крепко не понравилось ему, что они уединились. А Курумбай, если уж все говорить, тоже ведь не чужой. Еще недавно, когда пас байских овец, часто торчал у них. И тогда Балдай относилась к нему, как к родному сыну. Стирала и латала ему одежду. И Жауке тоже вроде относился к нему неплохо. Но в последние годы Курумбай вдруг вступил в комсомол и ушел от бая. С того времени о нем стали говорить разное. Передавали его слова: «Баи - мои враги. Не стану я тянуть жилы на врагов». А Жауке думает – не захотел работать на бая, вот теперь и ходи, как нищесброд. И еще болтали, будто Курумбай на какие-то занятия ходит. И это тоже не нравилось Жауке. Он даже и в мыслях не допускал, чтобы Курумбай, которому перевалило за двадцать и который, конечно же, вконец отупел, бродя с байской отарой, был в состоянии чему-то научиться. Некоторые в аулах считали его вообще придурковатым. И хотя сам Жауке так не думал, однако и умным его тоже не считал... Собственно, Курумбай и был одной из тех причин, из-за которых Жауке не хотел пускать дочь в комсомол. Из-за таких, как Курумбай, аульные остряки и переиначили комсомол в «саумал», то есть «молодой, еще не перебродивший кумыс». Пользы от этого саумала никакой, только живот от него крутит...

Жауке часто мучает прострел. И на этот раз его так скрутило, что пришлось улечься в постель. Узнав об этом, Куляш-байбише так рассвирепела, что выскочила из юрты и, как конь копытами, затопала ногами:

– У, хрыч старый! Нарочно, стервец, притворяется... Ну, я ему покажу! Припомню!..

Хмурая, ни с чем уехала щеголиха-сваха. Не суждено ей было пощеголять в новых сапожках на низких каблуках.

Байский аул откочевал к оврагу «где погиб черный пес». Сноровистые молодки и юркие, услужливые джигиты мигом разобрали три юрты бая и навьючили лошадей. У коновязи – аркана, растянутого на колышках, – стоял огромный, как холм, бай. Он тщетно запахивал полы стеганого чапана, напрасно силился застегнуть пуговицы на необъятном брюхе. Было непонятно, как он вообще втиснулся в одежду. Стоял и с явным удовольствием почесывал пузо. Вокруг него все суетились, из кожи вон лезли, чтобы угодить, готовили подводу. И только одна юрта Жауке продолжала торчать далеко в степи. Суматоха, обычная при откочевке, ее не касалась. Тетушка Балдай спокойно ходила взад-вперед. Словоохотливые соседки, чуя что-то неладное, избегали смотреть на юрту сапожника. Никто как будто даже не замечал, что Жауке один-одинешенек остается на заброшенной летовке, на безлюдье. Казалось, что он сам, всем назло, решил остаться здесь один.

После полудня кочевье тронулось в путь. Куляш-байбише, садясь на арбу, оглянулась, увидела одинокую скособоченную юрту Жауке. Балдай пригнала комолую буренку, привязала ее к колесу старой, разболтанной телеги. Корова озиралась на стадо, протяжно, жалобно замычала. Ее мычание всколыхнуло тишину, эхом отозвалось с озера.

– Так тебе и надо, старый хрыч! – мстительно ухмыльнулась байбише.

Едва кочевье исчезло из вида, Кайролда погнал табун к озеру на водопой, напоил, выгнал на степную дорогу и рысью направился к одинокой юрте.

– Жауке! Эй, Жауке! Выйди-ка сюда!

Опираясь на посох, Жауке вышел. Отошли в сторонку. Нет ничего печальнее, чем оставаться одному. Грустное зрелище – одинокая, заброшенная юрта на неоглядной равнине. Балдай не находила себе места, без толку сустилась у входа. Иногда застывала, недоуменно смотрела на беседовавших мужчин.

– Видел еркинбековскую шайку? – крикнул Кайролда. – Отборное жулье! Отправились в сторону Тобола. Якобы на пирушку. Так я им и поверил! Слышишь, в оба посматривай за дочкой! Я заметил, как давеча шептались байбише с Еркинбеком. Что-то они затевают!..

И, сказав это, Кайролда тронул лошадь и поехал трусцой. Жауке, опираясь на посох, долго глядел ему вслед. Вот что значит искренняя, истинная дружба! А ведь их – Кайролду и Жауке – ничего особенного не связывает: ни общие дела, ни родство, ни даже характером они не сходны. И все же их тянет, тянет друг к другу, и понимают они друг друга без слов. В ауле немало таких, которые корчат из себя друзей-приятелей, но только кто из них так дружески, бескорыстно заботился о нем, как этот табунщик?..

Однако как ни был испуган Жауке, он старался ни словом, ни жестом не показать свое состояние Балдай. Он уселся на шкуру, прислонился к юрте и начал точить топор. Под правое бедро подсунул на всякий случай железный валик.

Но Балдай, должно быть, что-то почувствовала сама. Она все чаще и чаще с тревогой взглядывала на мужа. Берен сидела и шила. Смотреть со стороны на нее было приятно. Она пела высоким, негромким голосом. Иногда улыбалась. Лучи заходящего солнца играли на ее смуглых щеках. Балдай не отрываясь любовалась дочерью.

У каждого своя забава, свое утешение. Единственная радость и утешение Жауке и Балдай – Берен.

Тучи напоззли на небо, застили звезды, надвинулась непроглядная ночь. Крепко стиснув железный валик, Жауке несколько раз обошел юрту. Ай, до чего же плохо, тоскливо жить одному! Хорошо хоть, что все лето с ним прожил пестрый лохматый кобель. Голос у кобеля был грубый, низкий: людей он не кусал, волков не брал, славы не заимел, и все же никого в неурочный час к юрте близко не подпускал. А сегодня он был заметно встревожен. Беспреданно хрипло взлаивал. То ли так одиночество действовало? То ли предчувствовал что-то недоброе? Какая-никакая – а все же подмога. Увидел хозяина, хвостом замахал, подбежал трусцой, к ногам прильнул, клубком свернулся. «Ты посторожи немножко, а я отдохну», – говорил, казалось, он хозяину.

Жауке открыл дверь, переступил порог. Что-то загремело, загрохотало. Наклонился, глянул: таз.

– Балдай! Ау, Балдай! И чего ты таз у порога поставила?

– Забыла убрать, отец.

Совсем запаматовал Жауке: ведь Балдай каждый вечер ставила тазик у порога. И сейчас, едва он прошел в юрту, как она вновь водворила его на прежнее место. Прислонила к порогу, вздохнула.

– О, милостивый боже! Не оставляй нас, защити нас, грешных...

Темень стояла в юрте, как в могиле. Ворочался Жауке на постели. Прошлые дни – невзрачные, унылые, однообразно убогие, – бесконечной вереницей проходили-проплывали они перед глазами...

Чего только не перевидал на своем веку Жауке! И чабаном он был, и табунщиком был, и коров пас. Когда бай Сержан занимался торговлей, бывало, и скот с одного базара на другой перегонял. Сколько себя помнит – все работал. Надрывался. А все – считай на одного Сержана. Хоть бы какой-нибудь след остался от

трудов на земле. Ничего! Словно и не было вовсе на земле человека по имени Жауке... В тридцать пять лет решил Жауке собственным делом заняться – сапожничать – и ушел от бая. Ох, и неистовствовала тогда байбише, слюной исходила. Недаром прозвали ее «бешеная байбише». С тех пор тот, кто норовил почаше пить у нее кумыс, ругал и высмеивал строптивного Жауке. Однако Жауке, который не очень-то охотно сносил насмешки, смело огрызался, а порой и дрался с обидчиками. Правда, больше всего доставалось ему самому. Его бритая голова сплошь вся в шрамах и рубцах, она словно поле, вспаханное деревянной сохой. Всякий, кто пытался разбить Жауке голову, заслуживал благоволение байбише. Тому был и жирный кусок мяса, и кумыс до отвала. Обидчикам Жауке все сходило с рук, виновным всегда оказывался сапожник. Так про него и говорили: «Жауке-смутьян», «Жауке-забияка». Сержан-бай ухмылялся, колыхаясь животом: «Этот нечестивец без драки не живет. Пока его кто-нибудь не отлупит, ему и еда не еда, и питье не питье». В шестнадцатом году, когда белый царь надумал брать казахов на тыловые работы, сорокалетнего Жауке записали тридцатилетним. Сам бай, который на пять лет моложе Жауке, вдруг по списку оказался на пять лет старше. Разбушевался было Жауке, а байские прихвостни рожи скривили: «Ну, опять завелся скандалист!»

Что тут сделаешь? Взбунтовался Жауке и вместе с такими же бедолагами, как он, в клочья изодрал список аульного правителя. Подожгли волостное правление. Прилетел урядник:

– Кто зачинщик?

– Кто же? Конечно, Жауке!

Сцапал урядник Жауке и отвез в каталажку.

Когда царя спихнули, Жауке вышел из тюрьмы и вернулся домой, Сержан опять ухмыльнулся: «Ты, нечестивец, и царскую голову, наконец, слопал!» Ах,

если бы Жауке мог «лопать царские головы!» Он бы первым делом слопал бы тогда все байское отродье!

Пришла новая власть. Стали созывать народ на сходки. А где сходка – там Жауке.

– Кто говорить будет?

– Я буду говорить!

Жауке выступал, а народ со смеху помирал. Так все хохотали, что ничего нельзя было разобрать. Бай Сержан со снисходительной улыбкой поворачивался к уполномоченному: «Дорогой, не обращайтесь внимания... Этот горлопан вообще немножко не того...» И в глазах уполномоченного, человека стороннего, Жауке и в самом деле казался малость чокнутым...

...Гулко, на всю безмолвную степь залаял пестрый кобель. Совсем поблизости слышались осторожные шаги.

Кто-то подкрадывался к юрте. Вот поскреб дверь. Жауке приподнялся. Вытащил из-под себя железный валик. Берен испуганно прошептала:

– Что это, аке?

– Ничего... Спи, спи, доченька...

Дверь рванули с силой.

– Эй, кто там?

Никто не откликнулся. А дверь качалась, скрипела, точно ее раскачивал ветер. Этак и всю юрту свалить недолго. Да зачем валить? И под ней проползти ничего не стоит. Значит, уж и таиться нечего. Ветхая юрта не спасенье. Надо принимать бой.

Жауке пошел к двери, начал развязывать веревку. Чья-то рука коснулась его. Рядом, дрожа, стояла Балдай.

– Отец, ради бога, не открывай!

Жауке грубо отстранил ее и продолжал развязывать затянутый узел. Неслышно подошла Берен:

– Дайте, аке, я подержу железку.

– Подержи, доченька...

Тяжелый железный валик не по девичьим силам. Того и гляди – выронит.

Жауке развязал веревку, резко толкнул дверь, а сам отступил назад. На мгновение послышался шум возни у входа, потом все замолкло. Жуткая темень окутывала мир. Стук собственного сердца был как топот копыт.

Вот опять послышались шаги. Вытянув руку вперед, неизвестный переступил порог. Мысли путались в голове Берен. В ушах звенело... Ничего не соображая, она широко замахнулась и с силой опустила железный валик. Раздался хруст. Незнакомец рухнул головой к ногам девушки. Больше ничего Берен уже не слышала и не помнила.

Упавшего подхватили какие-то люди, кряхтя и посапывая, выволокли за ноги наружу. Все успокоилось. Лай пестрого кобеля удалился. Жауке продолжал стоять, оглушенный, растерянный. «Что же случилось? Кто они? Где они?» – лихорадочно думал он. Вдруг издалека – там еще отчаянно лаял пестрый кобель – донесся конский топот, глухие голоса. Топот нарастал, приближался. Жауке напряженно прислушался. А это еще кто такие? Всадники ехали крупной рысью. Коней остановили прямо у двери.

– Жауке! Живой-здоровый?

Голос Кайролды. Жауке выбежал навстречу, на глаза его навернулись слезы. Еще кто-то спешился, неуклюже ввалился в юрту.

– Берен! Где ты, Берен?!

Жауке узнал его по голосу. Курумбай!

Жауке приставил топор к порогу. Балдай зажгла светильник. На постели, свернувшись в клубок, лежала Берен. Густые, распущенные волосы укрывали ее всю, до пят.

– Балдай! Балдай! Глянь, кровь возле порога. Присыпь золой.

Балдай засыпала золой пятна крови и подняла небольшую, с кулак, железку.

– Что это, отец?

– Наган...

Курумбай долго разглядывал его и вдруг радостно заулыбался:

– Это значит, Еркинбека по башке треснули. Такая штучка может быть только у него.

От его голоса Берен очнулась, с недоумением, точно спросонья, обвела всех взглядом и, увидев Курумбая, разулыбалась:

– А ты почему здесь?

– Да вот, твоего гостя встретить с почетом хотел, – усмехнулся джигит.

Он подсел к Берен и погладил ее по волосам. Она приникла головой к его плечу и вдруг разрыдалась. Глядя на них, расчувствовалась и заплакала старая Балдай.

Днем тишина не особенно заметна. Ночью она угнетает. Наконец-то взошла луна. Проплывали перистые облака, и тень их, отражаясь, пятнила светлый лик луны, и казалась она осыпанной веснушками.

Пустынно возле озера. Обычно там ночуют стада и отары. Сегодня все вокруг опустело. Издалека доносится птичий крик. То ли чайка, то ли чибис надрыгается в тоске.

Поодаль от юрты беседовали Жауке и Кайролда. Но сейчас табунщик не жаловался, как обыкновенно, а спокойно, по-тихому, по-мудрому что-то убежденно толковывал старому приятелю.

– Нет, это не так, Жауке. Комсомол – это вовсе не плохо.

– Да я и не говорю, что все там плохо. Да вот некоторые из них...

– А кто некоторые? Что, Курумбай тебе плох? А что он плохое сделал? То, что он бая не послушался? Что батрачить на него не стал? Это, что ли?!

О том, чтобы уйти от бая, в последнее время Кайролда мечтает и во сне и наяву. Времена теперь другие. И без бая прожить можно. Мало разве бывших байских батраков сбилось нынче в артель – и вот живут вполне прилично и независимо. Государство им помогает.

– Курумбай совершенно прав! – горячо заговорил вновь Кайролда. – Из него непременно выйдет толк. Вот если кто плутает, так это мы с тобой. Язык треплет, а руки боятся. Айпырмай, Жауке, сам вот подумай: ну зачем нам все это: «путь предков», «обычай отцов»? Чушь все это! Пустобайство! Что он нам дал, этот «путь предков», кроме позора и унижения? Я даже думаю, что и с аллахом тоже пора кончать. Кто они, эти святые, божьи угодники и праведники? Абен-мулла, что ли?! Да если хочешь знать, все пакости от него исходят. Лихоимец он, а не праведник. Это он исподтишка посоветовал умыкнуть твою дочь.

– Брось! – испугался Жауке. – Будь он хоть трижды собакой, но...

– Я сказал – и дальше молчу. А ты после сам все узнаешь.

Из юрты вышла Берен. Она переоделась в самое лучшее, словно собиралась в далекий путь. На голове – тюбетейка, вышитая позументом. Раньше тюбетейку украшали перья филина. Сейчас их не было. Не было и разноцветной ленты, которую она обычно вплетала в косу. Жауке, озадаченный, глядел на дочь. При свете луны лицо ее казалось бледным и решительным.

– Аке, я уезжаю.

Жауке вроде даже подскочил, поерзал:

– Куда, доченька?!

– К Абитаю... Он просит заехать.

– К Абитаю, говоришь? Может, лучше мне сходить?

Я бы, может, и подводу раздобыл...

Вышел из юрты Курумбай, с ходу ответил Жауке:

– Насчет подводы не беспокойтесь. Я сам перевезу вас.

Балдай с благодарностью взглядывала на джигита, как бы говоря: «Прав, конечно же, прав Курумбай!»

– Жауке! – Кайролда решительно поднялся. – Все слова твои теперь неуместны. Не перечь дочери. Разреши ей!

Жауке молчал. Кайролда в упор смотрел на него некоторое время и повернулся к Берен:

– Поезжай, милая. Да будет тебе удача! Отец не станет ругать. Ведь он тоже тебе добра желает...

Жауке и на этот раз промолчал. Луна злорадно, точно торжествуя, высветила печальное, усталое лицо сапожника: «А, упрямец, сдаешься, наконец!»

– Пусть будет по-твоему, доченька, – сказал Жауке, по его лицу и бороде текли слезы. Больше он ничего не мог сказать: губы не слушались.

На востоке занимался рассвет. Крупный темный мерин по брюхо утопал в росистой траве. На нем ехали двое. Впереди, в седле, – Берен; сзади – Курумбай. Утренний ветерок приятно бодрил путников. Мерин пошатывался, шел неуклюжей трусцой, подкидывая верховых.

– Курумбай, держись за меня. Еще свалишься...

Курумбай обнял руками девичий стан. Посмотришь с одной стороны – вроде бы влюбленные девушка и джигит. С другой стороны глянешь – ни дать ни взять брат и сестра, заботливые, дружные, с детства выросшие вместе. И трудно было решить, какое из этих чувств берет верх. Но казалось, и сами путники старались не думать об этом. Чтобы отвлечься, Курумбай замурлыкал песню.

– Курумбай, говорю! Ну, расскажи что-нибудь!

– А что мне рассказать?

– Ну, вот вступлю в комсомол, а что делать будем?

– Что делать будем? Баями займемся. Байское логово до основания переворошим. Наизнанку вывернем!

Кудлатые тучи стремительно уплывали, бесследно исчезая за горизонтом. Взошла заря, решительно рассеивая ночной мрак. Ярκο-красные лучи залили степь. Берен высоким голосом затянула песню, перекликаясь с жаворонком, заливавшимся в утренней тишине. Далеко простирался чистый, молодой, свободный голос, прорывавший ветхие тенета старого и отживавшего...

Берен толкнула локтем Курумбая:

– Курумбай! Будь ты неладен!.. Не распускай руки...

Оба – счастливые – рассмеялись.

Секретарь комсомольской ячейки Абита́й Махмудов по натуре был замкнут и молчалив. В этом ауле он учительствовал. Одевался аккуратно и просто. Волосы носил длинные, почти до плеч. Жил отдельно в собственной юрте. Обстановка в ней была более чем скромная. Стол. На столе книги и письменные принадлежности. Книги изрядно потрепаны и лежат на столе как попало. Поверх них – серая, застиранная тряпка, в которой нетрудно узнать детскую пеленку. При виде этой пеленки глаза невольно обращались к жене учителя. Она, по обыкновению, находилась тут же. Чернолицая, плосконосая. Глаза навывкате, точно у бодливого бугая. Сегодня она была особенно не в духе: хмурилась, дулась, сидела молчаливая и злая. И причиной тому была Берен. Она сидела на почетном месте и улыбалась. Лицо ее сияло. Она с любопытством разглядывала убогую юрту и, конечно же, догадывалась о том, что жена Абита́я – баба не только сварливая, но и неряшливая. Она бы, Берен, живо здесь навела порядок...

А разве чернолицая молодка не догадывалась, о чем думала сейчас смазливая гостя? Ого, еще как! Не зря ее брови так грозно сходились на переносице! Еще до

прихода Берен по аулу поползли слухи: дескать, учитель послал за дочерью сапожника, видно, решил старую бабу бросить, а молодую взять. И когда Берен действительно приехала сюда, все поняли, что так оно и есть. Иначе с какой бы стати девица на выданье вдруг надумала вступить в комсомол?..

По привычке мурлыкая что-то под нос, явился Курумбай. А песня была такая:

Как овец, гони камчой
Бая и муллу!

Жена Абитая злобно пробурчала:

– Уж ты-то погонишь!.. Помалкивал бы!

– Я? Я, конечно, погоню! Вот увидишь...

Берен посмотрела на Курумбая и прыснула:

– Чего ты?

– А ты, оказывается, кривоногий...

– Не смейся. Может, за кривоногого как раз замуж выйдешь.

– Да ну тебя!..

«Знаю, в кого ты метишь, коль тебе не по душе кривоногий», – подумала про себя жена Абитая, еще больше потемнев лицом.

– Ну, говори, Курумбай, – сказал учитель, стараясь переменить опасную тему.

– А что говорить?.. Из округа уполномоченный приехал. Велел собрать всех комсомольцев.

Берен разволновалась. Жена учителя гневно покосилась на нее. Хотела сказать что-то обидное, но сдержалась. Берен это сразу заметила и, подыгрывая, сказала:

– Пойдемте, мугалим. Сходим на собрание.

Абитай поднялся. Чернолицая напряглась, точно зверь перед прыжком:

– Никуда не пойдешь! Сиди!..

Лицо учителя пошло пятнами. Курумбай подошел к Берен и шепнул:

– Пошли. Он потом сам придет.

И как только Берен перешла за порог, чернолицая молодка бросила ей вдогонку:

– Шлюха!

– Аимкуль! – пытался остановить ее учитель. – Не сходи с ума! Я тебе что говорил?

– «Не сходи с ума»!.. Зачем ты пустил эту шлюху? Абитай, побледнев, начал было совестить жену, но Аимкуль крикнула:

– Ну и что ты мне сделаешь? Бросишь, что ли? Попробуй! И себя и ребенка вот этим ножом прикончу!

Она выхватила откуда-то огромный нож и забилась в истерику.

Абитай растерянно молчал. Что за бешеная баба? Как с ней спокойно работать?..

Смуглый малыш подполз к матери, начал было ласкаться к ней, но Аимкуль отпихнула его, и малыш, отлетев, заревел. «Так комсомолка-мать воспитывает будущего пионера», – подумал Абитай и, подняв малыша, удрученно вздохнул...

Сухой, поджарый, как стрекоза, темнолицый мужчина вышел из белой юрты и, беспокойно озираясь, быстро направился к земляной печке. Тучная баба, обрюзгая, с одутловатым лицом, сидя на корточках, подкладывала в огонь хворост. Она взглянула на поджарого мужчину и грузно, всем телом, повернулась к нему. Она была такая толстая, что казалось, вот-вот ее одежда лопнет по швам. А мужчина был встревожен. Его глаза – большие, белесые – беспокойно бегали. Каждое утро он подстригал бородку, а сейчас даже побриться позабыл. И почему-то напялил на себя суконный костюм, который обычно надевал, только идя в гости или на собрание, и сейчас

на нем, испуганном и помятом, этот выходной костюм выглядел просто нелепо.

– Улбике-ау, кого прикажешь зарезать: ягненка или валуха? – спросила толстуха.

– Зачем же валуха, когда можно обойтись ягненком?

– Боюсь, не хватит, народу-то много будет.

– Ну и что? Я же не обязана всех досыта кормить!

Толстуха брезгливо поморщилась, сдвинула брови. На лице ее застыла откровенная злоба.

– Слушай, Улбике! – сухопарый мужчина понизил голос. – Не гневайся. Уймись! Не заводи аульных баб. Я же предупредил тебя ночью... Надо смириться. Видишь, опять гость пожаловал... Если ты действительно уважаешь Куляш-байбише, постарайся найти общий язык с ними...

Мужчина этот был председатель аульного совета Ергали Асатов. Жена его, Улбике, приходилась племянницей Куляш-байбише. Когда Улбике не слушалась и начинала брыкаться, Ергали неизменно прибегал к имени властной родственницы. В глазах людей они жили тихо-мирно, ладно, казалось, что друг без друга и дня не проживут, а на самом деле всю жизнь грызлись, как собаки, и за спиной друг друга вытворяли черт знает что...

А от того, что прошлой ночью поведал Ергали, Улбике могла прийти в ужас. Говорят же: «Придет беда на быка, и теленка она не минует». Горе, нависшее над домом бая Сержана, завтра может обрушиться и на Ергали. Ведь до сих пор он держался только благодаря своей ловкости, хитрости, умению приспособиться, стравливать людей, называть, как говорится, козу – тетей, а козла – зятем. Это-то Улбике понимала хорошо. И считала, что ее святая обязанность – помогать своему супругу. И сейчас она тоже поняла, что пришло время, когда надо быть особенно осторожной и ловкой, прыткой и изворотливой, и поэтому

мгновенно превратилась в добрую, радушную хозяйку. Первым долгом она стала расточать щедрые улыбки аульным бабам. А те, обрадовавшись неожиданной благосклонности Улбике, стали лезть из кожи: они носили воду, ставили казан, разводили огонь в очаге. Быстро закололи и разделали жирного валуха, заложили мясо в котел. Сразу собралась целая толпа «приближенных», ловкачей и пройдох, испытавших в свое время благодеяние председателя аулсовета. Когда приезжал важный гость, эти прихвостни готовы были разбиться перед ним в лепешку – похаживали, прикрикивали, ставили все вверх дном, так они исполняли свой долг перед Ергали.

Сейчас Ергали стоял и умильно смотрел на всех, кто суетился возле его земляной печки. Сегодня он был добрый, заискивающий и всем хотел понравиться. «Я буду любой ценой добиваться вашего благоволения», – казалось, говорил весь его покорный, услужливый облик. «Если вы за меня, то я не пропаду».

К этому Ергали и отправились Берен и Курумбай, выйдя от учителя. Они шли легко, весело, словно играя. Берен забежала далеко вперед, потом останавливалась, улыбалась издали Курумбаю.

– Да побыстрее ты, – говорила она. – Чего плетешься?

– Разве я плетусь, я иду, – улыбался он.

Увидев их, Ергали еще больше засуетился. О чем говорить с молодыми людьми, как сблизиться с ними, он не представлял совершенно. Например, он никак не понимал Курумбая. Дурным его вроде не назовешь, но умным тоже. Почетных людей не уважает, старых добрых обычаев не чтит. Резковат, диковат, грубоват. Позвать бы его к себе, поговорить с ним разок по душам, сразу б определилось, кто он и что он. Однако до сих пор Ергали в нем просто не нуждался. Не любил он этих юнцов-крикунов и никогда не общался с ними.

Да... а вот теперь-то они ему понадобились. Если Ергали не хочет уступать власть, он должен поневоле сработаться с ними. В этом он убедился прошлой ночью. Очень недобрую весть узнал он тогда.

Девушку и джигита Ергали встретил с приветливой улыбкой.

– Ты что, сестричка, наш дом избегаешь? Отец твой небось в обиде, что я его единственную дочь как будто и не знаю.

Улыбался Ергали приветливо, слова говорил ласковые, но фальшь чувствовалась в каждом слове. Берен молчала, опустив голову. Улбике, хлопотавшая возле земляной печки во дворе, пошла навстречу дорогим гостям.

– Здорова ли, сестрица? – воскликнула она. – Могла бы нас провести и без приглашения. Не чужие ведь...

И Берен опять промолчала.

Женщины толпились возле печки, толкали друг друга и бросали на Берен любопытные взгляды. О ночном происшествии в юрте строптивного сапожника здесь узнали вчера. Поползли слухи-сплетни, конечно, преувеличенные чудовищно и далекие от истины. О том же сейчас судачили и женщины, принаряжая сплетню в разноцветные лохмотья. Берен, женским чутьем чувствуя, что говорят про нее, густо покраснела и проскользнула в юрту.

Вслед за ними приехал неразлучный дружок Еркинбека Ерекеш на поджаром гнедом скакуне. Спешился, привязал коня. Встревоженный его приездом в неурочное время, Ергали вышел ему навстречу.

– Что-нибудь случилось?

– Бай и байбише послали за новостями. Узнай, что за начальство к нам пожаловало, как с ним быть...

Ергали сразу побледнел:

– Передай им: пусть больше не шлют гонцов при всем честном народе! Я помочь помогу, если, конечно,

это будет возможно, но... И еще скажи: с Жауке они поступили глупо. Боюсь, что это обойдется им дорого. Те, кто узнали об этом, слов не находят, никто их не одобряет. Дочь Жауке прибежала к секретарю комсомольской ячейки, и он сказал мне сегодня: «Ты прикрываешь отпетых негодяев. Отмалчиваешься! Будто не знаешь ничего!» Вот.

От ярости Ергали задохнулся. Ерекеш тихонько спросил:

– Как Еркинбек? Выживает?

– Пока в больнице. Железякой по затылку трахнули. Проломили вроде черепок.

Ергали покусал гневно губы. Ерекеш еще понизил голос:

– Байбише хочет часть дорогих вещей переправить к вам...

– Апырмай, странные вы люди! И приехал открыто, и болтаешь! Это нужно делать втихомолку, так, чтобы шито-крыто... – И, оглянувшись воровато по сторонам, добавил: – Вот что: скажи баю и байбише, пусть немедленно пошлют подводу и перевезут Жауке!

И отскочил от Ерекеша.

Из юрты вышел Курумбай и с улыбкой посмотрел вокруг. Взгляд его был радостный, ликующий, полный надежд.

– Курумбай, дружок, вот где ты, а я давно хотел с тобой поговорить, – улыбнулся ему Ергали.

– Хм... о чем же, интересно?

Ергали отвел джигита в сторону:

– Слышал о новом декрете? Баев-то теперь, как это... конфисковать будем.

– Сержана, что ли? Да, я сам писал властям, что Сержана следует конфисковать.

– Неужто так и написал?!

Ергали пытался улыбнуться, но не смог, и вместо улыбки у него получилась гримаса. Курумбай испод-

лобья следил за ним. «Ох, и темнишь же ты, братец!» – как бы говорил его косой взгляд.

Солнце пекло всюду. Был полдень. Вдруг у жерошаков – продолговатых земляных печей – начался шум. Подрался кто-то из прячущихся в их тени. Бросились разнимать. Больше всех суетилась и хлопотала Улбике. Она улыбалась, говорила ласковые слова, всячески старалась погасить ссору, и минуту спустя драчуны уже мирно сидели у печи и разговаривали.

Ергали покачал головой, вздохнул.

– Так вот, дорогой Курумбай, – сказал он, – узда нынче в наших руках. Люди на нас смотрят. Нам предстоит большое дело. Так провернем же его так, чтобы никто не посмел сказать что-то против. Власть доверяет и приказывает мне, ну, а я всецело опираюсь на вас...

Ергали пытался выведать, что на душе Курумбая, однако джигит, казалось, забыв обо всем – в том числе и о собеседнике, – не отрываясь следил за теми, кто сидел возле земляной печки. Он уже давно приглядывался к шумливой тройке – Сакембай, Даут и Карикбол. Этих жуликов в ауле боялись и презирали. Они неизменно участвовали во всех грязных и темных делах. Поговаривали, что Ергали, якобы, им отнюдь не сочувствовал. Однако на собраниях больше всех драли горло именно они. Другим даже рта раскрыть не давали. Если кто-нибудь хотел обделать какое-нибудь темное дельце, он непременно прибегал к услугам этой тройки. Где скандал, где склока, там неизменно появлялись и эти трое.

Курумбай отвернулся от Ергали – о чем нам с тобой говорить – и пошел в юрту. Там полукругом сидело много людей. На почетном месте, посередине – окружной уполномоченный, чернявый, поджарый джигит, Нугман Канаев. Одет он был скромно, держался незаметно, не выделяясь, и этим никак не

походил на тех шумных, крикливых комиссаров, которые важно задирают головы, а когда садятся в круг, то подминают под бок самую большую подушку.

Он сидел, обводя всех внимательным спокойным взглядом, – и по этому взгляду было видно, что он отлично понимает, кто есть кто и кто сколько стоит. Он слегка улыбался, и эта едва выявившаяся улыбка действовала на всех ободряюще. Она придавала смелость и уверенность.

Присутствовали на собрании одни комсомолы и партийные. Они жадно ловили каждое слово уполномоченного. Аульные активисты очень нуждались в советах опытного партийного руководителя. Иногда в аулы заезжают и такие инструкторы, которые любят вмешаться в круг шумной, праздной толпы, есть мясо, пить кумыс, затевать веселые игры с девушками и молодками. Таких людей молодежь не уважала. Им нужен был руководитель, который вникал бы в работу, разъяснял их ошибки и вместе, плечом к плечу, помогал проводить в жизнь решения новой власти.

Курумбай обстоятельно и деловито рассказывал о всех бесчинствах и беспорядках, случившихся в последнее время в аулах. Его слушали с изумлением, раскрыв рты, все поражались красноречивости джигита. Внимательно слушал и уполномоченный Нугман. И по ходу речи он то хмурился, то сдержанно улыбался.

– И, конечно, «деятели», сидящие у власти, обо всем этом, видно, и не догадываются, а? – с недоброй улыбкой спросил он.

Разговор шел о ночном нападении на одинокую юрту в степи. Курумбай говорил о нем горячо и гневно. Рассказ о том, как Берен встретила насильника, вызвал целую бурю. Некоторые в возбуждении даже повскакивали с мест.

Улбике с достоинством мешала кумыс, как заправская байбише. Берен присела рядом с ней, немного

поодаль от мужчин. Когда рассказывали о ней, лицо ее было красным от смущения. Она смотрела на свои колени, однако не испытывала ни досады, ни раскаянья. Но только теперь осознала полностью весь ужас того, что могло случиться. Кто бы мог подумать, что все так кончится благополучно? Раньше она чувствовала себя одинокой, беззащитной и теперь ликовала, увидев, сколько у нее верных и надежных друзей. Она испытывала сейчас к ним необыкновенную нежность, как благодарная сестра к заботливым братьям...

Замечание уполномоченного, должно быть, больно задело Ергали. Он встрепенулся, сел на колени, взглянул то на одного, то на другого, постарался выдать улыбку, однако она у него не получилась. Всем своим видом Ергали сейчас напоминал напаскуdivшую собачонку, угодливо ползающую у ног хозяина.

– Курумбайжан-ау, – сказал он обиженно. – Ну, зачем все валить на аульный совет? Ведь у нас есть и комсомольцы, и партийные.

И он робко взглянул на черного, с изрытым оспой лицом джигита, сидевшего рядом с Нугманом, даже подмигнул ему, как бы говоря: «Шучу, шучу...» Черного звали Жумагулом. Родом он был не из этих краев. С недавних пор его избрали секретарем партийной ячейки. Однако судя по всему, он и за этот короткий срок успел раскусить Ергали и был в курсе всех его дел и проделок.

– Ергали сейчас сказал сущую правду, – заметил он досадливо. – В нашей работе партийное руководство себя по сути дела никак не проявило. Кое-кто пытался и вовсе отстранить партийных от советской работы. Находились и такие, которые с неприкрытым злорадством спихивали всю ответственность за свои неблагоприятные дела на партию...

Жумагул сказал это и многозначительно глянул на Ергали. И тот осел, как от выстрела в упор.

Пообещав провести общее собрание в ауле Сержана, уполномоченный уехал. Аулчане разошлись по домам. Весть о предстоящих переменах – о конфискации байского имущества – еще не успела распространиться среди жителей отдаленных аулов. И женщины удовлетворялись пока сплетнями о ночном набеge на семью сапожника Жауке, о неудаче Еркинбека, которому проломили голову, о том, что Берен вступила в комсомол. Случай с Еркинбеком поразил многих. «Верно сказано: «Баба молодца сгубила», – вспоминали в аулах старую поговорку.

Задумано было так: Ергали откроет собрание, по его предложению изберут президиум, и уполномоченный начнет делать свой доклад. Но вышло иначе: неожиданно учитель Абитай попросил слова и от имени партячейки прочел список руководителей собрания. В аулах вдоль оврага «где погиб черный пес» собрания проходили часто, но такого, чтобы в них вмешивалась партячейка, еще не бывало. Люди даже и не вспоминали о ней, будто она и не существовала вовсе. Весть о предстоящей конфискации байского имущества сегодня была у всех на устах, однако никто толком не представлял, что все это значит. Лишение голоса, обложение бая налогом, распределение его земли – все это было не только возможно, но и привычно. А вот слух про то, что по декрету бая еще будут и «конфисковать», и куда-то выселять, казался настолько странным, что люди разводили руками. «Неужто так оно и будет?!»

Председательствовал Жумагул, а в президиум была избрана и Берен. Ергали вдруг оказался совершенно не у дел и поспешил затеряться в толпе. Собрание еще не начиналось, когда встал Курумбай:

– На собрании находится мулла Абен. Полагаю, что его присутствие нежелательно.

Мулла едва не задохнулся от такого унижения и затравленно поглядел на стариков. Кто-то из них неуверенно заступился за него:

– Да пусть сидит. Мулла-то он небольшой.

Однако большинство проголосовало за то, чтобы мулла убрался восвояси. Абен-мулла поднялся и, пошатываясь, волоча за собой посох, ушел. И в это время произошло нечто такое, что заставило забыть о позорном случае с муллой. Подвода, груженная домашним скарбом и разобранный юртой, со скрипом остановилась возле собравшихся. На тюках сидели Кайролда, Жауке и Балдай. Кайролда и Жауке были поражены множеством собравшихся, а Балдай так и ахнула, увидав, что за столом президиума восседает ее дочка.

– Зрачок ты мой!.. Солнышко! – ворковала она, неловко слезая с телеги.

Все теперь разглядывали их. Некоторые, увидев Жауке, хмурились, качали головами, ворчали:

– Притащился все же кафир!..

– Говорят, сам бай помог ему переехать.

– Знает бай, когда кому следует помогать!

Курумбай выбрался из толпы, пошел навстречу Жауке. В это время Кайролда и Жауке тоже слезли с телеги, не спеша отряхнулись и так же неторопливо направились к собранию. Многих неприятно кольнуло то, что они разговаривали с Курумбаем и его друзьями этак небрежно, на ходу.

– Ишь, как выпендривается Жауке!

Кто-то жалостливо вздохнул:

– Что ж... Мало разве мук вынес, бедняга?!

Те, которым неожиданный приезд Жауке был очень не по душе, однако, первыми приветствовали его:

– Вовремя подоспел, Жауке!

– Хорошо, что приехал, Жауке!.. – кричали ему.

Нугман говорил просто и свободно. Он не вставлял в свою речь поминутно «так сказать», не повторялся, не искал слов. Он просто разговорился, и многие из присутствующих даже не предполагали, что он так образно и складно может говорить по-казахски. В ту пору в ауле считалось, что образованные люди и большие руководители должны говорить коряво и неумело, ибо в душе они презирают родной язык. Байские прихвостни полагали, что только они являются истинными носителями и хранителями казахского красноречия. И когда в аулы приезжал уполномоченный, то обычно, посмеиваясь, они говорили:

– Ну, опять «так сказать» прибыл!..

Нугман в своей речи задел самые больные места. Некоторых прошибал пот. Другие еле сдерживались, чтобы не закричать от восторга. Когда Жауке попросил слова, толпа затихла, и множество глаз с любопытством уставилось на него.

Голос Жауке дрожал. Гнев распирал его. В глазах стояли слезы.

– Эх, кедеи! Бедняки! – сказал он. – Чего робеете? Почему молчите? Выше, выше головы! Кричите во весь голос! Пусть от его мощи задрожит весь овраг «где погиб черный пес»! Я отныне уже не плачу. Хватит! Я радуюсь! Мне даже трудно говорить сегодня от этой радости.

И верно. Лицо Жауке сияло. Берен подошла к отцу и вытерла вышитым платком ему слезы. Жауке порывисто обнял дочь.

– Видите? Вот она, моя дочь! Знаю: найдутся такие, кто осудит ее за то, что она вступила в комсомол. Скажут: «беспутная». Напрасно! Ложь! Дочь Жауке – это пример для всех! Дочь Жауке возглавит комсомол!.. Потому что сам Жауке – комсомол. И жена его, Балдай, – тоже комсомол!

Мощный гул аплодисментов заглушил последние слова Жауке. Толпа вдруг всколыхнулась, из сотен глоток вырвался крик, разбудивший всю спящую степь. Стало шумно и весело, как на большом празднике...

...Глядя на насупившуюся, раскаленную от злобы Куляш-байбише, можно было действительно не на шутку испугаться. Толстого, пузатого бая Сержана просто качало от ненависти. От него отшатнулись все его дружки и сотрапезники. Даже Абен-мулла – и тот ни разу не глянул в сторону бая, стоявшего у порога юрты. Вот что значит остаться в одиночестве... Сержан вздохнул. Просторная белая юрта, в которой он вырос и жил, показалась ему чужой. От нее вдруг повеяло таким холодком, что по телу побежали мурашки.

Несколько человек во главе с Нугманом рылись в байских сундуках, описывали байское имущество. У огромного бурдюка с кумысом устроилась Балдай. Перед ней стояла вместительная деревянная чаша, полная до краев. Расписным половником помешивала она терпкий, остро пахнущий напиток. Глядя на пузырящийся пенистый кумыс, она точно воскрешала в мыслях все прожитое и виденное ею и время от времени тяжело вздыхала. Казалось, она не верила тому, что творилось сейчас перед ней, и от удивления цокала языком и чему-то улыбалась:

– Беренжан, доченька, кумыса хочешь?

Берен сидела тут же, рядом. На лице ее блуждала счастливая улыбка. Она изредка поглядывала на Нугмана. Ей нравилась его ладная, опрятная одежда, нежные, тонкие пальцы – он писал, все его манеры и движения. Берен переводила взгляд на Курумбая и думала: «Каким бы был Курумбай, если бы он был так же образован и

воспитан²» И от этих мыслей ей становилось самой смешно. Курумбай тоже улыбался ей, словно догадываясь, о чем думала сейчас девушка. Берен перехватила его взгляд и наигранно нахмурилась, как бы говоря: «Не гляди на меня! Не смейся!» И некоторые, наблюдая за этой их молчаливой игрой, ревниво и недобро косились на счастливицу Курумбая.

Вообще в белой юрте сейчас царила радость. Но Ергали было особенно не по себе. Он был оглушен, растерян. Из всех сил он старался не выдавать себя, держаться так, как и все, но чувствовал он себя одиноко, неловко и понимал, что здесь он словно бельмо на глазу. Кроме того, он все еще не мог очухаться от удара, постигшего его на общем собрании. Ведь его даже не избрали в президиум. Людям, которых он сам подготовил к выступлению, не дали даже слова. Конфискацию байского имущества проводили совсем иные люди. Весь авторитет Ергали пал в одно мгновение. Новая власть не признала его. Он был публично разоблачен, посрамлен и унижен. И хотя на сегодня Ергали еще числился председателем аулсовета и находился среди власть имущих, одна лишь жалкая тень осталась от этого вчерашнего хозяина аула.

– Ергали! Эй, Ергали! – позвал его вдруг Жумагул.

Ергали испуганно, точно спросонья, вздрогнул. Жумагул пристально посмотрел на него.

– Куда же, интересно, подевались байские драгоценности? Все его золото и серебро?

– Откуда мне знать?!

Все смотрели на председателя и грозно молчали. «Заставим сказать правду!» – было написано в их глазах. Ергали весь сжался. Скулы его стали острыми.

Отец бая Сержана был прозван «Черным кобызистом». Правда или нет, но поговаривали, будто богатство принесла ему игра на кобызе. Когда стали

разбирать байское имущество, в пестром инкрустированном ларе нашли старый кобыз. Сержан попросил подать его. Никто в ауле не помнил, чтобы бай когда-нибудь играл, а тут вдруг заиграл, да так, что все только рты разинули. Казалось, даже ветер затаил дыхание. Сразу же со всех сторон потянулись к нему старики, старухи, дети и, не осмеливаясь близко подходить к баю, заворуженно встали в сторонке. А древний кобыз выводил протяжный, глухой старинный кюй, источал скорбные звуки, проникавшие в самую душу, навевавшие печаль, тоску, уныние, словно зовущие куда-то в топь, в пучину, в бездну...

Курумбай выбежал из юрты, выхватил из рук бая древний кобыз и застыл, держа его за гриф, как палку, Сержан отшатнулся. Курумбай подскочил к чурбану и размахнулся кобызом, чтобы разнести его вдребезги, но тут кто-то схватил его за руку. Он обернулся. Это была Берен. Она улыбалась.

– Зачем же разбивать кобыз? – спросила она. – Ты лучше сам поиграй. Пусть послушают.

– А что играть?

– Новый кюй.

Курумбай быстро перестроил кобыз, крепче натянул струны и заиграл. И над землей полились новые звуки. Слетела со струн старого кобыза не слыханная до того песнь. Не гнусавая, тоскующая по старому, отжившему миру, а ликующая, бурная и вольная. В ней слышалась радость победителей и поступь миллионов. Ветром пронесся этот вольный кюй, и ливнем пролились на степь его упругие и вдохновенные звуки.

Люди плотным кольцом окружили Курумбая, жадно слушали новую песню. Всплыла луна и щедро залила окрестности молочным светом. Она тоже словно радовалась людскому счастью...

Улбике не находила себе места. Никто из аулчан близко не подходил к ее юрте. Еще вчера пополз слух, что Ергали сняли с должности председателя аулсовета. Правда, сам он еще не вернулся домой. А «узун-кулак» – «длинное ухо» – распространял все новые вести. Судачили, будто Ергали не только сняли, но даже и посадили. А тут еще Улбике узнала, что и родители ее тоже подверглись конфискации. Верно замечено: пришла беда – отворяй ворота. Столько ударов посыпалось сразу, что и голову не поднять. Семья Сержана всецело надеялась на Ергали, а теперь над ним самим нависла кара.

Сержан успел вовремя упрятать часть имущества у знакомых и скот свой угнал было подальше, но постепенно, понемногу обнаружилось и то, и другое. Более того, вместе с имуществом и скотом бая захватили и верных дружков Еркинбека. Но не оттого убивалась Улбике, что байских прихвостней изловили: жалко было богатства, да и страшно было за собственную судьбу.

Когда вошли Кайролда в Курумбай, Улбике сидела растерянная и удрученная. Она смутно почувствовала, зачем пришел Курумбай. Однако страх свой не выдала, не засуетилась, не забегала, улещивая незваных гостей, а приняла неприступный и вызывающий вид.

– Улбике-женге, вот мы потерю нашу ищем, – сказал один из вошедших.

– Да будут благополучны ваши поиски, – ответила Улбике.

– В таком случае откройте сундуки.

– Нет, этого не ждите!

– Ну, заставим!

Собрались аулчане, столпились у двери, смотрели с любопытством, точно ждали чего-то. Улбике сидела, насупив мрачно брови.

- Брось, деверек, не лезь к сундуку.
- Дайте ключ.
- Не дам!

Кайролда сжал мощный кулак и одним ударом проломил крышку сундука. Улбике вскочила. В руках ее блеснул нож...

Был обычный поздний ноябрьский вечер. В окнах домов слабо мерцал свет. Из труб словно нехотя струился сероватый дымок. Первозданная тишина висела над аулом.

Берен вышла из школы, постояла, полюбовалась зимним вечером. Мысленно она еще была на только что прошедшем комсомольском собрании. Перед закрытием прочитала характеристику Курумбая; в ней писалось, что Курумбай комсомолец, активист и что он хочет продолжать учебу. Сегодня молодежь прощалась с ним и говорила напутственные речи. Берен сидела печальная, задумчивая. Ребята чувствовали ее состояние и к ней не подходили. Подошел только один пучеглазый Рахим, хохотнул и спросил:

- С чего это ты расстроилась, Берен?
- Оставь, пожалуйста! – отмахнулась она.

А ей было отчего загрустить.

Во-первых, очень неожиданно надумал Курумбай ехать на учебу; во-вторых, перед началом собрания он подошел к ней и, смущенно улыбаясь, сказал:

- Берен! Не сердись. Мне нужно тебе что-то сказать... Поговорим после собрания?
- Поговорим, – ответила Берен.

О чем же хотел говорить Курумбай?.. Она с нетерпением поджидала его, а Курумбай что-то задерживался. «Конечно, – думала она, – разве он

уйдет, разве он успокоится, пока не напишут в его присутствии протокол комсомольского собрания? Небось затеяли теперь с Абитаем нескончаемый спор из-за какой-нибудь формулировки».

Думая о Курумбае, она живо представила все, что произошло за последнее время. За очень короткий срок аул стал неузнаваем. Его перенесли на новое место. Деревянный дом бая Сержана отобрали под школу. Правда, хлопот с этим домом было немало. Пришлось его разбирать, перевозить и собирать на новом месте. Всей этой работой руководил Курумбай. В ауле создали артель. Председателем избрали Жауке. Рослый, грозный, решительный Жауке наводил ужас на смутьянов, мешавших спокойно жить. Его недруги разбежались – кто куда. Даже Ергали – и тот исчез с глаз долой.

Берен улыбнулась, вспоминая все это. Однако улыбка тут же сменилась тревогой. Уже около месяца, как вышел из больницы Еркинбек. Сейчас он слоняется по аулу, держится тихо, но никто не знает, что у него на уме. На комсомольском собрании Берен завела о нем речь, и молодежь приняла решение выслать байского племянника из аула. Это, пожалуй, правильно. Так ему и надо...

Берен вздохнула и медленно пошла одна домой. Она шла, думала, и мысли, роясь, сменяли друг друга, и под их налетом она то хмурилась, то улыбалась, – это когда в темной ночи ее прошлой жизни вдруг ярко вспыхивали радужные огоньки будущего. Школа оставалась далеко позади.

Берен вздрогнула, застыла на месте. Спереди и сзади промелькнули тени, послышался шорох шагов.

– Кто это?!

Вместо ответа шею Берен затянул волосяной аркан. Кто-то затолкал ей в рот платок... На исходе был 1928 год.

...Дорогой читатель! Если помнишь, в начале нашего рассказа говорилось о том, как на берегу оврага «где погиб черный пес» отдыхали женщины из бригады косарей. Одна из них, устроившись в сторонке, писала заявление в районный комитет партии. Это была Берен. А шел тогда июль 1935 года.

В ту ночь, когда Курумбай уехал на учебу, банда Еркинбека схватила Берен. Каким образом удалось ей вырваться из рук убийц, какие события последовали за этим случаем – обо всем этом Берен подробно рассказала в своем заявлении. Правда, пока она еще пишет его, и потому к содержанию заявления мы вернемся как-нибудь в следующий раз...

...Черные кудлатые тучи постепенно развеялись, расползлись, точно растеребленный клочок шерсти, и между ними настойчиво пробивались лучи солнца. Одна из туч, клубясь, опустилась ниже, брызнул мелкий дождичек, и на заявлении Берен появились темные пятна. Она, не обращая внимания, продолжала писать, и вдруг невольно вздрогнула, услышав неподалеку удивленный возглас:

– Апырмай, не Курумбай ли?!

Берен сама не заметила, как вскочила. Перед ней стоял Курумбай!..

Читатель, конечно, помнит, как в начале рассказа Кайролда и его спутник проезжали овраг «где погиб черный пес», тщетно отбиваясь от встревоженных слепней и оводов. Вот этот спутник и был Курумбай.

Словно отодвинув пушистое облачко, выглянуло солнце. В его лучах дождейки превратились в коралловые бусы. Налетел шаловливый ветерок, потрепал траву, тетрадку на траве.

Берен стояла в объятиях Курумбая. По лицу ее скатилась капля – то ли слеза, то ли дождейка...

– Кончил учебу? – спросила она.

– Кончил.

– И кто ты теперь?

– Агроном.

Берен вытерла глаза, улыбнулась:

– Я ведь тоже выучилась.

– На кого?

– На учительницу...

Из оврага выехал Кайролда. Пристяжная шла боком, пофыркивала. Рядом ехал верховой. Сивая борода его развевалась на ветру, лица видно не было.

– Оу, не почтенный ли Жауке это?

– Он, – ответила Берен, закидывая руки на плечи Курумбая и пристально вглядываясь в его глаза.

– Слушай, в ту ночь, когда ты уезжал... ты хотел мне что-то сказать?... Но так и не сказал...

– Так, может, теперь скажу? Или... уже опоздал?..

– Нет, не опоздал...

Лица их светились от радости. Оба были так взволнованы встречей, что сердца их бились на весь мир.

Курумбай подошел к верховому, взял коня под уздцы и помог Жауке спешиться. Старик, по старому казахскому обычаю, долго не выпускал Курумбая из объятий. По сивой его бороде текли слезы.

– Как я рад за вас, мои дети! Да сбудутся все ваши желания! Моя же мечта уже сбылась...

Жауке, взволнованный, долго разглядывал Курумбая.

– Колхоз готовится встретить тебя. Большой той будет. А я вот не усидел... поспешил тебя увидеть первым.

Жауке, оглядываясь, улыбался.

Где-то рядом работали косари, пели, и песня их – радостная, светлая – взмывала к небу, где, разогнав тучи, щедрыми лучами заливало землю солнце.

1935 г.

ВОЛОСТНАЯ КУЛЬТАЙ¹

После двух лет супружеской жизни Культай стала вдовой. Хозяйство у нее было скромным: одна лошадка, корова с телянком, землянка, летняя лачужка, соха-борона, ну и разный немудреный скарб. Когда Культай впервые переступила порог этого дома, она узнала, что у мужа есть брат, однако видеть деверя ей не приходилось. Жумабай ни разу не приезжал, чтобы хотя бы познакомиться с молодой женой. Странно было и другое: муж никогда о своем брате не рассказывал. Вроде и не существовало его вовсе. Лишь осенью, когда нужно было позаботиться о мясе на зиму, а тут еще и аулнай прямо-таки за глотку хватал, требуя уплатить налог, муж отправлялся к Жумабаю, который батрачил у какого-то богача, получал за него плату, заключал с хозяином договор еще на год и возвращался домой. И Культай иногда думала о своем бессловесном девере: «Или он очень добр, или просто глуп».

Охотников до молодой вдовы оказалось предостаточно. Первым начал обхаживать ее Бирмаганбет. Был он хотя и женат, однако самоуверенно полагал, что среди родичей покойного он самый близкий и самый видный, а значит, и на вдову имеет несомненные шансы. Мырза Ажигерей, жена которого недавно умерла, также имел определенные виды, и хотя родственник был он дальний, однако он не без основания считал, что следует только угодить почтенному аксакалу Нурпеису – и все соперники тут же исчезнут. В спор вмешался и двоюродный брат

¹ Даты написания этого рассказа и последующих двух неизвестны.

Культай, Абдол, громогласно заявивший, что он никому не позволит делать из его сестренки половую тряпку и что тот, кто намеревается заполучить ее, будет иметь прежде всего дело с ним. О том, что где-то существует Жумабай, родной брат покойного, которому – по мусульманским канонам – и должна достаться вдова, никто во всей округе и не подумал...

Абдол находился с Нурпеисом в отношениях, которые у казахов определяются так: «кишки сплелись, потроха смешались». Если Нурпеис – матерый волк, то Абдол – волчонок, идущий по его следам. Куда Нурпеис поедет, туда потрусит и Абдол. Поэтому он стал, подговаривать сестренку выходить непременно за Ажигерея-мырзу.

– Печали-горести знать не будешь. Все окажется в твоих руках: сама себе – би, сама себе – хан!

Однако Культай ответила:

– Апырмай, но ведь есть же человек, которому этот дом не чужой...

– Ойбай, того и не поминай! – всполошился Абдол. – Он тебе не ровня. С ним ты не проживешь!

Поговорила Культай с соседками про Жумабая-деверя, расспросила, что и как он, и те ответили: да, давно, как он от нас уехал. А так смиренный был, тихий.

И потом чем больше Абдол старался уговорить сестру выйти за мирзу Ажигерея, тем упорнее она отказывалась.

Впрочем, она еще в детстве не больно считалась с его мнением. Родной брат Культай в то время учился в городе. Культай он очень любил и еще в детстве научил ее грамоте. В его отсутствие Абдол просватал Культай еще девочкой за одного бедняка и взял калым. Прошло несколько лет, и вдруг Абдол заявил: «Я передумал. Жених твой бедняк, и лет ему уже под сорок. Не годится он для тебя. Подыщу другого». Но против этого решительно возразил родной брат Культай – он все еще

учился. «А зачем же бедняку столько лет голову морочил? – спросил он Абдола. – Калым зачем брал?» Сестре же твердо посоветовал: «Выходи за своего бедняка. Ты ведь не скотина, чтоб продавать тебя сегодня одному, завтра другому!» Так Культай и вступила в дом бедняка полной хозяйкой.

Судьба молодой вдовы стала главной темой аульных пересудов. Женихов прибавлялось с каждым днем. И тогда Культай решительно заявила:

– Я выйду только за своего деверя!

– Барекельде! – восхитились старики и старухи. – Вот молодчина! Дорожит честью мужа и родным очагом.

– Эта баба с Жумабаем и дня не проживет, – говорили незадачливые женихи и раздосадованные свахи.

Послали за Жумабаем.

– Пусть приедет и сочетается браком с женой покойного брата.

Но бай не отпустил батрака.

– Он мне задолжал, – ответил бай. – Пока не отработает всего, не пущу.

И Жумабай так и не приехал.

Культай разозлилась и на скаредного бая, и на беспомощного батрака, который сам над собой не волен, и в сердцах подумала даже: «А вот возьму и назло тебе выйду за кого-нибудь из этих!»

Однако только подумала, а сделать не сделала. И вовсе не из уважения к деверю, а просто потому, что не желала больше зависеть от двоюродного брата и аульных воротил.

Она придумала другое.

Отправилась за Жумабаем сама. Ее жених оказался рыжеватым, сероглазым, взъерошенным, с кустистыми бровями парнем. Тихий, квелый, безответный, он молча стоял перед ней. Культай оглядела его с головы до ног, украдкой вздохнула да и пошла к баю.

Разговор с ним у нее получился коротким.

– Муж мой умер, – сказала баю Культай. – Осталась я дома одна. Прошу отпустить моего деверя.

Бай смутился. Вдовой была краснощекая молодая женщина. К таким обычно, как мухи, липнут богатые мырзы, да и аксакалы тоже стремятся не уступить такую добычу. И вдруг эта вдова, преступив все обычаи, сама приезжает за деверем – этим ничтожным слюнтяем. И так поразился бай, что отпустил батрака без слов.

Жена бая, правда, подняла шум:

– А... и подлые же мысли у тебя на уме, – сказала она. – Так растаял перед смазливой бабенкой, что батрака отпустил.

Но как бы там ни было, Культай вышла замуж за Жумабая, и зажила она, как большинство бедняков. И сразу прекратились все кривотолки. Даже завистники, еще недавно утверждавшие, что она вышла за это ничтожество лишь для того, чтобы прикрыть кое-какие грешки, и те сразу же умолкли.

После революции брат Культай, разъезжая по аулам, неожиданно заехал к ним. Встреча была радостная. Брат оказался коммунистом, и занимал он в их краю высокий пост. Уезжая, он оставил сестре много книг, а потом отовсюду стал присылать газеты и журналы. Теперь Культай постоянно читала. Аульные грамотеи, вроде Касымжана, приходили к ней каждый божий день.

– Дорогая сноха, дай-ка новую газетку.

Жумабай, приходя с работы, по обыкновению, заваливался отдыхать на подстилку, Культай же, управившись с домашними делами, присаживалась к нему.

– Устал небось? Ну, ладно, хочешь, стихи почитаю?

Жумабай не отвечал определенно, а лишь добродушно улыбался. Культай быстро изучила все привычки мужа и не обижалась на его молчание. Зато сосед, старик Ибрай, большой любитель книжного

слова и чтения, всегда с удовольствием слушал Культай. Однако в отсутствие хозяина заходить стеснялся. Но только появлялся Жумабай и Культай приступала к чтению, как, смущенно улыбаясь, приплетался и почтенный Ибеке, а вслед за ним вваливались соседние мальчишки.

– Эй, Макен, иди сюда, стихи послушай, – приглашали они, бывало, соседку, пришедшую попросить огня, а та, улыбаясь, отвечала:

– Да я раньше уже все прослушала.

Ровесник хозяина Проныра-Актам, балагур и весельчак, особенно часто бывал у них. И на правах сверстника постоянно подшучивал над молчуном-хозяином. Заигрывал он и с Культай.

– Ну, подожди, – говорил он не раз. – Как будут выборы, непременно выдвину тебя аулаем.

– Да нет уж, оставь меня в покое, – отшучивалась Культай. – Чинов ведь и на вас, мужиков, не хватает.

Когда начались выборы в аульный совет, Актам и в самом деле внес такое предложение. Однако никто его всерьез не принял. А кое-кто заявил:

– Знаем, знаем, почему Актам так расшибается...

В аульные правители в то время метили двое – Байгаска и Нуркожа. Аулы разделились. Началась предвыборная возня: строились планы, делались предположения, взвешивались шансы, затевались интриги. Выборы проходили в русском поселке. Соперничавшие стороны расположились в разных его концах. Вскоре выяснилось, что кандидатура Нуркожи берет верх. Уступить сопернику в открытой борьбе для Байгаски было равносильно смерти. Поэтому он пустился на хитрость.

– Выберем в волостной совет сноху Культай. Пусть Восьмой аул примкнет к нам, – заявил он.

Рекомендателем и руководителем шести выборщиков Восьмого аула был мырза Ажигерей. Остальных

выбрали из «неизвестных», туда попала и Культай. Считалось, в какую сторону свернет руко-водитель, туда послушно пойдут и выборщики.

Узнав о предложении Байгаски, мырза Ажигерей с издевкой рассмеялся:

– Ну, мы до этого еще не докатились, чтобы бабу себе на шею посадить!

Однако с его мнением остальные шесть представителей не согласились.

– Эй, почему вы так считаете? – возразили ему. – С какой стати мы будем отказываться?

Тут неожиданно проявил активность Актам. Он начал исподтишка подговаривать представителей:

– Если мырза Ажигерей не согласен, то пусть катится восвояси. Важно, чтобы остальные были единодушны, тогда Культай станет волостным.

Среди выборщиков Восьмого аула находился пожилой Досакай. Пожалуй, после Ажигерея он был самым влиятельным в этой группе.

– Слушайте, детки, – сказал он. – Что мы выгадаем от того, что выберем Нуркожу? Что хорошего он для нас сделал?.. Если они будут голосовать за Культай, то неразумнее ли и нам присоединиться?..

После долгих рассуждений выборщики во главе с Досакаем примкнули к группе Байгаски. Таким образом, было решено председателем волостного Совета избрать Культай, а заместителем – кого-то из ставленников Байгаски.

– Главное – провести голосование, – поговаривали ловкачи. – От бабы все равно никакого толка не будет. Так пусть она считается волостным, а делами заправлять будет наш человек.

Так и вышло. Волостным правителем стала Культай, а заместителем шустрый Бекбосын, в свое время немного походивший в русскую школу.

Пришла Культай в контору принимать дела, а бывший волостной Дуйсенбай укатил в аулы.

– Дела сдай сам, – наказал он своему секретарю.

Заместитель Культай – Бекбосын – принял у секретаря дела да и сел править волостью. Народ валом валил в контору, но все обращались только к Бекбосыну, а Культай, растерянная и смущенная, целых два дня одиноко проторчала в углу за столом. Бекбосын вроде ее и не замечал. А люди косились на нее и насмешливо улыбались: «Ну, и волостным наградили нас аллах!»

Два дня ломала себе голову Культай: «Что делать?» Она уже жалела, что впуталась в это мужское дело. В мыслях ее досталось и Актаму, ведь больше всех он старался ее продвинуть.

Неожиданно приехал в волость какой-то молодой человек, спросил Культай, познакомился. Казалось, он был в курсе всего, что происходило здесь в последнее время. Приглядевшись, молодой человек сказал, что он хочет поговорить с Культай наедине. Она сразу же насторожилась. «Бабник, должно быть... Ишь, уединиться ему захотелось!» Однако никаких дурных намерений молодой человек не проявил. Он оказался секретарем волостного комитета партии.

– Я ночью приехал из города, – сообщил он. – Узнал о вашем избрании. Ваш брат Смагул поручил мне непременно встретиться с вами и поговорить.

Услышав имя брата, Культай чуть не расплакалась. Ведь будь Смагул сейчас рядом с ней, он помог бы ей наладить все дела, объяснил, что к чему...

Секретарь волкома долго беседовал с молодой женщиной. Дал много полезных советов и обещал и впредь не забывать. В контору Культай вернулась уверенная и решительная.

Посмотрела.

Аульные воротилы и их прихвостни окружили Бекбосына и громко обсуждали свои бесчисленные жалобы и претензии. Секретарь бывшего волостного

так и увивался вокруг Бекбосына. Культай вызвала его и строго сказала:

– Товарищ секретарь! Сделайте вот что: во-первых, поставьте в этой комнате для меня отдельный стол. Во-вторых, пошлите за Дуйсенбаем. Пусть немедля придет и сдаст дела. В-третьих, начиная с этого часа, не выпускайте ни одной бумаги без моей подписи!

Секретарь сконфуженно посмотрел на Бекбосына. «Что это значит?» – было написано на его лице. Бекбосын слегка покраснел:

– Так дела ведь все приняты! Мы уже работаем, – осторожно заметил он.

– Я не поручала вам принимать дела, – отрезала она. – На себя дуйсенбаевские грехи я принимать не буду. Как вы считаете, это верно? – спросила она уж совсем холодно и опять приказала: – Срочно сюда бывшего волостного!

Бекбосын опустил голову, устался в какую-то бумагу. Толстобрюхие посетители, толпившиеся в конторе, недоуменно переглянулись, не понимая, к какому же начальнику им следует теперь обращаться.

– Вот так, Раха, – пробормотал Бекбосын, не глядя на сидевшего перед ним просителя. – Зайдите как-нибудь попозже. При случае все для вас сделаем.

Культай с усмешкой покосилась на него, подумав: «Ничего-то ты, голубчик, отныне без моего согласия не сделаешь».

Весть о том, что Культай стала волостным, быстро распространилась в аулах. Толковали ее по-разному.

– Это Бекбосын и Актам для смеха ее протолкнули, – утверждали многие.

Никто, конечно, не предполагал, что Культай способна руководить волостным советом, все были убеждены, что повода все равно окажутся в руках Бекбосына.

– Джигит он хваткий, шустрый. Он сразу все повернет по-своему.

Однако те, кто надеялся с помощью Бекбосына обделать свои делишки, придя в контору, увидели такую картину. За столом председателя, уткнувшись в бумаги, сидит молодая, миловидная женщина с аккуратным жаулыком на голове. На стене за ее спиной – большой портрет Ленина. Пожилой секретарь, в очках, с проседью, подает женщине какие-то документы, а она, нахмурившись, перечеркивает их.

– Сколько же раз говорить вам, что это не пройдет, – морщится она, – неужели все еще не понятно?

И секретаря передергивает так, словно не по бумагам, а по его лицу проходит это острое перо.

Пришел мужчина с заявлением. Постоял, потоптался у порога, потом сунул шапку под мышку и подошел к столу. Культай прочитала его заявление, насупилась и спросила:

– Выходит, вашу младшую жену увел ваш же батрак?

– Да... Потому и жалуюсь... Обнаглел...

– Сколько лет он на вас работал?

– Ойбай, не спрашивайте! С детства. Считайте, я его вырастил, в люди вывел, а он...

– Ладно, идите домой, – сказала Культай. – Если вашу жену увел батрак, значит, он полюбил ее, а она его. Если он при этом еще и прихватил кое-что из вашего добра, так не задарма: достаточно он на вас гнул спину. Надо было ему еще через суд сполна потребовать с вас плату за все годы работы.

Этого оскорбленный муж никак не ожидал. На лице его появилось такое выражение, будто его невзначай ткнули шилом. Он быстро надел шапку и почти выбежал на улицу.

Неожиданное повышение Культай выбило Жумабая из привычной колеи. Он остался дома один, и ухаживать за ним было некому. Языкастые бабы посмеивались и сочувствовали «беде» покинутого мужа.

– Ой, бедненький! Не теряйся, устраивай теперь и свою жизнь. Баба твоя вон как высоко вознеслась.

Приехал как-то аулнай, доложил:

– Тебя волостная зовет.

Жумабай оскорбился, глаза выкатил. У, ехидина! Сказал бы просто: «Культай зовет» или «Баба твоя просит зайти». Так нет... «Волостная зовет!...»

Поехал Жумабай. Увидел волостное правление – большой деревянный дом под голубой крышей. Подошел к двери, робко заглянул в щель. Культай сидит за столом, перед ней лежат бумаги и перо. Одета чисто, по-городскому. Вошел председатель Седьмого аулсовета, джигит достойный и уважаемый, а Культай вдруг как обрушится на него:

– Все это – ложь! – кричит. – И документы ваши – подлог!

Хотела еще крикнуть что-то, но через приоткрытую дверь Культай увидела растерянного мужа.

– Эй, ты что там стоишь? Заходи! – сказала она. Жумабай, надувшись, набычившись, осторожно вошел в комнату. Культай усадила его рядом, улыбнулась.

– Ну, как дела-то? Небось скучал, голодал один дома? Я ведь наказывала, чтобы ты приехал.

Председатель Седьмого аулсовета, который после неприятного разговора со строгим волостным все еще отдувался и обливался потом, вдруг с завистью взглянул на Жумабая.

А ведь до этого даже и взглядом его не достаивал!

ТУЛИБАЙ

Летовка нашего аула находится неподалеку от болота под названием Коржун-томар. А называется оно так потому, что и вправду имеет форму коржуна – переметной сумы. Разделяет это болото небольшой открытый островок. Посередине его – озерцо, заросшее кураком. Отсюда второе его название – Куракты. Наш аул располагается на восточной части. Из-под бугра бьет родник. С утра до вечера возятся у родника ребята, купаются, плещутся, а самые смелые и рослые, бывает, добираются ручьем до озера, где курак стоит сплошной стеной. В этих зарослях прямо на воде чайки строят из хвороста и сухого камыша плоты-гнезда. Вместе с братом – он хотя и старше года на два, но ростом ничуть меня не выше – мы часто шастаем в камышах. Там совсем неглубоко. Мы высматриваем яйца в самой чащобе, больше всего встречаются заброшенные гнезда и скорлупки.

– Видно, уже вылупились птенцы, – говорим мы.

Но иногда нам везет, и мы находим в плывущем гнезде маленькие, продолговатые и пестрые-пестрые яички.

Ныне аул поздно откочевал на джайляу. За два-три дня мы успели обшарить весь Коржун-томар. Яиц раздобыли, однако, немного.

К западному побережью болота примыкает крохотное озеро Кара-куга. Оно тоже неглубокое. Между камышами, из-под топи, торчат, точно верблюжьим горбы, маленькие островки – грудки. На них гнездятся утки-чирки. Они откладывают яйца

поздно, и поэтому, когда бы мы ни приезжали на джайляу, мы находили их всегда свежими. Немало мы их собираем каждый год. Гнезда строят утки в неприметном месте, где-нибудь на краю грудков, а яйца прикрывают травкой или камышом.

От аула до Кара-куги вроде бы совсем близко, однако версты три все-таки будет, так что домой вернешься только к вечеру. Раньше мы, ребята, ватагой и на весь день уходили туда, но нынче не до этого.

Всех нас решили учить уму-разуму. А учитель у нас байский мулла, черт его поймет, кто он – не то ходжа, не то сарт. Серолицый, остробородый. Усы аккуратно подбриты, брови насурмлены, и от этого кажется он четырехглазым.

Я еще не знал тогда, что такое – мулла хороший и что такое – мулла плохой. Но те ребята, которые уже учились, поговаривали: мулла этот очень строг.

Я у мамы меньшей. Последыш. Наверно, потому она и балует меня больше других. Когда мы из зимовья перебрались в юрту, она отвела меня к мулле и сказала:

– Молдеке¹, вот он, мой младшенький. Такой пугливый, робкий. Вы уж не больно наказывайте его...

По четвергам, если есть топленое масло, мама стряпает тонюсенькие лепешки и приглашает муллу. Звать его всегда посылают меня. И когда он приходит, мама каждый раз сует ему медный пятак и ласково говорит:

– Молдеке, благословите своего ученика...

Конечно, после этого аллах меня миловал от побоев. Другие ученики приглашали муллу по пятницам.

И только единственный Тулибай никогда его не приглашал. Отец Тулибая батрачит в соседнем ауле у бая Ермаганбета. А жена и двое детей живут в нашем

¹ Уважительная форма слова мулла.

ауле в прокопченной, дырявой юртишке. Все мы друг другу сродни.

Мама Тулибая доит коров у Ермаганбета. Тулибай своенравен, шалун, неслух, матери почти не слушается. Наверно, она хотела наказать за непослушание, поэтому когда впервые привела его к мулле, то сказала:

– Станет баловать – бей, не жалея! Мясо – твое, кости – мои¹.

Мы сидим с ним рядом. Способности у Тулибая были не хуже наших. Но почему-то мулла невзлюбил его с самого начала. Ругал его как только мог, по всякому поводу: «Дурак!», «Скотина!» Потом принялся драть за уши. Первый, кто из почти двадцати учеников испытал побои муллы, был именно Тулибай. К вечеру мы долго и громко зубрили наизусть. Гул стоял на весь аул.

В час предвечернего намаза, когда с привязи отпускали дойных кобылиц, мулла проверял уроки. Первым спрашивал Тулибая. Если он отвечал, то все обходилось благополучно. В противном случае мулла стегал его камчой. Но у Тулибая было одно хорошее свойство: сколько бы его ни били, он не унывал, да и плакал совсем недолго.

На летовке аулы располагаются недалеко друг от друга. Аул моей старшей сестры находился всего лишь за перевалом. Как-то съездили мы туда с мамой, заночевали и вернулись на другой день. Приехали бы чуть позже, я мог бы и не пойти на занятия. Но время было обеденное, и мама сказала:

– Сходи поучись.

Я не стал возражать, все же денек отдохнул от зубрежки, очухался малость. Взял замусоленный молитвенник под мышку и, не торопясь, отправился к мулле. Вдруг кто-то окликнул меня. Обернулся: Тулибай!

¹ Так говорили, отдавая ребенка мулле. Выражение означало: «Поступай с ним, как хочешь».

– Что, к мулле идешь? – Он подбежал, тяжело перевел дыхание. – Мама захворала сегодня, а тут теленок пропал... Еле разыскал...

У муллы была привычка бить опоздавших. Мне-то бояться нечего: мама вчера меня отпросила. Но у Тулибая причина сомнительная, и мы оба хорошо представляли, что его ожидает.

Я посмотрел ему в глаза:

– Мулла ведь бить тебя будет!

Он не ответил. Идем, молчим. Разноголосый гул доносится, то усиливаясь, то угасая. Даже слышать его муторно. А что поделаешь-то?

Вошли. Я впереди, Тулибай – за мной. Учтиво поздоровались. Мулла сидел на пятках и, положив книгу на колени, что-то строчил гусиным пером. Он взглянул на нас исподлобья и вкогтился в Тулибая. Когда мулла злился, кончики его подстриженных и выбритых посередке усов топорщились и шевелились. Так произошло и теперь. Он отложил книгу на сундук, спросил:

– Почему опоздал?!

Тулибай молча опустил на колени, согнулся, приняв покорную позу, открыл молитвенник. И чем больше он молчал, тем сильнее распалялся мулла:

– Что молчишь, свинья?! А ну, ложись сюда!

Камчой с раздвоенным кончиком мулла указал на место возле сундука.

Тулибай не шелохнулся. Мулла с остервенением огрел его камчой. Я сидел рядом. Один кончик камчи угодил мне по плечу, и я вскочил, взвизгнул. Тогда во весь голос заревел и Тулибай: «Молдеке-е!»

Остальные ученики, вначале притихшие, с любопытством поглядывали на нас, но как только засвистела камча над головами, уткнулись в книгу и загнусавили.

Тулибая душили рыдания. На этот раз он никак не мог их сдержать.

– Читай! – рычал на него мулла и больно крутил ему ухо, хлестал по щекам, но Тулибай проплакал до самого вечера.

К вечеру мулла начал проверять уроки и заставил читать наизусть. Я, конечно, ничего не выучил. «Дурак!» – закричал мулла и замахнулся камчой. И тогда я так уж заревел! Думал: вылетит душа вон... Бить мулла меня, однако, не стал. Всех отправил домой, а меня с Тулибаем оставил.

Сидим мы и оба плачем... Лишь перед заходом солнца отпустил нас мулла. Побежали мы от радости, словно избавились от страшной беды. Тулибай все еще всхлипывал. Возле аула он вытер глаза рукавом:

– Ты завтра придешь?

– А ты? – спросил я.

– Я ни за что! Крещение приму, а к мулле не пойду!

Сказав это, он опять зарыдал. У меня от жалости тоже слезы брызнули из глаз.

С тех пор Тулибай и близко не подходил к мулле. Неделью-другую он слонялся по аулу, потом приехал за ним отец и сказал: «Ну, раз учиться не желаешь, пойдешь пасти овец!» По слухам, отдал отец Тулибая в подпаски.

Быстро пролетело безмятежное лето. Начался сенокос. Каждый, кто имел возможность, ставил лачужку и выезжал в степь. У нас такой возможности не было. Во время сенокоса мы каждый год перебирались к реке. Стали и нынче было собираться. Но тут всплыл вопрос о моей дальнейшей учебе. Некоторые советовали: «Оставь его у бая. Пусть доучится». Но маме – я чувствовал – это было не по душе. Тогда и я заупрямился, завопил. В конце концов решили меня забрать с собой.

Попросили мы у бая пару быков для переезда. После полудня разобрали юрту. Вместе с нами ехало еще сорок пять семей. К вечеру кочевье выступило в путь. Оседлал я гнедка-трехлетку, которого мне еще жеребенком подарил зять, и вместе со стариком Танирбергенем погнал стадо коров. Стояла жара. Пыль вздымалась столбом. Вскоре добрались до равнины Алакуля. К востоку от дороги небольшим островком росла черная куга. Там врасыпную паслась отара овец. Мне наскучило ехать унылым шагом за лениво бредущими коровами, я ударил пятками гнедка и помчался туда. Овцы на краю отары испуганно шарахнулись, и тут со стороны озера показался чабан. Он размахивал руками и покрикивал на овец: «Шай-шай!»

– Тулибай!.. – крикнул я.

Как же мы обрадовались друг другу! Был он пеший, босой; губы опухли, потрескались. На плечах болталась какая-то ветошь – остатки чапана из лоскутов.

Стал Тулибай расспрашивать про аул, про мальчишек. Разглядывал и похваливал моего гнедка. Были в его глазах и боль и зависть. «Да-а... ты, конечно, счастливчик!» – прочел я в них.

И вдруг вспомнил: таким же взглядом он посмотрел на меня и тогда, когда мы, оба наказанные муллой, возвращались перед заходом солнца домой. И тогда он не произнес этих слов. Но все равно я угадал их.

Долго я стоял у островка черной куги. Кочевье уже ушло далеко. А мы ни о чем толком так и не поговорили. Однако, казалось, и расставаться не решались.

– Почему ты не пасешь овец верхом? – спросил я.

Мне в это мгновение вдруг показалось, что нам было бы очень весело, если бы мы поскакали с ним наперегонки.

Он вздохнул:

– Не дали лошадки-то...

И я понял: не дав лошади, бай обидел Тулибая не меньше, чем мулла. Однако тогда он мог сказать: «Окрещусь, но к мулле не пойду!» А сказать теперь: «С голоду подохну, а пасти байских овец не буду», – он, конечно, не мог. На это у него не хватило духа...

Я поехал за кочевьем. Вскоре поднялся на хребет перевала и посмотрел назад. За отарой, медленно шедшей к озеру, понуро плелся Тулибай и грустно глядел мне вслед...

СТАРШИЙ ДЕВЕРЬ ОШИБСЯ

С тех пор как председателем избрали Досмаганбета, Восьмой аул вовсе потерял покой. Когда аульными правителями были Закир и Зальман, все дела с приезжим начальством решались у них на дому. Так что аулчане узнавали о приезде волостного или уездного только после их отъезда.

Эту новость обыкновенно приносили первыми гуляки, пришедшие в какой-нибудь байский дом побаловаться дармовым кумысом, да вволю почесать языки.

– Оказывается, к аулнаю-то приезжал из города уполномоченный, – говорили они. – Погостевал, ярку слодал да и убрался восвояси.

Кем был этот уполномоченный, зачем приезжал – этим никто не интересовался. В представлении аулчан, уполномоченный на то и существовал, чтоб разъезжать, гостевать у баев, есть мясо, пить кумыс и «тянуть» аульное начальство.

Сделался председателем Досмаганбет – и сразу все переменялось. От уполномоченных людям просто покоя не стало. Где ни встретят, обязательно начнут расспрашивать, лезть в душу. И чуть не каждый день начали вызывать людей на собрания.

– Апырмай, что-то уж больно беспокойно стало жить на свете, – вздыхали старики удрученно, теребя почтенные свои бороды, – нехорошо!. Молодежь баламутится.

И однажды в погожий летний денек, когда почтенные люди после кумыса вкушали заслуженный покой в

тени юрт, вздумалось этому Досмаганбету переполошить весь аул. Именно переполошить, потому что, когда среди бела дня спешно сгоняют всех девушек и молодок, – иным словом это и не назовешь.

А некий Артыкбай – шалопут из аулсовета – еще ходил да покрикивал:

– Девки! Девки! Молодухи, молодухи! А ну давай все на собрание!

– Собрание! Чтоб все до единой пришли! Уполномоченный из волости приехал! Речь скажет!

– А что будет, если не пойдем? – поинтересовалась баба Демесина.

– А не пойдешь – протокол составим, под суд отдадим! – быстро ответил Артыкбай.

– У, чтоб язык твой поганый отсох! Чтоб змея во рту твоём яйца откладывала! – зашептали бабы ему вслед.

Однако на собрание пришли почти все. Одни действительно протокола испугались, другим было любопытно послушать человека из волости.

– Где же этот начальник, который созвал нас? Э, вон тот, что ли?! – переговаривались языкастые молодухи.

– Этот коротышка-сморчок?!

– Скажи, сношенька, зачем мы ему понадобились? – шамкали беззубые старухи, теребя прихваченный с собой клочок шерсти. – Боже, что творится на свете?! Даже бабам уже спокойно жить не дают...

Белобородые старцы, чернобородые джигиты, безусые юнцы, ловкачи, бездельники в рубахах навывпуск, в холщовых штанах-дамбалах и кожаных галошах-кебисах на босу ногу, почесывая тугие от кумыса животы – все-все притащились на собрание. Тень от покосившейся убогой лачуги Дуйсенбая оказалась явно недостаточной и для половины собравшихся. Пришлось многим расположиться на солнцепеке, укрываясь от жгучего солнца халатом или безрукавкой.

Черноглазая разбитная молодуха с каплями пота на кончике носа что-то бойко тараторила и смешила окружающих ее женщин.

– Ну, хватит тебе, Бикасап, – одернула одна, как будто самая благоразумная молодлица. – Стыдно же... Услышат.

– Э, что стыдного?! – не унималась Бикасап. – Мы же на их собрания не ходим. В жизни раз придумали для баб собрание, так и туда полезли!

Лица у стариков хмурые, недовольные. Будто разбудили и сонных приволокли сюда.

– Где же этот аулнай? Почему не начинается? – пробурчал кто-то из них.

– Не волнуйтесь, Байеке... Еще не все женщины тут, – с усмешкой заметил Артыкбай.

Вот до чего ведь дожили: какой-то Артыкбай, шантрапа, а позволяет себе делать замечание самому Баймаганбету. Почтенный Байеке гневно на него воззрился. Была бы его воля, стрелой пронзил бы он нечестивца!..

– Что значит, «не все собрались»? – подал голос Кекебай и протянул вызывающе босые ноги. – Вон, сидят же... Всех длиннополых все равно не соберешь. Давай, давай, начинай!

Из лачуги Дуйсенбая стремительно вышел Досмаганбет. Переглянулся с молодыми, подмигнул им незаметно, а потом стариков увидел и насупился.

– Мы звали на собрание одних женщин. Если старикам жарко, то пожалуйста, пусть идут домой, – сказал он.

– Э, выходит, ты нас прогоняешь?! – огрызнулся Кекебай, готовясь затеять перепалку, но председатель аулсовета ответил сдержанно и спокойно:

– Я говорю тем, кто спешит. А кто желает, может сидеть хоть до вечера.

– О, аллах!.. Чего только не приходится выслушивать?! – вздохнул Баймаганбет.

Шальной ветерок, колобродивший между домами, вдруг дунул и растрепал холеную бороду Баймаганбета, словно тоже захотел посмеяться над ним вместе с ехидным аулнаем.

Досмаганбет объявил собрание открытым и предоставил слово уполномоченному из волости. Серолицый молодой человек с огромным портфелем вышел на середину и хмуро, исподлобья обвел взглядом толпу, будто спрашивал самого себя: «А кто из них мне, собственно, нужен?» Повернувшись лицом к женщинам, он порылся в портфеле и достал какие-то бумаги. Молодки, сидевшие поодаль, придвинулись к нему ближе и стали жадно рассматривать нового уполномоченного.

– До чего бесстыжи стали наши бабы, – заметила надменная, гладколицая женщина и отвернулась.

– Чего она нас ругает? – зашумели молодухи, окружавшие Бикасап. – Нас позвали – мы и пришли...

– Товарищи, – сказал уполномоченный. – «Ученье – свет, неученье – тьма» – так говорят в народе. А наш великий учитель Ленин завещал, чтобы любая домохозяйка, кухарка умела управлять государственными делами...

Отметив все преимущества, которые дает образование, уполномоченный сказал далее, что в аулах будут созданы школы для ликвидации неграмотности и посещать их будут обязаны все мужчины и женщины. И сейчас он составит список всех желающих.

– Все понятно? Вопросы будут?

– Нам-то давно все понятно, – раздался смешок среди мужчин.

– Эй, спросите у него, обязательно ли все должны учиться или по желанию? – подал голос юркий, чернолицый мужичонка с краю.

– А ты сам спроси! Что, язык отсох, что ли?

– Да нет... я просто так... любопытствую...

– Силком учиться никто не заставляет. По желанию.

– Тогда... моя младшая жена и сноха учиться не желают.

– Э, откуда вы знаете?

– Знаю, раз говорю. Если говорю, не пожелают, значит, не пожелают.

Уполномоченный с досадой принялся все снова растолковывать.

– Нет, милейший, – упорствовал юркий мужчина, – если силком потащишь – то твое дело, а так они не пойдут.

– Товарищ! Разреши мне! – обратился к уполномоченному рослый смуглый мужчина.

Он закрутил кончики пышных усов, посмотрел на толпу и улыбнулся:

– Я свой аул, товарищи, знаю. И кто что думает, и кто что еще только желает сказать, – тоже знаю. Конечно, вас, товарищ уполномоченный, прислали, и мы, разумеется, ничего против не имеем. Однако, насколько я знаю, в этом ауле таких, кто горит желанием сесть за парту, нет. Но в каждом доме наверняка найдется голопузый сорванец. Вот если б таких обучить грамоте, – мы спасибо бы сказали. Не так ли, старики?

Он пристально оглядел всех, и мужчины, рассевшиеся полукругом, разом закивали, загудели.

Женщины, однако, молчали. Поблескивая глазами, они взволнованно переглядывались. Интересно, кто еще выступит? Кто что скажет?

– А что это женщины, будто языки проглотили? – спросил Досмаганбет. – Или в самом деле не желают учиться? Тогда прямо так и скажите.

– К чему на баб-то нажимать? Что они сказать могут? – презрительно пробубнил бывший бий-судья.

Молодки зашевелились, заерзали, зароптали. Некоторые откровенно подталкивали Бикасап. Она поправила жаулык, откинула его по краям назад, а сама вся подалась вперед.

– Старший деверь не знает! Никто из нас не заявлял, что не желает учиться. Грамота... она нужна, лишь бы учитель нашелся. Все эти женщины хотят учиться... Но пусть они скажут сами, языки у всех есть.

Женщины покраснели, смутились, глаза потупили, головы опустили. Но чувствовалось: слова дерзкой Бикасап всем им пришлись по душе.

Аксакалы, старухи, аульные заправились вскинулись, оскорбленно и гневно вытаращили на нее глаза.

– Что она мелет?

– Откуда взялась эта бесстыдница?

– Где ее муж?

Многие повернулись к крючконосому, черному, как чугунок, рябому джигиту и впились в него злыми взглядами. Послышалось:

– Эй, куда твоя баба прет?..

– В люди, вишь, выйти захотела!..

– Значит, в нашем ауле одна такая нашлась!

Рябой опешил, растерялся. Пот струился по его чугунному лицу. Насмешки задевали его очень больно. Он вскочил, сердито буркнул:

– Эй, баба, айда домой!

– Что, уже соскучился?! – игриво поинтересовалась Бикасап. – Мы ведь только что из дому...

Оскорбленный муж вконец рассвирепел. Но в то же время и потерялся. Обычно мужья в таких случаях с женами не церемонятся, то есть попросту лупят их. Ничего другого и рябой сейчас придумать не мог.

– У-у... – Он скверно выругался и, стиснув кулаки, кинулся было к жене, но чья-то сильная рука оттолкнула его.

– Эй, эй, потише! Сейчас бить не положено!

– Как это не положено?! Ты что меня в грудь толкаешь? – заорал обиженный супруг. Удерживал его Артыкбай. И теперь зашикали на него со всех сторон.

– Эй, ты-то чего лезешь? Баба-то его, а не твоя!

– Нет такого закона, чтобы бабу бить!

– Аллах! Аллах! Вот срам! Вот срам! Как можно в дела мужа и жены вмешиваться? – возмущались и щипали себя за щеки старухи.

– Пусти, Артыкбай, – побледнев, крикнул Досмаганбет. – Посмотрим, как он ударит... Ну, ну, попробуй!..

Гнев рябого сразу погас, схлынул. Он застыл, заморгал, замигал, как обиженный ребенок, который вот-вот заплачет, и, отвернувшись, поплелся домой.

Тогда Досмаганбет оглядел собравшихся.

– Это что еще такое? Почему человека науськивают, как собаку? – крикнул он. – Кто звал сюда смутьянов-стариков? А уж коли пришли – так сидели бы, не рыпались.

– Эй ты, Досмаганбет, не шибко-то ори! Небось не единственный начальник... – начал было Баймаганбет, но на этот раз председатель аулсовета оборвал его бесцеремонно.

– Ладно, почтенный! Знаем, что и ты когда-то судьей был. Но это ведь при Николае было. Такие судьи теперь нам не нужны. Довольно вам мутить народ, пошли бы домой подобру-поздорову.

– Слушай, Досмаганбет! Кому ты это говоришь?

– Вам говорю! Поняли? Идите, идите, почтенный. Здесь не место для словоблудия.

Уполномоченный сурово нахмурился и, поглядывая на Баймаганбета, приготовился что-то записать. Бывший судья, ни перед кем в жизни не робевший, тут вдруг заметно осел. Он почувствовал, как толпа вдруг странно замолкла, никто даже не пытался заступиться за него. Если председатель аулсовета захочет, так эта толпа запросто перекинется на его сторону. Сейчас бывший бий это понял особенно ясно.

Он молча встал и пошел. За ним потянулось несколько старичков, точно верблюды на выпас.

Уполномоченный начал записывать желающих.

– Эй, Калампыр, ты записываешься?

– А ты, Кумисай?

– Запиши, пожалуйста, и моего благоверного, – улыбнулась Бикасап.

– Э, он же ведь ушел злой на весь свет!

– Ничего, помиримся. Он у меня отходчивый...

Через несколько дней в ауле Сакен открылась школа по ликвидации безграмотности. На первое занятие пришло около сорока человек...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К. Бейбытова. Летописец великих перемен.</i>	5
Памятник Шуге.....	7
Восемьдесят рублей	34
Кульпаш.....	40
В дни айта	50
Равенство бедняка.....	55
О, времена!.....	60
Разговор в пути.....	64
Айранбай	68
Жених.....	74
Чудо в ночь благословения.....	81
Похождения Курумбая	89
Саврасый иноходец	101
Жертва голода.....	108
Один шаг.....	119
Мулла Закиржан	140
Первый урок.....	149
Рыжая полосатая шуба.....	154
Воспоминания.....	175
В когтях смерти.....	186
Школа Бекбергена.....	207
Коммунистка Раушан	215
На колхозном дворе.....	282
Начало раздора – корова Дайрабая.....	291
Черное ведро.....	306
Мукуш – сын Арыстанбая.....	319
Дом красноармейца.....	324
Исповедь Амиржана.....	343
Берен.....	402
Волостная Культай.....	446
Тулибай.....	456
Старший деверь ошибся.....	463

Литературно-художественное издание
Серия
“БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

Беимбет МАЙЛИН
РЫЖАЯ ПОЛОСАТАЯ ШУБА

Перевод с казахского
Г. Бельгера и Ю. Домбровского
(на русском языке)

Редактор *А.Кадикенова*
Технический редактор *С. Бейсенова*
Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*
Корректор *Г. Мухамадиева*



ИБ №268

Подписано в печать 22.07.2009 г. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура . “NewBaskervilleCTT”. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24.78
Уч.-изд. л. 21,45. Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство “Аударма”
010005, г.Астана, ул. Кенесары, 65, блок “А”

